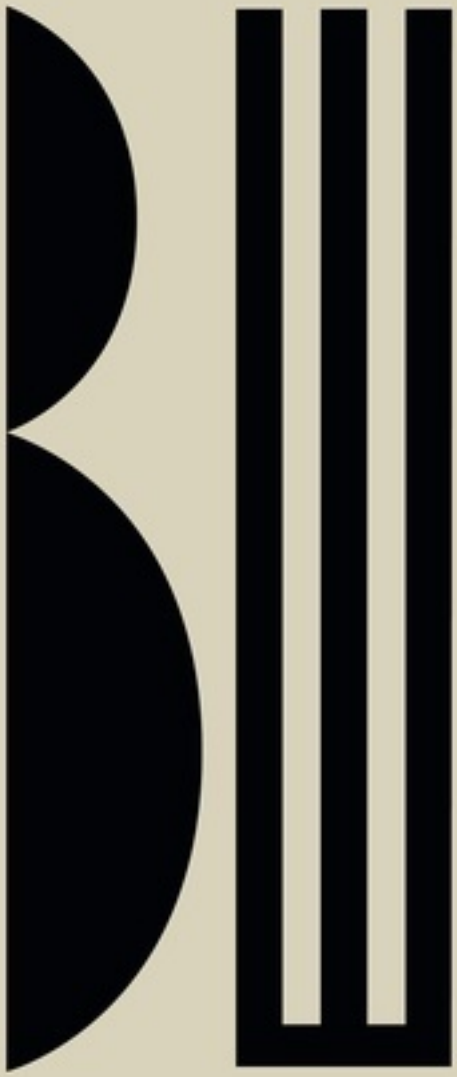
ВИКТОР
ШКЛОВСКИЙ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ



ТОМ

РЕВОЛЮЦИЯ

Виктор Шкловский

Собрание сочинений. Т. 1 Революция

«НЛО»

1910-1950

УДК 821.161.1.09Шкловский В.Б
ББК 83д(2)6Шкловский В.Б Ш66

Шкловский В. Б.

Собрание сочинений. Т. 1 Революция / В. Б. Шкловский — «НЛО», 1910-1950

ISBN 978-5-4448-0890-0

Настоящий том открывает Собрание сочинений яркого писателя, литературоведа, критика, киноведа и киносценариста В. Б. Шкловского (1893–1984). Парадоксальный стиль мысли, афористичность письма, неповторимая интонация сделали этого автора интереснейшим свидетелем эпохи, тонким исследователем художественного языка и одновременно – его новатором. Задача этого принципиально нового по композиции собрания – показать все богатство разнообразного литературного наследия Шкловского. В оборот вводятся малоизвестные, архивные и никогда не переиздававшиеся, рассеянные по многим труднодоступным изданиям тексты. На первый том приходится более 70 таких работ. Концептуальным стержнем этого тома является историческая фигура Революции, пронизывающая автобиографические и теоретические тексты Шкловского, его письма и рецензии, его борьбу за новую художественную форму и новые формы повседневности, его статьи о литературе и кино. Второй том (Фигура) будет посвящен мемуарно-автобиографическому измерению творчества Шкловского.

УДК 821.161.1.09Шкловский В.Б
ББК 83д(2)6Шкловский В.Б Ш66

ISBN 978-5-4448-0890-0

© Шкловский В. Б., 1910-1950
© НЛО, 1910-1950

Содержание

Предисловие 7
Виктор Шкловский: «…под русской революцией есть и моя подпись» 7
От составителя 13
Революция (в) жизни 16
Революция и фронт 16
Заметки о казарме 85
Как предотвратить развал фронта 87
Бои на Днепре 90
На Врангелевском фронте 92
В пустоте… 94
Что поют на фронте 101
Маленький фельетон. Плац 102
Сказка о Синем шакале 103
Письма М. Горькому 105
Революция формы 124
Воскрешение слова 124
Предпосылки футуризма 129
Вышла книга Маяковского «Облако в штанах» 135
О поэзии и заумном языке 138
Потебня 150
Искусство как прием 153
Из филологических очевидностей современной науки о стихе 164
Конец ознакомительного фрагмента. 166

Виктор Шкловский
Собрание сочинений. Том 1. Революция

© В.Б. Шкловский (наследники), 2018
© И.А. Калинин, составление, вступ. статья, комментарии, 2018
© А.Ю. Галушкин (наследники), Л.В. Калгатина, В.В. Нехотин, V. Pozner, комментарии
© А. Бондарев, С. Рындин, перевод, 2018
© Д. Черногаев, обложка, макет, 2018
© ООО «Новое литературное обозрение», 2018

Предисловие
Илья Калинин

Виктор Шкловский: «…под русской революцией есть и моя подпись»

Каждый человек по возможностям своим гениален, но он об этом не знает. Человек может пройти по канату, если бы он не знал, что может упасть. Революция – это освобождение человеческого таланта, человеческих возможностей.
В. Шкловский[1]

Революция – это эпоха, когда все умеют ходить по проволоке. Когда мы забываем о невозможности.
В. Шкловский[2]

Разговор о фигуре Виктора Шкловского в терминах революции подсказан им самим. Начало его творческой биографии совпадает с поворотными моментами истории XX века. В 1914-м выходит «Воскрешение слова». В 1917-м – «Искусство как прием». Оба эти текста пронизаны предчувствием революции, заявляя о ней как о необходимости возвращения человеку ощутимости мира. Короткая, но яркая политическая биография Шкловского также без остатка делится на революцию: в феврале 1917-го он выводит броневики на улицы Петрограда, летом в качестве помощника комиссара Временного правительства участвует в последнем наступлении русской армии на Юго-Западном фронте, осенью – в этом же качестве – выводит из Персии русский экспедиционный корпус. Пропустив октябрь, он становится членом Военной комиссии при ЦК партии правых эсеров, участвует в подготовке антибольшевистского восстания. Авантюрные подробности приключений молодого теоретика литературы подробно изложены в его «Сентиментальном путешествии» (1923)[3]. Позже, находясь в недолгой эмиграции в Берлине, Шкловский напишет Горькому: «Мой роман с революцией глубоко несчастен» (15.04.1922). Но дело не в разочаровании в революции, а в неразделенной любви, – в том, что Шкловский оказался революционней итогов победившей революции. Так что в дальнейшем способ его синхронизации с историческим временем состоял не в возгонке и имитации революционного пыла, а скорее в его сдерживании.

Так или иначе, противопоставлять Шкловского как «счастливого „делателя революции“ в искусстве и филологии» ему же как «жертве революции социальной»[4] вряд ли продуктивно. Освобождение «человеческих возможностей», которое приносит с собой революция, связано не только с тем, что человек забывает о том, что может упасть, но и с объективно существующей опасностью. Человек может ходить по проволоке, но это не значит, что он не может упасть. Без этой перспективы «полной гибели всерьез» (Б. Пастернак) искусство явля-

---

[1] Фильм «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский». Творческое объединение «Экран» (1977). Режиссер Юрий Белянкин.

[2] *Шкловский В.* О теории прозы. М., 1983. С. 68.

[3] Первая часть этой книги, «Революция и фронт», а также ряд газетных публикаций, посвященных социальным реалиям между февралем и октябрем 1917 г., входят в состав данного тома.

[4] *Панченко О.* Виктор Шкловский: текст – миф – реальность (к проблеме литературной и языковой личности). Szczecin, 1997. С. 25.

ется лишь производным от искусственности. Так что без того социального, политического, культурного слома, который произвела революция, вряд ли возможной была бы и интенсивность того обновления в искусстве и гуманитарном знании, значимой частью которого была работа Шкловского. Об этом через шестьдесят лет после революции напишет и сам Шкловский: «Когда говорят про людей моего поколения, людей часто несчастливых, что мы жертвы революции, это неправда. Мы делатели революции, дети революции»[5]. И нам не надо верить ему на слово. Достаточно просто перечитать его тексты, встраивая в общий контекст его теоретические и историко-литературные работы, автобиографическую прозу и художественную критику, тексты о театре, кино и времени. Именно к возможности такого сквозного чтения, позволяющего взаимно контекстуализировать историю и биографию, литературу и революцию, политическое и поэтическое, мы и стремились, составляя первый том собрания сочинений Виктора Шкловского.

Заявленный Шкловским теоретический революционный проект выходил далеко за рамки призыва к обновлению филологического знания и даже обновления искусства как такового, разделяя в этом общий пафос исторического авангарда. Более того, в своей обращенности к повседневному миру вещей он не исчерпывался одним лишь стремлением к «тотальной эстетизации» быта[6] или к редукционистскому «изъятию вещи из привычного бытового контекста»[7] (перспектива, характерная скорее для итальянского футуризма и реализованная на практике в диагностированных Вальтером Беньямином фашистских стратегиях эстетизации политики[8]). Когда в своем первом манифесте «Воскрешение слова» (1914) Шкловский диагностирует повседневный контекст своего времени: «Сейчас старое искусство умерло… и вещи умерли, – мы потеряли ощущение мира; мы подобны скрипачу, который перестал осязать смычок и струны, мы перестали быть художниками в обыденной жизни, мы не любим наших домов и наших платьев и легко расстаемся с жизнью, которую не ощущаем», – в качестве средства реанимации утраченной чувствительности к вещественной стороне мира он видит «создание новых форм искусства», которые способны «возвратить человеку переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм» («Воскрешение слова»). Таким образом, «воскрешение слова» призывает к воскрешению вещи.

Отталкиваясь от обновляющего пафоса футуризма, Виктор Шкловский определял мир человеческого восприятия через столкновение двух тенденций. Поэтической речи, наделяющей мир смыслом и позволяющей увидеть за каждым словом образ его породивший. И рутинизированной повседневной коммуникации, которая превращает слова в понятия, лишенные своего изначального образного смысла. Проблема в том, что доминирующая в социальной практике тенденция к экономии психических усилий («автоматизации» в терминологии Шкловского) затрагивает не только слова, но и вещи. Репрезентируемый «мертвыми словами», словами со «стершимся значением» мир перестает «переживаться», лишаясь непосредственности первоначального восприятия. Горе уже не отсылает к тому, что горит. Печаль – к тому, что печет. Отрок – к тому, кто еще не способен к речи (примеры этимологического выветривания взяты из статьи Шкловского «Воскрешение слова»). Репрезентация превращается в условное соответствие вещи и слова (звуковой формы), ее обозначающего. Коммуникация – в обмен пустыми означающими. Рецепция – в узнавание за привычными словесными формами привычных вещей. Отчуждение – «стеклянная броня

[5] *Шкловский В*. Указ. соч. С. 73.

[6] *Hansen-Lve A. A*. «Бытология» между фактами и функциями // Revue des tudes slaves. 1985. T. 57. Fasc. 1. P. 91.

[7] *Steiner P*. Russian Formalism: A Metapoetics. Ithaca; London: Cornell University Press, 1984. P. 265.

[8] См.: *Беньямин В*. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. С. 62–63.

привычности» (Шкловский) – накрывает собой и отношения между человеком и миром, и отношения между человеком и человеком.

Выдвигая прием «остранения» как основной принцип, регулирующий отношения между искусством и жизнью, Шкловский отталкивался от господствующего в позитивистской эстетике закона экономии творческих сил. На отрицании универсальности этого закона экономии и отрабатывает Шкловский прием «остранения», расподобляющий сферу практического языка и «практического» восприятия («узнавания») вещественного мира, в которой действует закон экономии усилий, и сферу поэтического языка и обновленного восприятия («видения»), основанную на действии собственных «законов траты». Общая логика этого расподобления такова. Привычные действия – от мелкой моторики до прозаической бытовой речи – в силу своей повторяемости становятся автоматическими и бессознательными. Такая автоматизация, при которой восприятие слов и вещей не затрагивает их внешней, материальной, телесной основы, обеспечивает максимальную экономию усилий. Таким образом, повседневность – и бытовая и речевая – совпадает у Шкловского с областью бессознательного автоматизма, отвечающего за быстроту реакции и сокращение затрачиваемой энергии. Но в этом месте закон экономии сталкивается с неким пределом, препятствием, причем сталкивается с ними на своей собственной территории. Впадая в абсолютный автоматизм, повседневность ускользает не только из поля интерпретации, но и восприятия, становясь сферой бессознательных, отсутствующих для сознания, практик. «Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену, страх войны» («Искусство как прием»). Автоматизированное восприятие разъедает не только вещи, но и отношения между людьми, и базовые экзистенциальные аффекты. Облегчая оперирование с предметами вещественного мира, автоматизация отнимает доступ к их предметности; ускоряя социальную коммуникацию, она отнимает чувство общности. Автоматизация распредмечивает вещь и овеществляет человека. Автоматизм (и восприятия, и действия) порождает своеобразные медиаторы в виде абстрактных категорий и бессознательной моторики привычных и повторяющихся движений, которые лишают человека непосредственного, чувственного, интимного восприятия мира.

Искусство, с точки зрения Шкловского, призвано сверхкомпенсировать вызванную инструментализацией восприятия утрату переживания жизни. Оно не только возвращает утраченное, но и производит некий чувственный и смысловой избыток. Этот избыток связан не с экономией усилий, а, наоборот, с необходимостью затрачивать дополнительные усилия на преодоление «затрудненной формы, увеличивающей трудность и долготу восприятия» («Искусство как прием»). Искусство реабилитирует восприятие, увеличивает его длительность и переносит акцент с его инструментальной функции на переживание интенсивности восприятия как такового. И если автоматизация лишь экономит усилия, но не вырабатывает энергии, то искусство, наоборот, требует дополнительных затрат на восприятие затрудненной формы, но высвобождает энергию, достаточную в том числе и для выведения обыденного восприятия из сферы бессознательного. Инициируемая искусством поэтическая мобилизация субъекта взывает к усилию, но запускает экономический обмен нового типа, в котором ответом на нехватку становится не экономия, но дополнительная трата, а эффектом последней оказывается не окончательное банкротство, но избыток, реализующийся в обретении нового видения и нового способа обращения с миром, в осознании персональной включенности в историческое движение и в образовании нового типа сообществ.

Парадоксальная специфика случая, который представляет собой Шкловский, состоит в том, что он пытался балансировать между позицией создателя нового языка описания (который претендовал на обладание не меньшим революционным потенциалом, чем предстоящий ему поэтический язык) и существованием в качестве агента этого языка. Он и описывал культурный опыт революции и являлся частью этого опыта, и, что самое главное, –

пытался с помощью своего нового метаязыка еще больше революционизировать опыт революции[9]. Шкловский не только артикулировал уже воспринятый опыт революции, но и антиципировал его. Он переживал революцию как столкновение с силой, способной перехватить у искусства инициативу по остранению привычного рецептивного контекста. Если в пространстве литературы средством остранения было обнажение и обновление стершегося приема, то в пространстве истории и биографии остранение заявляло о себе через некое экзистенциальное потрясение, через некий эксцесс, отключающий сам режим повседневности, производя деавтоматизирующий слом[10]. При этом утверждение гомологичности механизмов формо- и смыслообразования, фундаментальных одновременно и для искусства, и для истории, не означало поэтизации истории и ее крайних форм, данных в революции и войне. Историческое движение и поэтическая речь отождествлялись не через эстетическую категорию прекрасного (как это делал Филиппо Маринетти), не через психологический фактор витальности и прикосновения к экзистенциальной основе бытия (Эрнст Юнгер), равно как и не через манифестацию этического аморализма (вынесенного из окопов Первой мировой рядом протофашистских поклонников Ницше). В случае Шкловского и русского формализма в целом основой для такого отождествления выступали сходные модели порождения и восприятия форм и смыслов, опирающиеся на механизмы сдвига, слома, разрыва, деформации.

В наиболее мягком варианте остраняющий механизм истории проявлял себя в различных формах странного, случайного, не мотивированного устоявшимся контекстом традиции и сформированным ею здравым смыслом. Описывая первые месяцы после Февральской революции, Шкловский увлеченно документирует охвативший Петроград хаос социального подъема в качестве серии случайностей, странностей, чей деконтекстуализирующий, деканонизирующий, трансформационный потенциал превышал, с его точки зрения, сознательные и организованные усилия пестрой революционной элиты. Начальная фаза революции, означающая отказ от нормативного социального порядка и преодоление легитимированного этим порядком индивидуального отчуждения, предъявляется Шкловским в образах раблезианской избыточности революционного праздника и сопутствующей ему коллективной растраты накопленного: «Питались мы в питательных пунктах, где из натащенного материала, из гусей и колбасы варили чудовищно жирную пищу. Я был счастлив с этими толпами. Эта была Пасха и веселый, масленичный, наивный и безалаберный рай» («Сентиментальное путешествие»). Праздник выступает здесь как коллективная сцена истории, экстатическое пространство которой освобождает от прежней нормативности, давая надежду на обновление. Через два десятилетия после русской революции и написанных по ее свежим следам мемуаров Шкловского, Роже Кайуа, опираясь на анализ архаических обществ, но видя в них аналитический горизонт для описания современности, наделит праздник теми же функциями и опишет его сценографию через те же мотивы деавтоматизации, что и Шкловский: «…на празднике он (индивид. – *И. К.*) исторгнут из домашнего уюта, из своей личной или семейной жизни и ввергнут в водоворот массового исступления, где толпа шумно утверждает свое единство и неделимость, разом растрачивая свои силы и богатства»[11]. О той же исступленной спонтанности, не имеющей цели и смысла вне себя самой, но концентрирующей в себе историческую энергию, пишет и Шкловский: «А по городу метались музы и эринии Февральской революции – грузовики и автомобили, обсаженные и обложенные солдатами, едущими неизвестно куда, получающими бензин неизвестно где, дающие впечатление

[9] Ср.: «Революцию нельзя судить, ей надо помочь и прыгнуть вперед, чтобы весом усилить ее вес и скорость» («Памятник Третьему Интернационалу», 1921).

[10] Об этом см.: *Калинин И.* История как искусство членораздельности // Новое литературное обозрение. 2005. № 71. С. 103–131.

[11] *Кайуа Р.* Война и сакральное // Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003. С. 277.

красного звона по всему городу. Они метались, и кружились, и жужжали, как пчелы» («Сентиментальное путешествие»).

Деавтоматизирующий порыв, охватывающий все сферы жизни – от социального до интимного, – описывается Шкловским как имманентная логика истории, опыт которой противоположен опыту стабильности, являясь одновременно творческим и экстремальным. Бытовой или экзистенциальный эксцесс (а сама интенсивность эксцесса снимает границу между бытовым и экзистенциальным, что не раз показывает и даже тематизирует в своей прозе Шкловский[12]) выступает как творческий исторический импульс. Экстремальный опыт находится за пределами быта, но оказывается той точкой, откуда производится означивание повседневности, ее втягивание в поле перцепции и интерпретации. Эксцесс становится неким пределом затрудненной формы, взывающей к психосоматической и интерпретативной реакции. В силу своей историчности он с бóльшим трудом поддается структурной семиотизации, чем бытовая рутина. Эксцесс подключает к истории, но лишает чувства встроенности в устойчивый темпоральный континуум. Он выпадает из времени повседневности, но парадоксальным образом необходим для возвращения вкуса к ней. Эксцесс отнимает уверенность в естественности привычного контекста, но тем самым восстанавливает и воспитывает чувствительность к быту, к вещественной среде и к повседневным человеческим практикам. Эксцесс, катастрофа, революция временно прерывают ритуализованную воспроизводимость повседневности, но именно этот момент дает возможность различить ее конструкцию, прежде данную лишь в туманных очертаниях бессознательных и автоматизированных движений руки, взгляда, языка. Эксцесс проблематизирует границы между наслаждением и насилием, реализуясь в своих крайних точках, которыми являются праздник и война. Эксцесс одновременно и реализует тягу к обновлению и является платой за это стремление[13]. *Остранение* восприятия инициирует обновление зрения, не отменяя при этом самого факта *ранения*, травмы.

Уже через несколько месяцев после праздничного изобилия и экстатической растраты Февраля свершилась новая революция, еще более тотально введя эксцесс на сцену истории и еще более радикально поставив вопрос о «затрудненной форме» существования и «трате дополнительных усилий», необходимых для взаимодействия с деавтоматизированной реальностью. Теперь избыток творческой энергии должен был возникать не в результате растраты, разворачивающейся в ситуации изобилия, а в результате концентрации, возникающей в ситуации голода и тотального дефицита. Связанные с искусством надежды на остранение автоматизированной повседневной рутины были осуществлены с большей радикальностью, чем та, на которую Шкловский мог рассчитывать, но осуществлены другой инстанцией. Революция не только деавтоматизировала привычное восприятие повседневного контекста, но и смела саму привычную повседневность. «Мы собирались и сидели в пальто, у печи, в которой горели книги. На ногах были раны; от недостатка жиров лопнули сосуды. И мы говорили о ритме и о словесной форме, и изредка о весне, увидать которую казалось так трудно» («Петербург в блокаде»). Отделить в этом опыте революционного быта энтузиазм рождения новой литературной теории от болезненного переживания физических условий, сопутствующих этому рождению, вряд ли возможно. Ритм повысившегося от недостатка жиров кровяного давления синхронизируется здесь с ритмом поэтической речи, теория сло-

[12] Ср.: «И в странном быту, крепком, как пластинчатая цепь Галя, долгом, как очередь, самое странное, что интерес к булке равен интересу к жизни, что все, что осталось в душе, кажется равным, все было равным» («Сентиментальное путешествие»).

[13] Ср.: во время праздника «дозволяются любые эксцессы, так как именно от эксцессов, растрат, оргий и насилий общество ожидает своего возрождения. Со взрывом и изнеможением оно связывает свои надежды на новую силу» – *Кайуа Р.* Указ. соч. С. 278. Единственным феноменом, который, с точки зрения Кайуа, может сравниться с праздником по грандиозности социальной мобилизации, является война.

весной формы возникает как сверхкомпенсация одновременно травматичного и вдохновляющего исторического опыта «веселой, жуткой» постреволюционной зимы, как определил ее Е. Замятин в своей «Автобиографии» (1928), повторив в своей парадоксальной формуле определение возвышенного, данное Э. Бёрком, – *delightful horror*.

Шкловского можно отнести к тому типу фигур, которых Д. Лукач определял через понятие «романтический антикапитализм». Правда, сам Лукач использует его как негативную характеристику правых интеллектуалов, вводя его в своей работе 1931 года о Достоевском[14]. Но это понятие может быть переосмыслено и вне тех партийно-политических коннотаций, которыми нагружает его Лукач. В его концептуальном ядре располагаются три базовые составляющие: критика отчуждения, характерного для буржуазного общества; неприятие рынка как модели функционирования культуры; стремление к производству сообществ, основанных на органической, дружеской и интеллектуальной, связи. Все эти три составляющие характерны для Шкловского, находя выражение в его преодолевающем отчуждение принципе остранения, в его критике рыночного искусства[15] и, наконец, в его стремлении к коллективной работе (будь то в рамках ОПОЯЗа, Московского лингвистического кружка или Лефа). Этот контекст «романтического антикапитализма» позволяет иначе увидеть теорию Шкловского (как раннего, так и лефовского периодов), сделав его звеном в цепочке иных фигур, непривычных для разговора о нем. Традиционно разговор о Шкловском шел через сопоставление его фигуры и работ с Б. Эйхенбаумом, Ю. Тыняновым, Р. Якобсоном, С. Третьяковым. Актуализация революционного, критического, политического потенциала его позиции делает его собеседником В. Беньямина и Б. Брехта, Г. Зиммеля и Э. Блоха, М. Вебера и Ф. Тённиса, Ж. Батая и Р. Кайуа, Т. Адорно, З. Кракауэра и других представителей Франкфуртской школы, равно как и самого Д. Лукача, который вряд ли отнес бы себя к представителям «романтического антикапитализма»[16]. И в этом отношении Шкловский, оставаясь центральной частью русского формализма, оказывается шире него.

Желание вписать Виктора Шкловского в этот глобальный горизонт, связанный с возникновением новой фигуры публичного интеллектуала, существующего по ту сторону академии, и с рождением нового режима критического письма, располагающегося по ту сторону жанровых границ, и побудило нас к составлению его собрания сочинений.

---

[14] *Lukcs G*. ber den Dostojewski Nachlass // Moskauer Rundschau. 1931. March.

[15] Ср.: «Широкие массы довольствуются рыночным искусством, но рыночное искусство показывает смерть искусства… Века расцвета искусства не знали, что значит „базарная мебель“» («Воскрешение слова»).

[16] О «романтическом антикапитализме» в этом расширенном и ушедшем от оценочности Лукача смысле см.: *Sayre R., Lwy M*. Figures of Romantic Anticapitalism // New German Critique. 1984. Vol. 32. P. 42–91.

От составителя

Настоящий том открывает собрание сочинений Виктора Борисовича Шкловского. Жанровое и предметное разнообразие его работы, растянувшейся на семьдесят лет, ставит перед составителем непростую задачу. Склонность самого Шкловского к постоянной переработке своих текстов и их неоднократному включению в собственные авторские сборники провоцирует публикатора на ответный ход. «Ход коня», «изломанная дорога смелых», в которых Шкловский видел единственно верный путь художника, ученого, интеллектуала, заставляет отказаться от хронологической линейности как единственного принципа организации материала.

Задачей этого принципиально нового собрания сочинений – помимо введения в оборот архивных текстов или текстов, никогда не републиковавшихся и рассеянных по разным труднодоступным изданиям, – является попытка перечтения как мало, так и хорошо известных работ Шкловского. Для этого мы стремились совместить два, казалось бы, противоречащих друг другу композиционных механизма: монтаж и сохранение целостности.

Первый состоит в том, что каждый том этого собрания группируется вокруг того или иного концептуального стержня, позволяющего по-новому контекстуализировать как отдельные работы Шкловского, так и его интеллектуальное наследие в целом. Автобиография и теория, история литературы и художественная критика, фронтовые заметки и манифесты о наступлении новой формы, письма и фельетоны монтируются между собой, производя новые смыслы и новые горизонты возможной интерпретации. Как кажется, именно такой конструктивный монтаж, рифмующий между собой образ мысли, интонацию речи, манеру поведения, и был для Шкловского тем генератором энергии, напряжение которой во «Вступлении» (январь 1983-го) к последнему прижизненному изданию «О теории прозы» ничуть не ниже, чем в прочитанном в декабре 1913-го докладе «Место футуризма в истории языка».

Второй механизм уравновешивает первый. Мы впервые с момента первых изданий публикуем авторские сборники Шкловского целиком – в том композиционном единстве, которое отвечало его первоначальному замыслу. В каком-то смысле все настоящее собрание сочинений следует принципу, найденному Шкловским в его сборниках и книгах 1920–1930-х годов: создавать сложносочиненное высказывание из сложноподчиненных друг другу текстов; осуществлять синтагматическое развертывание материала, опираясь на парадигматику связей, возникающих между его отдельными элементами. В результате некоторые тексты Шкловского войдут в настоящее собрание дважды, в составе различных томов, оказываясь то частью соответствующего тематического блока, то частью авторского сборника (обнажая таким образом зависимость толкования от окружения).

Стержнем первого тома является историческая фигура *Революции*, различные проекции которой организуют шесть тематических блоков.

Первый блок – «Революция (в) жизни» – задает личный и исторический фон революционных лет, на которые выпало литературное становление Шкловского. Его составляют автобиографическая книга «Революция и фронт», вышедшая отдельным изданием в 1921 году (в 1923-м она станет первой частью «Сентиментального путешествия»[17]), газетные публикации о политическом и культурном своеобразии фронтовой жизни 1917–1918 годов, несколько автобиографических притч и письма М. Горькому, 1917–1923 годов.

Второй блок – «Революция формы» – сочетает публикацию канонических манифестов раннего формализма и текстов, лишь однажды опубликованных в периодике конца 1910-х

[17] В состав второго тома эта книга войдет целиком.

годов. Завершает его статья, – в которой Шкловский вновь возвращается к зауми футуристов, – написанная в начале 1980-х для одного итальянского издания и никогда не публиковавшаяся в России.

Третий блок – «Революция времени» – составляют авторский сборник 1923 года «Ход коня» и работы, собранные из различных газет и журналов 1910–1920-х годов, большая часть которых никогда не переиздавалась. Ветер революции пронизывает эти тексты, заставляя быт и искусство, как льдины, наползать друг на друга краями.

Четвертый блок – «Революция факта» – связан с лефовским периодом Шкловского, его участием в той версии культурной революции, которую выносил на повестку дня советский авангард. Публикуемый без изъятий авторский сборник «Гамбургский счет» (1928) дополняют прежде не переизданные статьи и очерки из журналов «Леф» и «Новый Леф».

Пятый блок – «Революция медиа» (мы намеренно используем именно это, анахроничное тому времени, понятие, подчеркивая стремление читать Шкловского не сквозь призму истории науки, а как часть нашей современности) – посвящен кинематографу, сделавшему революцию не только предметом изображения, но и формой репрезентации.

И наконец, шестой блок – «Памятник революции» – состоит из статей начала 1930-х годов, в которых прощание с формализмом и самим революционным культурным пафосом 1910–1920-х годов позволяет обнаружить за декларативной сдачей позиций попытку вновь использовать давление времени как возможность продуктивного сдвига, как творческий вызов и необходимое сопротивление материала.

Этот том не мог бы состояться без уже проделанной работы по комментированию текстов Шкловского. Комментаторских усилий А. Ю. Галушкина (1960–2014) хватило не только на значительную часть этого тома (блоки 1, 2, 3, 4 и 6[18]), результаты его труда (в том числе пока не опубликованные) войдут и в последующие тома этого собрания. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность за этот труд, по сути открывший новый период в исследовании русского формализма и его наиболее яркого представителя. Кроме того, в первом томе были использованы комментарии: Л. Калгатиной (блоки 4, 5[19]), В. Нехотина (блок 1[20]) и В. Познер (блоки 4, 5). Дорогие коллеги, огромное спасибо. Поскольку в данном томе публикуется более семидесяти текстов, не воспроизводившихся с 1910–1930-х годов, часть комментаторской работы была проделана автором этих строк.

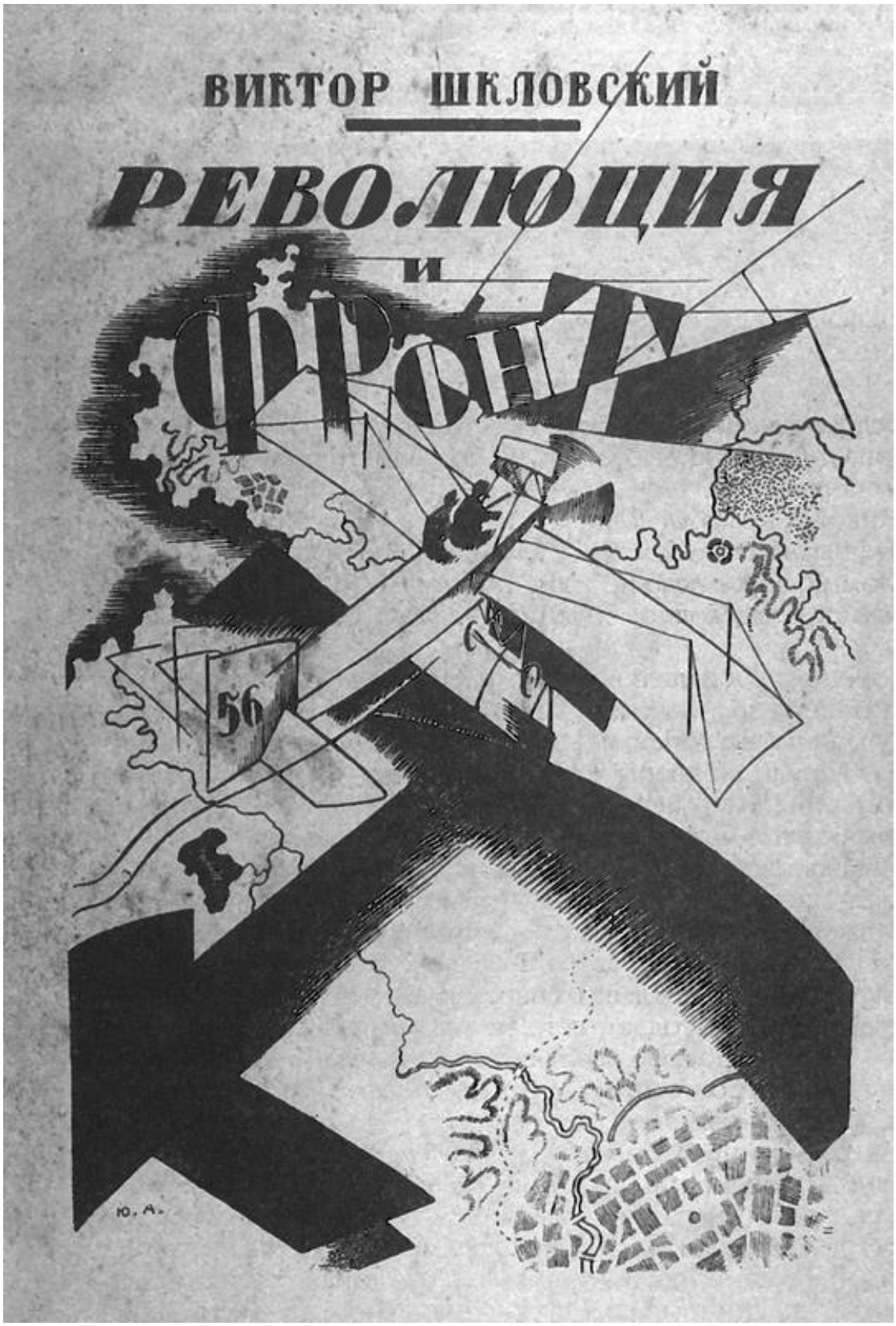
В заключение – наиболее приятная часть, благодарности. Прежде всего – семье Виктора Борисовича Шкловского. Варваре Викторовне Шкловской-Корди и Никите Ефимовичу Шкловскому-Корди – за их энтузиазм, позволивший почувствовать энергию их отца и деда не только через тексты. Ирине Дмитриевне Прохоровой – за необходимость отвечать за взятые на себя обязательства. Ирине Гачечиладзе – за неоценимую техническую и эмоциональную поддержку. Сотрудникам издательства «Новое литературное обозрение» – за помощь в подготовке этого тома.

Илья Калинин

[18] Комментарии из кн.: *Шкловский В.* Гамбургский счет. М., 1990; а также из журналов: De Visu. 1993. № 1; De Visu. 1993. № 11.

[19] Комментарии из кн.: *Шкловский В.* За 60 лет. Работы о кино. М.: Искусство, 1985.

[20] Комментарии из кн.: *Шкловский В.* «Еще ничего не кончилось…» М.: Пропаганда, 2002.


ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ
РЕВОЛЮЦИЯ
И
ФРОНТ
56
Ю. А.

Революция (в) жизни

Революция и фронт

Перед революцией я работал как инструктор запасного броневого дивизиона – состоял на привилегированном солдатском положении.

Никогда не забуду ощущение того страшного гнета, которое испытывал я и мой брат, служивший штабным писарем.

Помню воровскую побежку по улице после 8 часов и трехмесячное безысходное сидение в казармах, а главное – трамвай.

Город был обращен в военный лагерь. «Семишники» – так звали солдат военных патрулей за то, что они – говорилось – получали по две копейки за каждого арестованного, – ловили нас, загоняли во дворы, набивали комендантство. Причиной этой войны было переполнение солдатами вагонов трамвая и отказ солдат платить за проезд.

Начальство считало этот вопрос – вопросом чести. Мы, солдатская масса, отвечали им глухим озлобленным саботажем.

Может быть, это ребячество, но я уверен, что сидение без отпуска в казармах, где забранные и оторванные от дела люди гноились без всякого дела на нарах, казарменная тоска, темное томление и злоба солдат на то, что за ними охотились по улицам, – все это больше революционизировало петербургский гарнизон, чем постоянные военные неудачи и упорные, всеобщие толки об «измене».

На трамвайные темы создавался специальный фольклор, жалкий и характерный. Например: сестра милосердия едет с ранеными, генерал привязывается к раненым, оскорбляет и сестру; тогда она скидывает плащ и оказывается в мундире великой княгини; так и говорили: «в мундире». Генерал становится на колени и просит прощения, но она его не прощает. Как видите – фольклор еще совершенно монархический.

Рассказ этот прикрепляется то к Варшаве, то к Петербургу.

Рассказывалось об убийстве казаком генерала, который хотел стащить казака с трамвая и срывал его кресты. Убийство из-за трамвая, кажется, действительно случилось в Питере, но генерала я отношу уже к эпической обработке; в ту пору на трамваях генералы еще не ездили, исключая отставных бедняков.

Агитации в частях не было; по крайней мере, я могу это сказать про свою часть, где я проводил с солдатами все время с пяти-шести утра до вечера. Я говорю про партийную агитацию; но и при ее отсутствии все же революция была как-то решена, – знали, что она будет, думали, что разразится после войны.

Агитировать в частях было некому, партийных людей было мало, если были, так среди рабочих, которые почти не имели с солдатами связи; интеллигенция – в самом примитивном смысле этого слова, то есть все, имеющие какое-нибудь образование, хоть два класса гимназии, – была произведена в офицеры и вела себя, по крайней мере в петербургском гарнизоне, не лучше, а может быть – хуже кадрового офицерства; прапорщик был не популярен, особенно тыловой, зубами вцепившийся в запасный батальон. О нем солдаты пели:

Прежде рылся в огороде,
Теперь – ваше благородие.

Из этих людей многие виноваты лишь в том, что слишком легко поддались великолепно поставленной муштровке военных училищ. Многие из них впоследствии искренно были преданы делу революции, правда так же легко поддавшись ее влиянию, как прежде легко одержимордились.

История с Распутиным была широко распространена. Я не люблю этой истории; в том, как рассказывалась она, было видно духовное гниение народа. Послереволюционные листки, все эти «Гришки и его делишки» и успех этой литературы показали мне, что для очень широких масс Распутин явился своеобразным национальным героем, чем-то вроде Ваньки Ключника.

Но вот в силу разнообразных причин, из которых одни прямо царапали нервы и создавали повод для вспышки, а другие действовали изнутри, медленно изменяя психику народа, ржавые, железные обручи, стягивающие массу России, – натянулись.

Продовольствие города все ухудшалось, по тогдашним меркам оно стало плохо. Ощущалась недостача хлеба, у хлебных лавок появились хвосты, на Обводном канале уже начали бить лавки, и те счастливцы, которые сумели получить хлеб, несли его домой, держа крепко в руках, глядя на него влюбленно.

Покупали хлеб у солдат, в казармах исчезли корки и куски, прежде представляющие вместе с кислым запахом неволи «местные знаки» казарм.

Крик «хлеба» раздавался под окнами и у ворот казарм, уже плохо охраняемых часовыми и дежурными, свободно пропускавшими на улицу своих товарищей.

Казарма, разуверившаяся в старом строе, прижатая жестокой, но уже неуверенной рукой начальства, забродила. К этому времени кадровый солдат, да и вообще солдат 22–25 лет, был редкостью. Он был зверски и бестолково перебит на войне.

Кадровые унтер-офицеры были влиты в качестве простых рядовых в первые же эшелоны и погибли в Пруссии, под Львовом и при знаменитом «великом» отступлении, когда русская армия вымостила всю землю своими трупами. Питерский солдат тех дней – это недовольный крестьянин или недовольный обыватель.

Эти люди, даже не переодетые в серые шинели, а просто наспех завернутые в них, были сведены в толпы, банды и шайки, называемые запасными батальонами.

В сущности говоря, казармы стали просто кирпичными загонами, куда все новыми и новыми, зелеными и красными бумажками о призывах загонялись стада человечины.

Численное отношение командного состава к солдатской массе было, по всей вероятности, не выше, чем надсмотрщиков к рабам на невольничьих кораблях.

А за стенами казармы ходили слухи, что «рабочие собираются выступить», что «колпинцы 18 февраля хотят идти к Государственной думе».

У полукрестьянской, полумещанской солдатской массы было мало связей с рабочими, но все обстоятельства складывались так, что создавали возможность некоторой детонации.

Помню дни накануне. Мечтательные разговоры инструкторов-шоферов, что хорошо было бы угнать броневик, пострелять в полицию, а потом бросить броневик где-нибудь за заставой и оставить на нем записку: «Доставить в Михайловский манеж». Очень характерная черта: забота о машине осталась. Очевидно, у людей еще не было уверенности в том, что можно опрокинуть старый строй, хотели только пошуметь. А на полицию сердились давно, главным образом за то, что она была освобождена от службы на фронте.

Помню, недели за две до революции мы, идя командой (приблизительно человек в двести), улюлюкали на отряд городовых и кричали: «Фараоны, фараоны!»

В последние дни февраля народ буквально рвался на полицию, отряды казаков, высланные на улицу, никого не трогая, ездили, добродушно посмеиваясь. Это очень поднимало бунтарское настроение толпы. На Невском стреляли, убили несколько человек, убитая лошадь долго лежала недалеко от угла Литейного. Я запомнил ее, тогда это было непривычно.

На Знаменской площади казак убил пристава, который ударил шашкой демонстрантку.

На улицах стояли нерешительные патрули. Помню сконфуженную пулеметную команду с маленькими пулеметами на колесиках (станок Соколова), с пулеметными лентами на вьюках лошадей; очевидно, какая-то вьючно-пулеметная команда. Она стояла на Бассейной, угол Басковой улицы; пулемет, как маленький звереныш, прижался к мостовой, тоже сконфуженный, его обступила толпа, не нападающая, но как-то напиравшая плечом, безрукая.

На Владимирском стояли патрули Семеновского полка – каиновой репутации.

Патрули стояли нерешительно: «Мы ничего, мы как другие». Громадный аппарат принуждения, приготовленный правительством, буксовал. В ночь не выдержали волынцы, сговорились, по команде «на молитву» бросились к винтовкам, разбили цейхгауз, взяли патроны, выбежали на улицу, присоединили к себе несколько маленьких команд, стоящих вокруг, и поставили патрули в районе своей казармы – в Литейной части. Между прочим, волынцы разбили нашу гауптвахту, находящуюся рядом с их казармой. Освобожденные арестованные явились в команду по начальству; офицерство наше заняло нейтралитет, оно было тоже в своеобразной оппозиции «Вечернего времени». Казарма шумела и ждала, когда придут выгонять ее на улицу. Наши офицеры говорили: «Делайте, что сами знаете».

На улицах, в моем районе, уже отбирали оружие у офицеров какие-то люди в штатском, кучками выскакивая из ворот.

У ворот, несмотря на одиночные выстрелы, стояло много народа, даже женщины и дети. Казалось, что ждали свадьбы или пышных похорон.

Еще за три-четыре дня до этого наши машины были приведены по приказанию начальства в негодность. В нашем гараже инженер-вольноопределяющийся Белинкин отдал снятые части на руки солдатам-рабочим своего гаража. Но броневые машины нашего гаража были переведены в Михайловский манеж. Я пошел в Манеж, он был уже полон людьми, угоняющими автомобили. На броневых машинах не хватало частей. Мне показалось необходимым поставить на ноги прежде всего пушечную машину «ланчестер». Запасные части были у нас в школе. Пошел в школу. Встревоженные дежурные и дневальные были на местах. Это меня тогда удивило. Впоследствии, когда в конце 1918 года я подымал в Киеве панцирный дивизион против гетмана, я увидел, что почти все солдаты называли себя дежурными и дневальными, и уже не удивился.

В школе меня очень любили; солдат, открывший мне двери, спросил меня: «Вы, Виктор Борисович, за народ?» – и на утвердительный ответ стал целоваться. Мы все много целовались тогда. Мне дали части и даже обещали, что не скажут, кто взял. Я пошел в команду. До сих пор не знаю: пришли снимать ее или она снялась и разошлась сама? Люди бродили вокруг казармы. Взял двух бригадиров гаража: Гнутова и Близнякова, инструменты и пошел с ними ремонтировать машину. Все это было днем, через два-три часа после выступления волынцев – день первый.

Не понимаю, как утеснилось столько событий в этот день.

Броневик мы взяли и буксиром приволокли в гараж на Ковенский, где и начали ремонтировать, заняв помещение и порвав телефоны; возились до вечера. Оказалось, что в бензиновый бак была налита вода. Вода замерзла, пришлось выкалывать лед и высушивать бак концами.

В перерыве работы забежал к одному знакомому литератору.

У него в комнатах было тесно и жарко, стол был заставлен едой, табачный дым стоял стеной, все играли в «тетку», и играли еще невылазно два дня.

Этот человек потом очень скоро и очень искренне стал партийным, большевиком; коммунистами стали и почти все сидевшие тогда за столом.

А я так четко и сейчас помню еще их высокомерную иронию к «беспорядку на улице»!

Еще раньше всего этого в городе была объявлена забастовка. Трамваи не ходили. Останавливали тех извозчиков, которые не присоединились к забастовке. На углу Садовой и Невского встретил знакомого доцента, талантливейшего и сумбурнейшего человека, который прежде стоял близко к академистам, кажется, по пьяному делу. Он кричал и командовал группой, останавливающей экипажи. Этот человек был трезв, но совершенно вне себя.

Район вокруг Государственной думы уже охватило восстание. Близость Волынских казарм к Таврическому дворцу, который вообще находился в районе казарм – Волынская, Преображенская, Литовская, Саперная казармы (на Шпалерной), – и память о думских речах (в последнюю очередь) делали Думу центром восстания.

Кажется, первый отряд был приведен в Думу товарищем Линде, впоследствии убитым солдатами Особой армии, где он был комиссаром. Это тот Линде, который вывел Финляндский полк в апреле и пытался арестовать Временное правительство после знаменитой ноты Милюкова.

Наш броневик вышел и начал метаться по городу. Темные улицы были оживлены негустыми группами людей. Говорили, что стреляют городовые, то тут, то там.

Были на Сампсоньевском мосту, видали городовых, но стрелять по ним не успели, все они разбежались. Кое-где уже разбивали винные погреба, товарищи мои хотели взять вино, которое раздавали, но, когда я сказал, что этого делать не надо, они не стали спорить.

В это же время броневики с Дворянской улицы тоже вышли с товарищем Анардовичем и Огоньнцом во главе, они сразу заняли Петербургскую сторону и пошли к Думе. Не знаю, кто сказал нам, чтобы мы ехали тоже к Думе.

У подъезда ее стоял уже, кажется, броневик «гарфорд».

В дверях Думы встретил старого товарища по военной службе, вольноопределяющегося, тогда уже прапорщика-артиллериста, Л. Поцеловались друг с другом. Было хорошо. Река несла всех, и вся мудрость состояла в том, чтобы отдаваться течению.

Наступила ночь. В Таврическом дворце был полный хаос. Привозили оружие, приходили люди, пока еще одиночные, тащили провизию, реквизированную где-то; в комнате у подъезда были сложены мешки. Уже приводили арестованных. В Думе какая-то барышня утвердила меня в должности командира машины и даже дала какую-то боевую задачу. Снаряды для пушки у меня были, не знаю, где я их достал, кажется еще в Манеже. Боевых задач я, конечно, не выполнил, да их и никто не выполнял.

Спал час или два на шубе за колонной. В Думе встретил Суханова. Я знал его по редакции «Летописи», в литературном отделе которой я сотрудничал (помещал библиографические заметки). Но я читал в редакции доклад по поэтике, где рассматривал искусство как чистую форму и ожесточенно спорил с марксистами. Вот, по всей вероятности, почему Суханов удивился мне; я и вооруженное восстание не вязались в его сознании. А я удивился ему по своей политической наивности; я и не знал, что уже собрались и сорганизовались политические центры. Конечно, они в тот момент еще не влияли на события. Масса шла, как сельдь или вобла, мечущая икру, повинуясь инстинкту.

Ночью же привезли арестованного поручика Д., командира броневых мастерских.

Конвойные чувствовали себя не очень уверенно, арестованный же обратился ко мне с упреками: «Что, вам было плохо у капитана Соколихина, что вы пошли против него?» Я ответил ему, что ничего не имею против капитана Соколихина.

Через полчаса поручик вышел веселый. Военная комиссия при Государственной думе поручила ему как одному из первых «прибывших» автомобильных офицеров организовать все автомобильное дело в Петербурге.

Этот человек, хитрый и по-своему умный, с аппетитом если не к власти, то к месту, впоследствии ходил в анархистах-коммунистах. Я остановился на нем потому, что он был первым жокеем на скачках за местами, которого я увидел. Впоследствии я видал толпы таких людей.

Ранним утром выехали опять в город. Кто-то дал мне какую-то боевую задачу и даже артиллериста-руководителя; я потерял этого руководителя, или он меня потерял, и влился в веселый ералаш восставшего народа. Подъехал к Преображенским казармам, что на Миллионной. Кто-то сказал, что преображенцы сопротивляются.

Подъехали. Было дивное синее солнечное утро. С веселой стрельбой выбегали из казарм восставшие преображенцы в новых шинелях с очень яркими красными петлицами.

По местам пытались сопротивляться. Отстреливались, кажется, учебные команды 6-го саперного батальона и Московского полка. Самокатчики в Лесном держались довольно долго. Я думаю, что это произошло оттого, что к ним пришли одни рабочие, без солдат, и они боялись присоединиться.

На них послали броневые «фиаты» и отбили угол деревянной казармы вместе с людьми.

Ночью погиб один из наших броневиков, Федор Богданов. Он на машине с открытой броней въехал в засаду городовых (единственную правильно поставившую пулемет в окне подвала, а не на крыше, откуда пулемет только такает, так [что] его огонь не имеет тогда никакой настильности).

Тело Богданова не лежит на Марсовом поле, родные взяли труп и увезли куда-то за город.

Теперь о пулеметах на крышах. Меня вызывали сбивать их в продолжение чуть ли не двух недель. Обычно, когда казалось, что стреляют из окна, начинали беспорядочно стрелять по дому из винтовок, и пыль от штукатурки, подымающуюся в местах попаданий, принимали за ответный огонь. Я убежден, что главная масса убитых во время Февральской революции убита нашими же пулями, прямо падающими на нас сверху.

Команда моя обыскала почти весь район Владимирский, Кузнечный, Ямской и Николаевский, и я не имею ни одного положительного заявления о находке пулемета на крыше.

А вот в воздух мы стреляли очень много, даже из пушек. У меня на машине перебывало очень много пушкарей. Помню особенно первого, раненного в руку и оставшегося у пушки. Это был жандарм из казарм на Кирочной. Он говорил, что жандармы перешли на сторону восставших одними из первых. И все пушкари просом просили у меня позволения выстрелить, чтобы показать, что у нас даже пушки есть, и стреляли на Невском в воздух.

В этот день я пробыл почти все время в дежурстве у Николаевского вокзала. Вокзал не охранялся никем, я предлагал (в воздух – предлагать было некому) занять верхний этаж Северной и Знаменской гостиниц, чтобы держать весь вокзал под обстрелом, но у нас не было никаких сил. Если ставили из забежавших солдат караул, то караул или уходил, или стоял до обморока и все же не дожидался смены. Комендантами были – или я принимал их за комендантов – безрукий студент и очень старый флотский офицер в форме, кажется мичмана. Он был страшно утомлен. Приходили поезда с какими-то эшелонами, они куда-то, откуда-то ехали; мы подъезжали к ним с броневой машиной и четырьмя или пятью пехотинцами, и усталый мичман говорил офицерам эшелонов:

«Город находится в руках восставшего народа, желаете ли вы присоединиться к восставшему народу?»

Из вагонов таращились на нас люди и лошади. Офицеры отвечали, что они – «ничего», они едут мимо; солдаты смотрели на нас, и мы не знали: слезут или не слезут они из высокого вагона.

Приходили на помощь броневые машины со знакомыми шоферами. Стояли, потом уходили.

А по городу метались музы и эринии Февральской революции – грузовики и автомобили, обсаженные и обложенные солдатами, едущими неизвестно куда, получающими бензин неизвестно где, дающие впечатление красного звона по всему городу.

Они метались, и кружились, и жужжали, как пчелы.

Это было иродово избиение машин. Бесчисленные автомобильные школы навыпускали для заполнения автомобильных рот целые тучи шоферов с получасовой практикой. И вот теперь радовались эти полушоферские души, дорвавшись до машины.

Хряск шел по городу. Я не знаю, сколько случаев столкновения видал я за эти дни в городе. Одним словом, все мои ученики в два дня научились ездить.

Потом город наполнился брошенными на произвол судьбы автомобилями.

Питались мы в питательных пунктах, где из натащенного материала, из гусей и колбасы варили чудовищно жирную пищу.

Я был счастлив вместе с этими толпами. Это была Пасха и веселый масленичный наивный безалаберный рай.

К этому времени почти все вооружились отобранным у офицеров, а главным образом арсенальным оружием. Оружия было много, оно ходило по рукам, не продавалось, а передавалось свободно. Было много прекрасных «кольтов».

Боевой силы мы не представляли никакой, но мы как-то не думали над этим. Были ночи паники, ночи, когда ждали нападения каких-то эшелонов. А петербургский гарнизон все увеличивался и увеличивался. Пришли, ведя за собой на веревочках пулеметы, везя пулеметы без станков, наваленные, как дрова, на грузовик, пришли обвитые пулеметными лентами солдаты пулеметных полков и школ Стрельни и Ораниенбаума.

Около Стрельни передовая группа идущих встретила какого-то полковника, едущего на автомобиле. Полковник слегка был похож на Николая. Он был встречен бурным, исступленным восторгом, пока ошибка не выяснилась.

Пулеметы прибыли в Питер негодными к действию, главная масса их была, например, без сальников, и в них нельзя было налить воды. Их было слишком много, но число нашу боевую силу не увеличивало. Помню, как вокруг Балтийского и Варшавского вокзалов расставили пулеметы буквально через шаг. Конечно, при таком расположении стрелять было бы страшно неудобно. Но боевая сила была не важна. Начинало выясняться, что сейчас у восставшего Питера нет противника. На стороне восставших появились офицеры, пришло строем Михайловское артиллерийское училище. Немного позже присоединился 1-й запасный полк вместе с офицерами. Наших офицеров собрал по квартирам один очень энергичный еврей-инженер, вольноопределяющийся, фактически уже года полтора управляющий школой. Офицеры собрались. Достали командира дивизиона; временных командиров за это время перебывало у нас уже штуки три, но они, получив бумажку от Государственной думы, куда-то исчезали.

Собрались. Нерешительно решили присоединиться к восставшим, даже оказывать сопротивление правительственным войскам. Временное правительство уже существовало. Решили также, в отличие от невосставших, надеть красные – сначала хотели малиновые – повязки на рукав. Фактически воинские части в это время не существовали. Даже не варился обед. Команды были распылены. Михайловский манеж занят. Машины разъехались неизвестно куда.

В несколько лучшем положении была наша команда. Взводы поочередно несли дежурство и являлись на вызовы, даже ночные.

Были поставлены патрули, которые начали ловить без дела бегающие по городу автомобили и собирать их во двор части. Таким образом было спасено много машин. Но с брошенных и замороженных машин уже были сняты магнето, которые сильно подешевели после революции.

Команда приобрела благодаря странному, разнокалиберному вооружению пестрый вид вооружения гимназистов.

От того времени сохранились две кинематографических фильмы. На одной изображено кормление голубей на дворе команды, на другой – боевой выход команды с броневым «остином» во главе и с солдатами, идущими сзади с офицерскими шашками наголо.

С офицерами у нас дело обстояло не очень остро. Нашего начальника капитана Соколихина все любили за то, что он не тянул команду и исправно хлопотал о ботинках для нее. Ему в первый день революции дали шоферскую шубу без погон и вооруженную охрану из пяти человек, чтобы чужие не обидели. У другого офицера не отобрали на улице оружия, потому что оно было георгиевское. Начались перевыборы офицеров, команда мастерских заявила отвод против старого командира дивизиона. Начались интриги и добывание места при помощи солдат.

А к Таврическому дворцу все шли и шли войска, от топота ног чуть не проваливались мостовые, и от красного цвета шло непрерывное сверкание.

Совет уже заседал, но еще не было приказа № 1, и Родзянко был популярен в частях. А Совет заседал в вооружении, с криком и с наступом.

Для многих частей, пришедших в Таврический дворец, речи Чхеидзе и др. были первые революционные речи, ими услышанные.

Что думали про войну? Мне кажется, верили в то, что она сама кончится; вера эта была всеобщей ко времени воззвания к народам всего мира. Помню, что приехавшие с Моонзундской позиции говорили, что там уже сговорились с немцами: ни мы, ни они стрелять не будут. В общем, преобладало пасхальное настроение, было хорошо, и верилось, что это только начало всего хорошего.

Приказ № 1 был привезен и разбросан по рядам в Манеже во время парада. Стали отвечать: «Здравствуйте, господин полковник!» – и отвечали очень удачно, умело, дружно. Я думаю, что приказ № 1 – хотя он, казалось, и предупреждал события – комитетов в частях еще не было – был своевременным и необходимым. Нельзя было держать части с одними офицерами, только что вернувшимися из долговременной отлучки. Хотя комитеты совершенно невозможны в армии – даже менее, чем выборное начальство, – но они были единственным, на чем хоть как-нибудь держалась армия.

Самое плохое в комитетах было то, что они страшно скоро отрывались от своих выборщиков. Да и делегаты Совета не являлись в свои части чуть ли не месяцами. Солдаты были совершенно не осведомлены о том, что делается в Советах. Помогало делу только то громадное доверие, еще не растраченное, которое имело «свое» солдатское представительство. В первый Совет в большом количестве прошли вольноопределяющиеся и интеллигентные солдаты; конечно, это способствовало отрыву.

С другой стороны, по казармам почти никто не работал, интеллигенция оказалась в бегах, людей, пожелавших работать в области просвещения, почти не оказывалось. В Саперном – кажется, шестом – батальоне из нескольких сотен вольноопределяющихся менее десяти подписали лист о согласии работать в школах грамотности. Большинство же пользовалось революцией как неожиданным отпуском. В нашей части в комитет прошли взводные и старшие мастеровые – он имел деловой характер.

А полки́ за полка́ми все шли через Екатерининский зал Таврического дворца. На плакатах было еще «Доверие Временному правительству» и даже «Война до полной победы». Но воевать мы уже не могли. Пока пишу только о Петербургском гарнизоне. Громадные – до нескольких десятков тысяч – запасные части, которые уже не отсылали эшелонов на фронт и в то же время не имели никакого дела в городе, так как они не могли защищать революцию за неимением оружия, – прели и разлагались в своих казармах. Еще никто не говорил слов: «Мир во что бы то ни стало». Еще не приехал Ленин, еще большевики говорили, что винтовку нужно держать наизготове, но гарнизона уже не было, был только склад солдат. Массы еще сверкали пламенем революции, но это не было жаркое пламя кокса, а жидкий огонь разлитого спирта, сгорающего, не успевая зажечь дерево, которое он облил.

Таким огнем был Керенский. Я увидел в первый раз Керенского на его генеральной истерике; когда он после статьи в «Известиях», направленной против него, вбежал в Солдатский Совет спрашивать – «доверяют ли ему». Он бросал мятые фразы и, действительно, казался сверкающим сухими, длинными, трещащими искрами.

С измученным лицом человека, дни которого уже кончаются, кричал он и в изнеможении наконец упал в кресло. Это произвело страшное впечатление.

В другой раз я увидел Керенского, когда уже был назначен комиссаром. Ловил его для переговоров и изловил у Морского корпуса. Нашел его серый «локомобиль» и стал ждать, разговаривая с шофером.

«Сейчас вынесут», – сказал шофер. И действительно, через несколько минут из дверей корпуса вынесли Керенского. Он сидел в обычной усталой позе на стуле, высоко поднятом над толпой. Я сел к нему в автомобиль и начал говорить. С сухими, бескровными губами, с худым и отекшим лицом и с охрипшим голосом, он сказал, слабо сжав руки: «Главное – воля и настойчивость». Мне он показался человеком, уже сорвавшим свои силы, человеком, который знает, что он обречен уже.

Тороплюсь закончить писать о том, что известно всем, и спешу перейти к фронту.

Как я попал на фронт? Приехал Ленин. В мастерских дивизиона были партийные большевики; они предоставили Ленину броневик для проезда с вокзала во дворец Кшесинской, который был занят нашей частью под квартиру. Определенная часть дивизиона была резко за большевиков. Я находился тогда в дивизионном комитете и со своей школой представлял оборонческое крыло дивизиона.

Здесь я должен ввести новое лицо – Максимилиана Филоненко. Когда-то он был начальником броневых мастерских и вел себя широко, по-своему гуманно, потом с охотой поехал на фронт. Там успеха не имел, был как-то затерт, озлобился и рвался оттуда.

Он приехал уже после революции и застрял. То, что совершалось в Питере, гораздо более интересовало его, чем скромное место на фронте.

Это был маленький человек в кителе, с волосами, коротко остриженными, с головой, довольно большой и круглой, что делало его слегка похожим на котенка. Инженер по образованию, он знал четыре или пять иностранных языков, но более всего был доволен своим французским произношением. Сын крупного инженера, он неоднократно занимал ответственные места на крупных судостроительных заводах и неизменно уходил, испортив положение. Это был человек хороших умственных способностей, но не обладающий ароматом талантливости.

Первый ученик, желающий стать гением. Я не знаю его сердца, меня он любил и был хорошим товарищем. Но целью для него была – его цель, его звезда – он сам. Звезды же в его небе не было, и он ее тщетно искал.

Сперва он начал приходить в дивизионный комитет в качестве гостя и на русском безлюдье среди уже апатичных, как рыбы, комитетчиков, конечно, казался совершенно блестящим. Потом он стал брать работы по увещеванию какой-нибудь команды, чаще всего

броневых мастерских, где его ценили по прежней службе и сносили от него многое, что не стерпели бы ни от кого другого. В мрачной сборочной мастерской, где стояли чудовищные машины, а на машинах в угарном воздухе отработанных газов громоздились люди, которые после 3-го – 5-го бросили свои машины при первом признаке неудачи, Филоненко ткал свои диалектические плетенки, умные и осторожные, со всякими крючками и закорючками. Потом Максимилиан Максимилианович сумел сделаться старшим офицером по технической части. На фронт, несмотря на вызовы, он не хотел возвращаться. На фронте у него была история, как потом я узнал, – высеченный солдат; там он был мертвый человек. Здесь же он поставил правильный «угол атаки» и собирался взлететь аэропланом.

В дивизионном комитете он получил фантастический мандат – в Совдеп, не от части, а от комитета. Это был, конечно, не самый странный мандат в Совете. Я там раз встретил одного довольно талантливого еврея, виолончелиста Ч., служившего раньше в музыкальной команде Преображенского полка в качестве представителя донских казаков.

В Совете Филоненко имел несколько удачных выступлений как оппонент Зиновьева, а на гарнизонном собрании, после апрельского выступления Финляндского полка, защищал коалиционное министерство.

У него было одно большое достоинство – он имел контур, был четок, имел волю. И ясно было, что он сыграет роль. В это время он занимал относительно Совета в высшей степени лояльную позицию. Но ему нужна была новелла, патент; таким патентом было предложение послать в армию комиссаров, которые лично принимали бы участие в бою. С предложением этим он обратился ко мне и к товарищу Анардовичу. Я согласился. Я тосковал и жаждал определенного дела, а Филоненко представлялся мне человеком толковым и к революции корректным.

Теперь об Анардовиче. Товарищ Анардович, впоследствии комиссар Особой армии, был сормовским рабочим, раненным на баррикадах 1905 года. Правоверный эсер, он имел влияние на команду мастерских и вывел 16–17 броневых машин в бой в то время, когда товарищи, бывшие впоследствии левее его, еще вообще не раскачались на какие-либо поступки. Этот горбоносый человек с энергичным лицом был трогательно прост и элементарен. Писал стихи под Надсона, верил в дорогу первого Совета, как сельский священник в требник, и революции был предан без страха и колебания. Любимое выражение его было: «Просто и ясно». Говорить он мог не переставая три и четыре часа, и ничто не сбивало его. С массою, как я впоследствии убедился, он справлялся превосходно, совершенно не боялся толпы и уверенно противопоставлял ее напору свое решение.

Я останавливаюсь на нем, между прочим, потому, что среди компании военных комиссаров Анардович был действительно единственным коренным рабочим, рабочим, взятым от станка.

Предложение послать в армию людей, обязанных лично принимать участие в войне, как живых свидетелей оборончества русской демократии, было внесено в дивизионный комитет и принято им. Ехать вызвались все дивизионные небольшевики. Помню, как стоял я с опущенной головой и упавшим сердцем. Ощущение у меня было, как у рабочего, который чувствует, что его захватило ремнем за края платья и потащило; он еще сопротивляется, но сердце уже сдалось неизбежности смерти. Я был послан на фронт по списку третьим: Филоненко, Анардович, Шкловский.

Дивизион все время, до последних дней октября, считал нас своими посланными, имеющими от него мандат. Так же считал и я. Филоненко же быстро оторвался от дивизиона, помогшего ему выдвинуться.

Началась сложная канитель проведения нашего посланничества через на все согласное Временное правительство и через несогласный, но не знающий вообще, что ему надо, Исполнительный комитет первого созыва – почтенную Академию имени Фабия Кунктатора.

А Исполнительный комитет совершенно не знал, что ему делать с армией. Противопоставить себя Временному правительству или – вернее, выдумав Временное правительство и противопоставив его себе – он не мог ни распоряжаться, ни не распоряжаться, вся фактическая власть была в его руках, но неизвестно, что было в голове его. Армия же не могла понимать этого сложного и глубоко научно-социалистического положения; она требовала власти, приказания.

В Исполнительный комитет Чхеидзе прибегали толпы людей из разных частей и требовали, чтобы им приказывали. Поэтому Исполком был уже приготовлен к восприятию идеи о двухмандатном комиссариате.

Когда я вспоминаю это положение, то Филоненко представляется мне организатором Военного комиссариата. Очень быстро перешел он от мысли о людях, показывающих пример, к мысли о людях приказывающих – к мысли комиссара.

Почему Военная секция Исполкома пошла на кандидатуру Филоненко? Я думаю, из-за полного безлюдия ей пришлось прищуриться и пропустить его мимо себя; кажется, он был когда-то эсером, но до революции связи с партией не сохранил. Кандидатура его была принята, Анардович поехал его помощником, другим помощником поехал инженер Ципкевич, когда-то бывший в п. с. – р., а теперь, в сущности говоря, человек «вне политики». О Ципкевиче я еще не говорил. Буду говорить после. Я впоследствии убедился в громадном организационном таланте Ципкевича.

Это был инженер – организатор производства. Революция беспокоила его, путая все схемы и расписания, и он думал отрегулировать ее, как мотор или железную дорогу. Я же был послан как ответственный агитатор.

Теперь отвечу на вопрос, из-за чего я поехал на фронт, зачем мне нужно было наступление и зачем я наступал.

Я был за выступление потому, что считал самую революцию за наступление. Наступать, по моему тогдашнему убеждению, было можно. Нужно было или наступать, или воткнуть штыки в землю и пойти, посвистывая, домой. В братание я не верил и был прав.

Ошибка моя была в том, что нельзя было наступать, имея за собой сирену – демократическое правительство с буржуазным хвостом. Нельзя драться, имея драку в тылу. Наступление, по-моему, было необходимо потому, что победа войск республики быстро создала бы революцию в Германии. Более веселую, чем революция под прессом реванша. Нужно было наступать, пока была еще армия, но нужно было однородное правительство с быстрым проведением программы-минимума.

И еще одно – союзники, будь они прокляты, не давали согласия на наше определение мира «без аннексий и контрибуций», а эти в газетах затрепанные слова – я знаю, как священны они были в душе каждого окопника, которому вода траншеи глодала ноги, а вши грызли шею. Эти слова были поистине священны среди босых солдат.

Те, кто отверг их, виновны в крови, грязи и ожесточении. О, если бы перед июньскими полками мы смогли развернуть священное знамя правой войны, – мне не хотелось бы плакать сейчас над вашими могилами, бедные мои товарищи!

Но я изменил себе, – я не хочу быть критиком событий, я хочу дать только немного материала для критика.

Я рассказываю о событиях и приготовляю из себя для потомства препарат.

Итак – мы поехали.

Мне жалко было расставаться со своей командой, с нашей школой, которую мы довели до невиданного в России совершенства. Команда моя осталась, подгнивая вместе со всем революционным гарнизоном. Чуть медленнее остальных частей. Цейхгауза она не разделила.

Теперь еще одно воспоминание о Петербурге.

Малый Совет солдатской секции, борясь своей весьма благонравной газетой с приехавшим Лениным, поместил в ней свою резолюцию, что он считает ленинскую пропаганду столь же вредной, как всякую контрреволюционную пропаганду. Ленин приехал объясняться в Совет. Это был день смятения. Зал заполнился комитетчиками. Председательствовал вольноопределяющийся Завадье. Ленин говорил речь с элементарной стремительностью, катя свою мысль, как громадный булыжник; когда он говорил о том, как просто устроить социальную революцию, он сминал перед собою сомнения, точно кабан тростник.

Зал во время его напора был согласен с ним, и в нем водворилось что-то похожее на отчаяние. Помню бородатого солдата, кричавшего по адресу малого Совета – «буржуйчики», «маменькины сынки» и требующего «Чхеидзу председателем, Чхеидзу!».

Представляю себе, какой заворот мозгов был в голове у этого солдата.

Ленину возражал Либер. Говорил прекрасно и одушевленно. Но слова его летели, как отруби, а не падали, как семена. С этим ощущением стремительной, слепой, всех топчущей силы я и уехал на фронт. Это было в первых числах июня. Мы уже отпраздновали Первое мая своей революции. Город весь жил ею. Улицы кипели летучими митингами. Личная жизнь казалась бледной. И вот я уехал и попал в другой мир.

Поехали мы впятером: Филоненко, Ципкевич, Анардович, я и в качестве секретаря один веселый и очень дельный одессит, тов. Вонский.

Приехали в Киев. В Киеве Совет солдатских депутатов воевал с дезертирами и украинцами. Совета рабочих депутатов среди живых не значилось, так как в Киеве, кроме арсенала и завода Гретера, крупных фабрик нет.

Над городом развевался желто-блакитный флаг, Думу охраняли солдаты-украинцы, а на улицах были митинги: русские спорили с украинцами, евреи дулись и ждали, когда их будут бить.

Положение было скверное, эшелоны, направляемые через Киев, в Киеве обращались в украинцев и оседали плотно.

Проехали дальше. За Киевом дорога приняла уже фронтовой характер. Люди, как фрукты в декоративных корзинах, горами громоздились на крыши вагонов. Все места на буферах были заняты. Наш маленький вагон-микст, отчаянно болтающийся в хвосте поезда, был переполнен.

Приехали в Каменец-Подольск, там в здании гимназии стоял Искомитюз, то есть Исполнительный комитет Юго-Западного фронта. Здесь мы встретили раньше назначенного комиссаром Моисеенко… Старшим помощником его был Линде. Это были уже усталые люди. Революция сильно посмылила их.

Рассказывали про Савинкова. Савинков в армии распоряжался как власть имеющий. Завел дни приема и брал на себя инициативу действия. Моисеенко считал себя только консультантом комитета и думал, что, едва комитеты окрепнут, комиссар станет ненужным. Непохоже было, что когда-нибудь комиссар будет не нужен Искомитюзу. Вольноопределяющиеся, довольно робкие, преподаватели, случайно попавшие в строй, врачи – все это были люди, не думавшие ни о каких своих выгодах, но очень мало приспособленные для овладения бурей революции.

Состав их был случаен. Массы послали тех людей, которые были не скомпрометированы и в то же время могли что-нибудь сказать, что-нибудь сделать. Всякий хорошо грамотный человек и в то же время не офицер, почти автоматически переходя из комитета в комитет, попадал в комитет фронта.

Отсюда большое количество евреев в комитетах, так как изо всей интеллигенции именно интеллигенты-евреи были к моменту революции солдатами.

В общем комитетчики были людьми без решений, людьми, сознающими невозможность строительства своими силами, поэтому они были настроены охранительно. Тыла они

боялись. Не связанный по рукам и ногам немцами, от которых некуда было уйти на фронте, как нельзя уйти от атмосферного давления, тыл в то время раскачивал фронт, раскалывал его и расстреливал грандиозную фабрику, называемую армией.

На такой фабрике каждый обыкновенно делает очень мало, но если он перестанет делать это малое, то результат становится ужасным.

В это время шли разговоры про наступление. Наступление казалось столь неизбежным, как наступление вечера после дня, и не потому, что этого хотел Керенский, хотя Керенский и был воплощением для солдат энтузиазма революции, а потому – это чувствовалось всеми, – что нельзя собрать всех мужчин под ружье, оторвать от дела и так стоять, замахнувшись. Армия должна была или воевать, или разбежаться – пока она решила воевать.

Все знали, что наступление как будто будет даже тогда, если все скажут: «А я не хочу!»

Среди комитетчиков попадались и партийные люди, бундисты, эсеры и меньшевики. Последние главным образом плехановского толка. Комитетчик-большевик еще не появился, изредка в комитет проникал какой-нибудь солдат, находящийся вне круга интеллигентско-социалистической мысли, и этот «зверь из бездны» говорил мрачные слова, запутанные, но понятные. Эти люди называли себя большевиками, масса их состояла главным образом из шкурников, то есть людей, настроенных не жертвенно, а поэтому людей, невозможных на фронте, – где все были жертвами. Если бы попытаться определить их настоящую сущность, то точнее всего их можно было бы назвать штирнеровцами. В солдатской массе они уже имели влияние, но уважаемы не были. Большевизм масс явился позже как результат отчаянья, как словесная мотивировка отказа даже от обороны. Я говорю про большевизм военный.

Но пока полки еще держались на наивно-революционной идеологии, на «Марсельезе», красном знамени и, главное, на великой инерции столь огромного скопления людей, как армия, на остатках и навыках армейского быта.

Выразителями этой компромиссной основы революционной армии были комитеты, особенно высшие. Задачей комитетчиков было прежде всего сохранение армии. Как ее сохранить, они не знали и ждали бури, и боялись ее, и не знали, нужно ли с ней бороться; они не умели сами выразить то, что лежит в этой буре, поэтому они были робки и старались сохранить хотя бы основанную на компромиссе, но все же обороноспособную армию.

Наступление висело в воздухе, как позже ожидание большевистского переворота. Мы торопились на фронт.

Мимо старой турецкой крепости выкатил наш автомобиль на шоссе и оставил за собой Каменец, окруженный красивым кольцом воды. Дорога металась извивами, взбираясь на крутые холмы. Высокий и узкий мост висел над рекой. Я знал эту дорогу. Когда-то я вел и разбил на ней автомобиль, а сейчас заснул на дне автомобиля.

Ехали смертоубийственно быстро, к утру были у Черновиц. Белый город у гор на холмах, слегка похожий на Киев, но сильно польский, бойко торгующий, был местом нахождения штаба и комитета 8-й армии. Командующим армией был генерал Корнилов.

Нам отвели хорошую, совершенно неограбленную квартиру. Я с интересом взял местный военный листок. Выглядел он очень забавно. Из него можно было понять, что главный вопрос сейчас – это борьба гарнизонного комитета Черновиц с аркомом (армейским комитетом) на почве требования подкрепления на фронт. Политическая группировка была домашняя и упрощенная: кадеты, стоящие на платформе Петербургского Совета, то есть кадеты-циммервальдовцы, большевики-оборонцы, меньшевики с эсеровской земельной программой и – как венец – даже социалисты-индивидуалисты.

Впоследствии я узнал, что в армии ничего не значили все эти кустарные группы, так же как и некустарные. Моральным авторитетом пользовались не партии, а Петербургский Совет. Его признавали все, в него верили, за ним шли.

Правда – он стоял, поэтому все, кто за ним шел, ушли от него.

В Черновицах мы остановились не надолго. Филоненко имел здесь первое свое выступление, и у нас произошла первая размолвка. Явившись в арком, он произнес информационную речь, в которой главным образом коснулся внешней политики и в восторженных красках выяснил характер отношений между союзниками и революционной Россией. Это было так недобросовестно и так даже практически невыгодно, – потому что нельзя обмануть человека навсегда, – что я послал ему записку, указывая на невозможность таких выступлений. Тогда он резко повернул в своей речи и бешено обрушился на буржуазию и на мысль о невозможности работать без нее. Все это было сделано очень ярко и четко и на комитет произвело впечатление откровения и полного выяснения вопроса. Но в комитете в этот момент главным вопросом был вопрос не об информации.

Все знали, что наступление будет, и шел опрос представителей частей: пойдут ли их части в бой? Ответы были неуверенные; особенно помню один: «Я не знаю, пойдут ли в бой ротные комитеты, а полковой комитет драться будет!» Но главное – не это. Жаловались на «некомплект» в частях, на то, что в ротах по сорок штыков и эти сорок людей босы и больны. Только представитель так называемой «Дикой дивизии», набранной из горцев, убежденно ответил: «Пойдем когда угодно и на кого угодно». Разъяснение давал Корнилов. Его слова сводились к тому, что, несмотря на «некомплект» в частях, мы имели в месте предполагаемого удара пятерное превосходство над противником и что боевые задачи будут даваться из расчета на фактические силы частей. А были дивизии в девятьсот человек!

Опасения солдат, что им будут давать боевые задачи, считаясь не с числом штыков, а с названием части, были небезосновательны. Я при старом режиме знал случаи, когда на позиции пехотный (Семеновский) полк сменили спешенным кавалерийским полком, который по численности был раз в пять меньше.

Еще одна общая жалоба раздавалась во всех выступлениях делегатов, и на эту жалобу, конечно, Корнилов ответить ничего не мог – это жалоба на полную заброшенность полков, на оторванность. Я немного знал уже фронт и представлял себе эту тоску окопника в траншее, из которой не видно даже противника, а только зимой – снег, летом – стебли травы.

На заседании был сделан доклад, очень подробный, о силе армии и ее вооружении. Не был указан только пункт прорыва, но все знали, что дело идет о Станиславове.

Странно было слушать, как подробно обсуждался план наступления: говорили о дорогах, о количестве вооружения на собрании более чем в сто человек. Демократический принцип обсуждения был доведен здесь до абсурда, но нам удалось впоследствии углубить и обработать этот абсурд. В Станиславове перед самым наступлением были собраны все члены ротных комитетов ударной группы, то есть 12-го корпуса, и на этом собрании тоже обсуждался вопрос: наступать или не наступать? Я не говорю уже о митингах в самих окопах, иногда в нескольких десятках шагов от противника. Но тогда это не казалось мне странным. Не думаю, чтобы отчетливо понимал безнадежность положения и Корнилов. Он был прежде всего военный. Генерал, ходящий в атаки, пробивающийся с револьвером. К армии он относился так же, как хороший шофер к автомобилю. Шоферу важно прежде всего, чтобы машина шла, а не кто на ней едет. Корнилову нужно было, чтобы армия дралась. Он удивлялся на странный революционный способ подготовлять наступление. Он хотел еще верить, что так драться можно. Так шофер, недоверчиво пробуя новую смесь, очень желает, чтобы на ней можно было ездить, как на бензине, и способен увлекаться мыслью о езде на карбите или скипидаре.

Корнилова в армии я встретил не в первый раз. Я видел его еще в апрельские дни, когда петербургские полки выступили против Милюкова. Тогда он по телефону потребовал от дивизиона броневые машины; у нас же было единогласно постановлено, что мы подчиняемся непосредственно Совету. Поэтому резолюция была: «Не принять к сведению». Я ездил ее передавать. Корнилов говорил очень тихо, очевидно сильно недоумевая, как это

он, командующий, без войск и кому нужно, чтобы он командовал. Видеть меня в армии ему было неприятно; потом он примирился со мной, но стал считать меня за сумасшедшего.

Армейский комитет в тот момент очень верил в Корнилова, и, когда тот явился после доклада, сделанного офицерам штаба, его выступление было встречено восторженно. Но корниловцев не любил никто. Корниловцами назывались люди первого «батальона смерти», который формировался в Черновицах из добровольцев – главным образом солдат технических частей и военных чиновников, решившихся идти в строй.

Я могу засвидетельствовать, что батальон дрался не хуже лучших старых полков. Но эти ударные батальоны, уже нашивающие на рукава черепа и кости, дробили армию и вызвали в чутко-недоверчивом солдате опасения, что создаются в прежде единой армии какие-то особенные части с полицейскими обязанностями. Лояльнейшие комитетчики были против ударников. Ударники раздражали, про них рассказывали, что они получают какое-то большое жалованье и живут на привилегированном положении. Я был безусловно против ударных батальонов, потому что для создания их обычно отрывались из полка люди с подъемом и энтузиазмом, люди сравнительно высокой интеллигентности. Их гнала из полков тоска видеть уже начавшееся гниение армии. Но они нужнее были именно в полках, как соль в солонине.

На корниловцев нападали в комитете яростно, они же оправдывались довольно жалобно.

Кстати, вспоминаю о женских батальонах; несомненно, что это было высиженное в тылу и сознательно придуманное оскорбление для фронта.

Походил по Черновицам. Чистенький, похожий на Киев город. Ели в нем очень хорошо, по-европейски, чище, чем у нас. Солдаты не разорили город; в квартире, где я квартировал, на местах были даже серебряные вещи, подушки и ковры. Квартира была обычного, довольно богатого старопомещического типа. По городу ходили трамваи, на которых не висели и за проезд на которых платили. Подкрепления из города на фронт шли, хотя из тыла почти не прибывали, а когда прибывали, то сильно портили полки. В общем город, с точки зрения состояния гарнизона, был почти хорош. Но все это висело не на сознательной воле, которой не могло быть у людей, еще и не переживших по-настоящему революции; значит, все висело на добрых намерениях, непрочно.

Филоненко со своим секретарем Вонским, веселым, крепким и по-своему очень хорошим, чрезвычайно энергичным и находчивым мальчиком, остался в Черновицах. Я с Анардовичем поехал на фронт, где должно было с часу на час начаться наступление. И вот опять навстречу моему автомобилю побежали трижды знакомые поля Галиции с польскими кладбищами, на которых кресты по-польски мелодраматически огромны, с еврейскими крашеными могильными камнями, заросшими сухой травой, с мраморными статуями, ошершавленными дождем и ветром. На перекрестках милые синие православные галицийские распятия, на них по диагоналям креста стоят святые. Круто поворачиваясь, дорога идет все тем же нешироким, но ровным шоссе.

Иногда проезжаем мимо рощ, и тогда мерный стук машины отдается в деревьях звуком, похожим на звук удара хлыста по листьям. Приехали в маленькое темное местечко. Здесь стоял штаб корпуса, который был назначен делать прорыв.

Это 12-й корпус. Нас принял – дело было ночью – безумно усталый начальник штаба. Казалось, что он занимался неделю, неделю не спал и что у него болят зубы. У него не болели зубы, но он чувствовал себя как человек, которому велят прыгать, а ноги парализованы, или велят замерзшими пальцами собирать серебряные пятачки с каменного пола. Он начал безнадежно говорить о том, что полки отказываются копать параллели – параллелью называется траншея, которую копают впереди основного окопа, с ним она соединена ходом и, в общем, назначение ее – приблизиться к противнику, чтобы уменьшить потери при атаке.

В армии появился какой-то бродячий полк без офицеров и обоза, с одной только кухней, который затесался из соседней армии и идет куда-то домой, а наступление через несколько дней. Он говорил, а в соседней комнате, тоже тускло освещенной керосином, синели и слабо стукали «юзы» и «морзе», тонкие бумажные ленты медленно выползали из аппаратов.

Из штаба по темной, глубокой грязи прошли к командиру корпуса генералу Черемисову. Черемисов похож на Корнилова, тоже маленький, с желтым монгольским лицом, с косыми глазами, но как-то глаже его, менее сухой. Он казался умней и талантливей Корнилова. Как наштакор (начальник штаба корпуса), он уже был при прошлом наступлении в этих местах и действительно превосходно знал Галицию и Буковину. Революция и война инстинктивно нравились ему теми широкими возможностями, которые они ему давали. Солдат Черемисов не боялся: я знаю как факт, что, когда какая-то команда решила убить его и поставила миномет против дома, он, выйдя на шум, очень спокойно доказал солдатам, что миномет здесь применен неправильно, так как фугасным действием снаряда будут разрушены соседние дома. Солдаты согласились и миномет убрали. Черемисов был настроен не очень плохо, но указал вещь действительно верную: больше всего раздражала солдат газетная шумиха. Тыловые крики: «В наступление, в наступление!» В данный же момент дело обстояло так: в районе Станиславова у нас было сосредоточено до 700 орудий и начиналось сгущение фронта. Полкам уменьшались участки позиции, отведенные им, а в освободившиеся места вливали новые части. С этим и была первая заминка. Одиннадцатая дивизия, находившаяся в хорошем состоянии, идти на фронт не хотела не потому, что была против наступления – прямых отказов от войны я почти не встречал, – а потому, что была снята с другого участка фронта, причем ей был обещан отдых. 61-я дивизия, кажется (не помню точно номера, знаю, что в состав ее входил Кинбургский пехотный полк), не хотела копать параллели, еще какая-то дивизия тоже чего-то не хотела и чего-то хотела. А у противника перед нами почти ничего не было, то есть были проволоки, пулеметы и почти пустые окопы. Мы решили ехать немедленно в Станиславов. Поехали ночью. Еще было далеко до города, который находился непосредственно в линии окопов. Но фронт уже наметился беспрерывными взлетами ракет, которые жгли немцы, боясь ночного наступления. Пушки не стреляли, или выстрелы были не слышны, автомобиль бесшумно гнал дорогу, отгоняя ее за себя, и несся прямо на эти голубые огни. Мы обгоняли тихо едущие тяжелые повозки артиллерийских парков, везших снаряды. Поток повозок все густел, становясь непрерывным по мере приближения к городу. Возницы, молчаливые от ночной усталости, сидели безмолвно на тряских тяжелых двуколках, лошади безмолвно натягивали постромки.

Приехали в город. Остановились в гостинице, кажется «Астория». Город Станиславов переходил из рук в руки. Русские и австрийцы брали его то с правой, то с левой стороны, то спереди, то сбоку. Я въезжал в него уже третий раз за время войны, и каждый раз по другой дороге. Город был богат, дома сохранились, обстрел очень мало разрушил их. Сильнее всего пострадали окраины и газовый завод. Но это неудивительно, некоторые домики окраины отстояли от окопов на несколько шагов. В этих домиках жили. Наша линия шла сейчас же, как перейдешь реку Быстрицу-Надворнянскую. Такое расположение позиции было неудобно, так говорили все. Сделано же это было для донесения, чтобы написать: «Наши войска перешли Быстрицу-Надворнянскую». Войска переполняли город.

Штабы чуть ли не всех дивизий 12-го корпуса, который в это время представлял из себя едва ли не армию, теснились в городе. В гостинице, в которой я стоял, жили чины оперативного отделения штаба; на дворе стояла батарея, на крыше находился артиллерийский наблюдательный пункт, внизу, в бойко торгующем польском кафе, сидели офицеры, а в воздухе висели двухцветные, в два дымка – коричневый и синеватый – разрывы австрийской шрапнели. Ночью особенно гулко были слышны выстрелы наших орудий, они раздавались

буквально под ухом, гулко отражаясь от стен двора. Звук такой, как будто с размаху бросают на каменный пол большой мяч.

Станиславов – единственное место на фронте, где мне пришлось спать на кровати и даже с постельным бельем. В этот раз в Станиславове я прожил недолго. Меня вызвали в Александропольский полк. Полк этот занимал позиции довольно необыкновенные.

Перед ним стояли неприятельские силы на кругловерхой лесистой горе Космачке. Полк тоже стоял на горах, между нашими и немецкими окопами было расстояние верст не менее трех. Здесь фактически и войны не было. Через окопы были перекинуты доски, сами окопы полузасыпались. Братались долго и старательно; в деревнях, расположенных между позициями, сходились солдаты, и здесь был устроен вольный и нейтральный публичный дом. В братании принимали участие и некоторые офицеры, из них выделялся талантливый и боевой человек, георгиевский кавалер и, кажется, бывший студент, некий капитан Чинаров. Я думаю, что Чинаров был человек субъективно честный, но в голове его вихрился такой сумбур, что, как нам это сказали потом жители занятой нами деревни Рассульны, Чинаров неоднократно ездил в австрийский штаб, где кутил с офицерами и катался с ними куда-то на автомобиле в тыл.

В помещении австрийского штаба в деревне Рассульне мы нашли – заняв ее – немецкое руководство к братанию, изданное германским штабом на очень хорошей бумаге и, кажется, в Лейпциге.

Чинаров был арестован Корниловым и сидел вместе с неким прапорщиком К., который потом оказался казанским провокатором.

Я старался освободить Чинарова, потому что наши понятия о свободе слова и действий каждого отдельного гражданина были тогда анекдотически широки. Чинарова я не освободил, полк его требовал, я поехал его успокаивать.

Ехал долго, кажется, через местечко Надворное; уже начали чувствоваться Карпаты. Дорога была выложена поперечными бревнами. Над ней было устроено нечто вроде триумфальных арок, декорированных зеленью елки – способ маскировать дороги, перенятый у австрийцев. Заехали сперва в штаб корпуса (16-го), здесь нас встретил растерянный генерал Стогов. Этот уже ничего не понимал. «Какие-то большевики, меньшевики, – жаловался он мне, – я же вас всех привык считать, простите меня, изменниками». Я на него не обиделся. Ему было очень тяжело. Корпус его целиком состоял из третьеочередных дивизий, из всяких 600-х и 700-х номеров, сведенных из нескольких полков при переформировании, когда полки переходили от четырехбатальонного состава к трехбатальонному. Эти наспех составленные части, без традиций, с враждующими между собою группами командного состава, конечно, были очень плохи. Генерал же Стогов любил «свои войска», и ему просто обидно было, что его солдаты так плохо дерутся. Влияния на солдат он не имел, хотя они знали его и ценили.

От Стогова поехал в штаб дивизии. Там тоже полная растерянность. Хотя все знали, что на корпус и не возложена боевая задача, но все же было странно видеть войска в таком состоянии, на них нельзя было рассчитывать даже для простого занимания гарнизонами оставленных противником деревень.

Поехал в полк. Собрал солдат, митинга не устроил, чтобы не накалять атмосферы, поговорил с ними обычным голосом, сказал, что Чинарова будут судить и что я его отдать им не могу. Солдаты, очевидно, относились к нему очень хорошо и торопились подсунуть мне ложные показания о нем.

Но полк все же немного успокоился, просто от того, что отвел душу с новым человеком. С полком этим долго потом возился Филоненко и армейский комитет. Наконец он был расформирован.

От александропольцев вернулся в Станиславов. Меня попросили ехать к кинбуржцам. В Кинбургском полку, который стоял в верстах в двух от Станиславова, тоже было сильно

неладно. Он стоял на боевом участке и отказывался рыть параллели, следовательно, не готовился к наступлению. Поехал опять. Это была уже не поездка, а полет на автомобиле по шоссе, вдоль позиции. Шоссе было видно немцам, они держали его под обстрелом. Немцы били по автомобилю влет, но проскочить оказалось возможно, мы проскочили.

Приехали. Перешли речку Быстрицу-Надворнянскую и скоро попали в расположение полка. Собрали солдат, эстрадой была землянка. Один солдат сказал мне: «Не хочу умирать». Я говорил с отчаянной энергией о праве революции на наши жизни. Тогда я еще не презирал, как сейчас, слова. Товарищ Анардович сказал мне, что от моей стремительной речи у него поднялись волосы на голове. Аудитория, решающая вопрос о своей смерти, смерти немедленной, необходимость требовать от людей отречения от себя, тишина печальной тысячной толпы и смутная тревога от близости неприятеля натягивали нервы до обрыва.

После меня говорил маленький, очень грязный солдатик. Весь в казенном. Он говорил наставительно и просто и самые элементарные вещи. Из слов его я понял, что он был в числе пяти или восьми человек, решившихся прошлой ночью работать впереди наших окопов.

Потом, после митинга, я подошел к нему и заговорил. Он оказался евреем – заграничным художником, который, вернувшись из-за границы, пошел в строй. Это была почти святость. Ни солдат технический, ни пехотный офицер, ни комиссар, ни один человек, который имеет запасную пару сапог и белья, не может понять всей солдатской тоски, всей тяжести солдатской ноши.

Этот еврей-интеллигент на своих сапогах нес тягу земли.

После меня говорил Анардович. Он говорил убежденно, он был проспиртован духом Совета насквозь, счастливый, не знал всей тяжести и сложности нашего положения. Его убеждения делали его простым и убедительным. В его часовой речи были собраны все общие места всех советских речей. Революция в его душе образовала свои нормы. Он был похож на ортодоксального христианина.

Потом пошли по каким-то темным уличкам и опять говорили, обращаясь к темной, невидимой нам толпе людей с лопатами, которые не знали – идти или не идти.

Кинбуржцев мы убедили.

Ночевали где-то в штабе полка. Ночью, заспанные и смятые, как солдатская шинель, поехали дальше, говорить с Малмыжским полком.

Опять разговоры. Здесь меня ожидала новость. Группа солдат объявила мне со счастливой улыбкой: «Вы нам не говорите, мы ничего не понимаем, мы мордва». Потом поехали, кажется, к уржумцам. Самое тяжелое было то, что приходилось всюду являться в виде последнего довода и все время действовать в самых тяжелых местах.

Уржумцы, или не помню, как звали этот полк, стояли в окопах. Обходили узкую щель траншеи. Среди двух близко друг к другу прижавшихся земляных серых обрывов траншеи скучали посаженные в яму люди. Полк был растянут чуть ли не на версту. Окопники жили по-домашнему. Кто в маленьком походном котелочке варил себе на обед рисовую кашу, кто подрывал в стене себе норку на ночь.

Высунешься из узкой траншеи, увидишь только стебли травы да услышишь редкое, неторопливое посвистывание пуль.

Обходя, говорил с солдатами, они как-то жались.

По дну траншеи под поперечными досками помоста тек узкий ручеек.

Мы шли по его течению. Чем ниже становилась местность, чем больше сырели стены, тем сумрачнее были солдаты.

Наконец траншея оборвалась. Мы вышли на болотце. От неприятеля нас отделяла только невысокая, из мешков с землей и из дерна сложенная стенка.

Рота, состоящая почти исключительно из украинцев, собралась и сидела. Стоять было нельзя – опасно. Стенка слишком низка.

Полная растерянность чувствовалась среди этих людей. Мне показалось, что они сидят так всю войну.

Я заговорил с ними об Украине. Я думал, что это большой и важный вопрос. По крайней мере, в Киеве вокруг него шумели чрезвычайно. Они остановили меня:

«Нам это не нужно!»

Для этих солдат вопрос о самостийной или несамостийной Украине не существовал. Они сразу же сообщили мне, что они за общину. Не знаю, что они под ней подразумевали. Может быть, только общий выгон. Солдаты были словоохотливы, очевидно, они очень радовались свежему человеку, но не знали, что именно нужно спросить, чтобы ответ сразу разрешил их сомнения. Умение задать вопрос – большое умение. Унтер-офицер, очевидно популярный среди своей роты и стоящий среди сидящих солдат как председатель, спросил меня:

«А вот наши ребята беспокоятся, правда ли Керенский не социал-революционер, а социал-демократ, так что они беспокоятся?»

Я ответил на его вопрос. Хотя ответ, казалось, и рассеял его сомнения, но все же он не был удовлетворен краткостью его.

Казалось мне, что вот солдаты будут слушать такого унтера, который и сам не понимает, и говорит непонятно, а потом скажут: «А ну тебя» – и пойдут в разные стороны.

Прошел в офицерское собрание. «Плох наш полк, – говорили офицеры, – плох, ненадежен».

И мне так казалось. Но что сделать?

Смотрят тебе в руки, ждут чуда. А я, не сделав чуда, поехал в Станиславов.

Опять тот же город. Польский, скрытно враждебный. Чистый, разоренный. Мне сказали, что нужно ехать в 11-ю дивизию. Там дело было еще хуже. Свежая, недавно пополненная дивизия не хотела садиться в окопы. Вообще сажать в окопы дело трудное, но здесь было хуже обычного. Поехал. В дороге все не ладилось, лопались шины, слетали съемные обода, в автомобиле чувствовался упадок, хотя шофер явно старался довезти нас во что бы то ни стало. Приехали. Сперва в штаб, кажется, Якутского 41-го полка. Маленькая галицийская избушка, довольно чистая, внутри пестрая. Командир полка сообщает, что его полк категорически не хочет идти. Собираем митинг. Среди поля ставят двуколку, обставляют ее срубленными березками или кленами, рядом держат еще не линялое красное с золотом знамя. Жара. Солнце давит. В воздухе высоко немецкий аэроплан приглядывается, как русские готовят наступление. Говорил сперва Анардович. Обычная речь, по «Известиям», говорит без шапки, солнце сверкает на бритой голове. Кто-то из толпы сказал: «Правильно!», его ткнули соседи, и он замолк. Полки не знали свободы слова, они рассматривали себя как одну голосующую единицу. За противоречие били. В Малмыжском полку за оборонческую речь так избили телеграфиста, что он ушел на четвереньках.

После Анардовича говорил я. У меня странная привычка – говоря, всегда улыбаться. Это дразнит толпу, особенно если она угрожает. «Смеется, беззубый!» После нас говорил солдат-коновод, говорил плохо, но недемагогично; его доводы были таковы: во-первых, не надо трогать немца, растревожим его, а потом не справимся; во-вторых, не надо трогать 11-ю дивизию, которая только что снята из окопов, причем ей был обещан отдых, а генерал перед посадкой сказал: «Поздравляю, товарищи, с отдыхом». Говорили и не договорились ни до чего. Поехали в следующий полк – то же: полки стоят на своем, говорят, что никуда не пойдут. Заехали в штаб дивизии. Там на мызе, довольно чистой, сидит компания – начальник дивизии, который чувствует себя виноватым, хотя и не знает в чем, священник, несколько штабных и несколько членов, кажется, Симферопольского Совдепа, которые приехали на фронт с подарками и сильно удивляются, как все это не похоже на то, что они ожидали. Говорили и они о наступлении, но их чуть ли не избили. Мы присоединились к этому блоку и печально пообедали.

Шел дождь, шинели мы забыли в полку. Но дивизию нужно было двинуть во что бы то ни стало. Слова «во что бы то ни стало» так вертелись в моем мозгу, что впоследствии в Персии мне казалось, что «Вочтобытонистало» – это одно слово, а «Вочтобытонистало» – город в Курдистане. Поехали двигать дивизию. Вызвали Филоненко. Еще до его приезда узнали, что пулеметные команды, роты гренадер и инженерные – за исполнение приказания, что они стоят даже отдельным лагерем и держат свое сторожевое охранение от прочей пехоты. Должен сказать, что все квалифицированные части армии были за наступление, а главное – за сохранение порядка и организованности. Люди городской культуры – более самоотверженные, у них в голове больше воображения, и они не могут представить себе «11-ю дивизию» или «5-ю роту» как нечто автономное. Но нам нужна была дивизия, а не отдельные команды. Собрали через полковой комитет всех главарей, не согласных с нами. Сказали им, что стоять и гнить нельзя, нужно или воевать, или разбегаться. Вопрос шел о жизни каждого из говоривших. Обещали произвести следствие, отчего обманули 11-ю дивизию, подманивая к окопам обещанием отдыха. Расстались все с изорванным сердцем, сильно недовольные друг другом. А 11-я дивизия все же «пошла». Первыми снялись и ушли пулеметчики, ведя пулеметы в тылу и готовясь к нападению, потом ночью сбежала от полка пулеметная рота, за ней пришли к Станиславову остальные, где и стали, держа друг против друга караул. Но все же дивизия была передвинута. Привожу столь подробно эту историю для того, чтобы показать, как решались задачи средней трудности.

Мы приехали в Станиславов еще раньше 11-й дивизии.

Здесь Филоненко устроил в кинематографе грандиозное собрание делегатов всех полковых и ротных комитетов 12-го корпуса, то есть ударной группы. Единогласно решили наступать. Из комитетов были выделены боевые комитеты для помощи командирам, а остальным комитетчикам – идти в цепь. Все голосовавшие за это люди, быть может, и ошибались, но они ошибались жертвенно, честно, решаясь на смерть, только бы разорвать на шее революции петлю, затянутую войной. Пока мы возились с 12-м корпусом, в соседних корпусах было неважно. Пришло известие, что Глуховский полк 79-й дивизии – забыл его номер, но никогда не забуду его имя – находится в состоянии полного разложения. Офицеры разбежались, полковой комитет переизбирался три раза и сейчас тоже не имеет доверия солдат; они запретили комитетчикам разговаривать в комнате, так что комитет мог собираться только на улице среди митинга. В соседнем полку той же дивизии избили председателя полкового комитета, доктора Шура, старого бундиста; предполагалась провокация присланных на фронт городовых. Избитый доктор был посажен под арест, поехал выручать его Филоненко, ему это удалось сделать без артиллерии и кавалерии. К глуховцам поехали втроем: Филоненко, Анардович и я, оставив Ципкевича организовывать корпус к наступлению. Ципкевич был превосходным организатором некогда в боевой дружине, потом в Николаевских судостроительных заводах и, наконец, в 8-й армии, где комитетчики перед ним благоговели.

Схема его работы была такова. Вечером командующий корпусом сообщал ему задания армии на завтрашний день. Ночью Ципкевич раздавал участки комитетчикам и рассылал их, днем они телеграфировали результаты. Особенное внимание было обращено на переброску войск и проталкивание грузов. А мы – пока Ципкевич разгрызал революционными методами железнодорожные пробки – поехали к глуховцам.

Глуховцы стояли у нас на левом фланге в Карпатах, недалеко от Кирли-Бабы. Еще при Николае этот полк два или три раза бегал с позиции – по крайней мере, так хвастался он. Место, где он стоял, глухое, бездорожное, дождливое, унылое. Дорога шла, все повышаясь и повышаясь, временами открывался вид вниз на деревни, на холмы, ступенями опускающиеся в долину.

Наконец подъехали к двум маленьким горелым городкам, разделенным мелкой, но быстрой горной рекой. На железнодорожном мосту узкоколейки, начинающейся отсюда,

висел крохотный паровозик с одним буфером на груди. Когда-то, отступая, сбросили его, он повис и висел. Городки эти зовут Кута и Выжница, они стоят уже в воротах Карпат. Дальше дорога пошла, как вообще в Карпатах, вдоль реки. По противоположной стороне тихонько катился поезд узкоколейки. Дорога мучительная. Крутые подъемы, бревенчатая мостовая, одна выдерживающая дожди Карпат, – все это вместе делало путь страшно трудным. По бокам склоны с темным мехом мрачных елей, иногда почти вертикальная пашня, казалось, что лошадь и пахарь могли влезть и пахать на такой круче только на четвереньках, да еще держась за камни зубами. По дороге изредка встречаются старые гуцулы в цветных коротких полушубках, с черными зонтиками в руках. Артели подростков-женщин чинили дорогу и с готовностью улыбались автомобилю. Шел дождь; минутами не то что светало, а както серело, и дождь переставал. На полпути автомобиль не выдержал, изорвал шины и стал. Была ночь. Перешли речку вброд. Ночевали в гуцульской избушке. Выглядит – как жилище Пер Гюнта. Утром на шинах, кое-как заплатанных, на одной покрышке, набитой мохом, поехали. Приехали в полк. Штаб пустует. Встретил нас прапорщик. Вид подозрительный, очевидно, что он в свое время вел кампанию против офицеров и комитетов и лез в «Муравьевы», как я бы теперь сказал; но, когда все раскачалось и разошлось, убоялся, и сейчас все его честолюбие исчерпывалось мечтой поехать в отпуск. Полк был невыносим. Унтерофицеры из него почти все сбежали в ударные батальоны. У него не было уже ни дна ни покрышки.

Комитет отговаривал нас от митинга, но мы решили митинг собрать. Среди луга стоял помост. Собрались солдаты, пришел оркестр. Когда оркестр играл «Марсельезу», то все держали руки под козырек. Получалось впечатление, что у этих людей еще что-то есть и полк не обратился в сукровицу. Долгая окопная жизнь измучила полк, многие ходили с палочками, с повадкой слепых, у них была куриная слепота. Измученные, оторванные от России, они сложились в свою республику. Исключение представляла опять-таки пулеметная команда. Повели митинг. Слушали неспокойно. Прерывали криками: «Бей его, он буржуй, у него карманы на гимнастерке», или: «Сколько с буржуев получаете?» Мою речь мне удалось договорить, но в то время, когда говорил Филоненко, толпа под предводительством некоего Ломакина вбежала на помост и схватила нас. Нас не били, но напирали на нас с криками: «Мутить нас приехали!» Один солдат снял сапог и все вертелся, показывая ногу и крича: «У нас от окопов ноги, ноги попрели». Нас уже решили вешать, так просто – вешать за шею, но тут всех выручил Анардович. Он начал со страшной матерной брани. Опешили и осели. Для него, революционера уже 15 лет, эта толпа казалась стадом безумных свиней; он не жалел их и не боялся. Мне трудно передать эту речь; знаю только, что он, между прочим, сказал: «Я и из петли скажу вам – сволочь вы». Подействовало. Нас начали качать и на руках донесли до автомобиля. А когда мы поехали, бросили нам вслед несколько камней.

С полком в конце концов Анардович справился. Приехал один, велел отдать винтовки, построил поротно, семьдесят человек отделил и послал под конвоем одного казака в корниловский батальон, где эти люди сказали, что они «подкрепление» и дрались не хуже прочих, а остальных привел с собою на место. Полк оказался не хуже других. Конечно, все это в результате было бесполезным, мы боролись с разложением в отдельных полках, а это разложение – процесс разумный, как все существующее, и происходил во всей России.

От глуховцев поехали обратно через Куту в Станиславов. Там уже шла артиллерийская подготовка наступления. 700 пушек не торопясь, с прицелом разбивали немецкие окопы. Это для артиллеристов не тяжелая, а веселая работа. Можно обедать, пить чай, а потом стрелять снова. Не то что неприятная стрельба при отбитии атак противника. Несмотря на то что авиация немцев превосходила нашу совершенно безмерно, наши артиллеристы, не пользуясь воздушной разведкой, все же стреляли прекрасно. Я смотрел на обстрел с чердака через приподнятые черепицы крыши высокого дома, так как специальный наблюдательный пункт

был переполнен: их было сперва два, но один был разбит неприятельским снарядом, наблюдатели погибли, для похорон собрали только клочья мяса.

В картине обстрела чужих позиций поразило меня то, что шуму очень мало, как-то мало гремели пушки или гремели не все сразу. Из окопов противника били фонтаны земли, по высоте фонтана можно было догадаться о калибре снаряда. А в воздухе над Станиславовом висели двухцветные облачка разрывов австрийских шрапнелей. Около часу дня 23 июня 1917 года штаб на наблюдательном пункте получил известие, что кинбуржцы устали ждать и идут в атаку, не дожидаясь полного разрушения неприятельских проволочных заграждений.

Наш огонь, все тот же, спокойный и неторопливый, был перенесен на резервы противника. С крыши было видно в бинокль, как выбегали из наших окопов маленькие серые люди и бежали через поле. Сперва наши появлялись на отдельных участках, потом извилистая цепь наступающих опоясала весь наш фронт. Я плакал на крыше.

Уже сообщали, что первая атака прошла через три ряда неприятельских укреплений; атака была превосходная, успех развивался. Я слез с крыши и отправился на фронт. Шел пешком по шоссе, через наши окопы к австрийским. Перешел Быстрицу. По бокам дороги там и сям виднелись ямки, в которых окапывалась наша наступающая пехота. Австрийские окопы были разбиты очень сильно. Они поражали своим благоустроенным видом. Сейчас в них копошились изредка солдаты, ища сахару. Комитетчикам удалось уничтожить вино, иначе солдаты перепились бы. Через поле, устало шагая, шла вторая и третья русская наступающая цепь. Везде валялось австрийское оружие, шинели, каски. Удар был неожидан для неприятеля, несмотря на наши долгие о нем разговоры. Начальник австрийской артиллерии был убит у 40-сантиметрового орудия. Но продвинулся еще не весь фронт; где-то влево от шоссе как будто стучали палками о палки: то шел ружейный и пулеметный огонь. Я дошел до штаба 11-й дивизии, меня узнали, но всем было не до меня; палки стучали все чаще и чаще, бой занимался. Пошел смотреть австрийские окопы. Хороши окопы! Даже с броневыми башнями для наблюдателей.

Пришло известие: австрийцы сломлены по всей линии; перестрелка утихла. Пошел дальше. Из Станиславова пришли броневики, посланные для погони за противником. Они стояли перед небольшим, разрушенным австрийцами мостом и засыпали канаву. Встретил здесь одного товарища, его потом убили в боях этого же дня. Пошел дальше, убитых видно мало, раненые идут и идут, пока больше наши; значит, противник еще нигде не отрезан. А вот под кустом лежит у самой дороги убитый, лежит тихий, рядом с ним завтракают австрийскими консервами спокойные солдаты и ставят жестянки на труп.

На автомобиле меня догнал довольный Филоненко. Поехали вместе, немецкие аэропланы летали низко-низко, совершенно не боясь нашей стрельбы; я думаю, что они были бронированы, временами они опускались так низко, как будто хотели сбить хвостом наш автомобиль. Или бросали в небо красную ленту, вертикально повисающую над нашей цепью, для того чтобы корректировать стрельбу своей артиллерии.

Снаряд упал перед радиатором нашего автомобиля; думаю, что выстрелили по облаку пыли. Мы вкатили в вихрь песку и камней, поднятых взрывом, успели только закричать и уже проскочили.

В первый день войска достигли линии реки Повельчи, где и закрепились. Приехали туда, все в превосходном настроении, хотя полк при наступлении налез на полк и все спуталось и перемешалось. К вечеру стали известны первые результаты наступления: фронт противника был разорван, мы прошли верст десять, взяли две немецкие дивизии в вагонах и более трех тысяч пулеметов.

Я пишу все это почти через два года. Наше наступление было 23 июня 1917 года по старому стилю, а я пишу в Троицын день 1919 года. От глухих и далеких выстрелов пушек

слегка подрагивают окна дачи, в которой я живу (Лахта). Где-то, кто-то, не то финны, не то какие-то анонимные бельгийцы, бьют каких-то мне неведомых «наших».

На другой день опять поехал на фронт. Повельча пройдена. Наши потери были ничтожны. Знаю, что Камчатский полк, который я встретил, потерял 40–50 человек.

Проехали через фронт, отпустили автомобиль и пошли пешком с разведчиками.

В продолжение двух или трех дней мы часто выходили с разведчиками за нашу линию. Наступление шло порядком необычным. Впереди всех шла наша легкая артиллерия, даже без прикрытия; она едва успевала становиться на позицию и сделать несколько выстрелов, как уже приходилось идти дальше. Австрийцы потом переняли эту манеру у нас, и при встречных боях в Долинском направлении нам приходилось убеждаться, что у них артиллерия вышла непосредственно в цепь. Но в те дни артиллерия гуляла и вне цепи. За артиллерией шла пехота, за пехотой кавалерия. «Дикую дивизию» не удалось использовать, кажется, из-за пересеченной местности. Вообще же она была много хуже нашей регулярной кавалерии, которая очень хороша. Кавалеристы впоследствии одни прикрывали наше отступление. Это были еще кадровые солдаты. В то время настроение у них было почти шовинистическое. Они говорили: «Мы за мир без аннексий и контрибуций, но за войну до полной победы». Пока же преследованием противника занималась артиллерия.

А в нашем тылу двигались и сшибались огромные, тяжелые, с непрерывным грохотом идущие обозы наступающей армии.

Так ясна была разница между тонкой-тонкой, не цепью, не линией, а ниткой русского фронта и огромным перегруженным тылом.

Помню один наш переход. Вышли вечером. Со мною милый Вонский, энергичнейший одессит, который умел пропихивать через Станиславов неопределенно большое количество раненых. Справа перед нами горящая деревня. Зажгли австрийцы. От пожара еще темней. Издали стреляет по пламени уходящий противник.

Солдаты черпают воду из колодца котелками, привязывая их на телефонный провод.

Идем дальше во тьму.

Нагоняют броневики. Окликают. Узнает ученик-шофер. Решаем ехать дальше. Узкий однобашенный «ланчестер». Душно и жарко внутри. Оклеенные толстым войлоком стены украшены портретами Керенского и кусками кумача.

Едем, въезжаем в лес, в котором, говорят, водятся австрийские части. Никто не стреляет.

Останавливаемся. Опять горящая деревня сбоку, за лесом. Неприятель стреляет по лесу. Значит, он уже очистил его. Случайный осколок ложится у ног. Все начинают говорить шепотом. Весь лес, вся дорога усеяны тяжелыми германскими боевыми шлемами с низко опускающимися назатыльниками и козырьками, винтовками… лопатами… проволокой в мотках.

Утром нагоняет нас автомобиль с корреспондентами. Один из них Лембич из «Русского слова». Помню, как он рвался в Станиславове к телеграфу. Значит, едет писать корреспонденцию из третьих рук, похожую на правду, как облака на цимбалы.

На другой день поехали дальше. По дороге встретили офицера-артиллериста с картой в руках; он искал высоту 255 и спрашивал о ней чуть ли не у прохожих. Карты читать он не умел. Не знаю, откуда он взялся.

Так, катясь совершенно незаметно, мы доехали до Галича. Галич был только что занят отрядом разведчиков, кажется, Заамурской дивизии – зеленые канты – и взводом броневиков, кажется, 7-й армии. Крохотный городишко, которого никто бы и не заметил, если бы не его крупное стратегическое значение – предместное, очень сильное укрепление, – был пуст. Немцы ушли, взорванный мост был так пустынен, как будто это и не мост, а сфинкс в пустыне. На противоположном берегу видны два наших разведчика, переплывшие реку или

перешедшие вброд. Глубоко под мостом быстро и невнимательно пробегали волны Днестра мимо опостылевшей им войны.

В городе домов десять. В одном люди, наших войск с комиссарами вместе (я и Ципкевич) человек тридцать. На высокой горе торчат развалившиеся черные стены замка Даниила Галицкого. Все то же, что я видел еще в 1915 году, когда вел в снежную вьюгу автомобиль из Брод через Галич на Львов, Станиславов и Коломею. А сейчас я заехал в Галич из Станиславова и думал, что еду по дороге в Львов. Мы так изменили свои фронты, что, когда находили свои старые окопы, они были нам против шерсти.

Но в Галиче было и кое-что новое. Это прекрасные немецкие укрепления.

Были вырыты норы, укрепленные двойной обшивкой из толстых бревен и подрытые под самое основание высокой галицкой горы. Были построены громадные погреба для артиллерийских снарядов, а вокруг всего этого кегельбаны, души и беседки из белых, с неободранной корой стволиков березы.

Обычно немцы, оставляя позиции, очищают их «под бритву», даже метут пол, чтобы в мусоре не оставить какие-нибудь бумаги – например, конверты от писем, по которым можно было бы догадаться о составе занимающей части.

На этот раз они поторопились и оставили и снаряды, и кое-какие неважные бумажки. Артиллерия была увезена ими вся. Солдаты развлекались в занятом городе, как обычно. Пускали ракеты, пробовали гранаты, брали снаряжение, чтобы бросить его через несколько шагов. Было солнечно и очень мирно. И тихо, тихо, как в курорте осенью после разъезда.

Поехали обратно, и мимо разбитых, догоревших деревень, мимо лесов, уже больше не шепотных, мимо часовен, в которых днем желтым пламенем горели кем-то зажженные свечи, я въехал в Станиславов.

Здесь мне сказали, что я должен ехать в 16-й корпус, то есть в район деревни Надворной. Неприятеля там почти не было; может быть, в окопах остались одни сторожевые охранения, а может быть, только сторожевые собаки. Противник уходил, но третьеочередные дивизии не решались наступать, хотя перед ними была пустота торричеллиева, которая их всасывала. Меня послали передвинуть части. Поехал, снова увидел генерала Стогова, который старался скрыть позорное состояние своих частей, но, конечно, не мог. Корнилов писал ему: «Занять деревню Рассульну»; он отвечал: «В деревне Рассульне противник», – на что Корнилов очень вразумительно телеграфировал: «Если есть противник, его надо выбить», – а войска не бились и не выбивали.

Приехал. На Космачке, той самой круглолесой горе, которую я видел уже из Александропольского полка, стоит одинокая австрийская пушка и пугает. Стреляет то вправо, то влево, то по дорогам, то по тем местам, где можно было предположить стоянку штаба и где он, конечно, стоял. Наша артиллерия молчала, не могла не молчать. Знали, что перед нами неприятельского фронта нет. Бить по деревне – жаль людей, бить по лесу – жаль снарядов, и били так, для очистки совести, по одной Космачке. В поле стоит пламя – это местная неопалимая купина: нефть, зажженная еще два года тому назад в буровой скважине, все еще горела.

Проехали по фронту. Австрийцы уже отступили и очистили свои старые окопы.

Окопы хорошие, сухие, хотя место болотистое, с редким ельником, совсем петербургское болото. Везде домики, везде те же беседки из неободранной березы.

Вышел на наш фронт. Иду лесом и все встречаю одиноких людей с винтовками, больше молодых. Спрашиваю: «Куда?» – «Болен». Значит, бежит с фронта. Что с ним делать? Хотя и знаешь, что это бесполезно, говоришь: «Иди обратно, стыдно». Он идет. Выполз на опушку. Какие-то обрывки. То здесь, то там кучки. Командир полка докладывает:

«Вчера такая-то рота убежала, вчера такая-то в панике открыла огонь по своим».

Собираешь комитет. Комитет весь в цепи, затыкает собою дыры. Прихожу к какой-то роте, объясняюсь почти одними междометиями: «Товарищи, что же вы…» – «Мы ничего, мы стоим…» – «Идите в Рассульну». Начинают объяснять, что в Рассульну нужно идти полем, а пока пойдем, нас перебьют с Космачки. Тоска.

Взял винтовку и гранату. «Кто со мной в Рассульну?» Вызвался один разведчик. Идем полем то в траве, то в каких-то редких колосьях, быть может ржи. Дошли до деревни, дорога пуста.

Идем в первую избу. Перепуганные бабы спрашивают нас шепотом: «Что, скоро придете?» Ничего не говорим. Мальчик лет семи или восьми, белокурый и тихий, на полупонятной мне галицийской мове зовет посмотреть на австрийцев. Идем уже ползком.

У моста в речке редкая цепь австрийцев ставит на переносных железных тонких кольях-прутьях наспех проволочные однорядные заграждения.

Одному или вдвоем выбить их невозможно. Тоска. Взял с оставленной батареи кое-какие брошенные бумажки и пошел прямиком через поле к нашим. Пришел, оставил разведчика и ушел. Думаю, пусть он расскажет.

Посоветовал обстрелять «фронт» артиллерийским огнем, пустить в Рассульну броневики, может быть, тогда сзади приплетется и наша пехота.

Так и сделали, и, чуть ли не подталкивая в спину коленом, втащили войска в Рассульну. В Рассульне они чуточку ободрились, страшную Космачку, при взятии которой чудилось пролитие моря крови (другая знаменитая гора, Кирли-Баба, была действительно мощена костями), обошли, но благодаря нашему промедлению австрийцами была увезена вся их артиллерия.

Именно в Рассульне нашли мы немецкое штабное руководство к братанию…

Стоило ли тащить такие войска? Почему мы не понимали, что нельзя воевать, имея такую слизь на фронте? Потому отчасти, что мы не имели иного выхода из войны, как крупная победа над Германией, которая одна – по нашему мнению – могла поднять революцию в ней. Все же ведь танки раздавили трон Вильгельма. И мы не смели видеть невозможности и шли через невозможность.

Кроме того, мы знали, что перед нами тоже не армия, а слякоть, которая была положительно хуже нашего 16-го корпуса, но много его трусливее; но, увы, она хоть приблизительно, но исполняла приказания.

И вот мы вошли в Рассульну.

Не помню, уезжал ли я из Рассульны или нет. Помню себя несколько дней перед ротой солдат, которая сбежала с позиции. Я ругательски ругаю ее. Она кается и потеет. Идет дождь. Я решаюсь сам вести эту роту обратно. Фронт уже в верстах 20–30 от Рассульны.

С палочками в руках мы идем через черный, высокий под дождем, мрачный лес. Мы идем в деревню Лодзяны.

Идем. Дорога временами перерезывается траншеей, засыпанной землей. Земля осела, и образовался глубокий ухаб, в котором мучаются застревающие обозы. И никто не слезет и не положит в выбитую яму хотя бы мешки с песком, которые лежат кругом тысячами, так как из них был сделан бруствер окопа.

Странная нация. Она не умеет даже дорогу починить. И так и пройдут тысячи телег, проваливаясь в одном и том же месте, и тысячу раз вспотеют тысячи лошадей и в три раза более тысячи людей.

В деревню Лодзяны пришли ночью. Опять жалобы. Жалуются несчастные командиры третьеочередных частей. Части были пополнены городовыми, кадровыми фельдфебелями, которые развивали противовоенную агитацию со всей силой своей сравнительной интеллигентности. Городовые были еще лучше «шкур», среди них попадались порядочные люди,

которые хотели «заслужить» и «искупить». Разжаловал, не имея на то и тени права, нескольких фельдфебелей в рядовые за бегство.

Настроение войска неважное. При сравнительно легком переходе брошены солдатами шинели. Мерзнут, завертываясь в одеяла. Здесь мне сказали, что ударный батальон 74-й дивизии отказывается занять позицию.

Для ударного батальона даже мне, человеку уже привыкшему, это показалось слишком трусливым. Пошел выяснить и сразу попал в толпу измученных и изнервничавшихся людей. Пошли жалобы. Оказалось, что батальон состоял из кадровых солдат, унтер-офицеров, сбежавших от развала своих частей. Но и в своей части они нашли тот же развал, уже не от нежелания солдат, а от неумения организоваться. Батальон не имел повозок, не имел патронов к своим японским винтовкам, то есть был безоружен, если не считать гранат, подобранных в австрийских окопах. И ему было приказано занять позицию.

Достал откуда-то через приехавшего Вонского винтовки, патроны и послал их в бой. Почти весь батальон погиб в одной отчаянной атаке.

Я понимаю их. Это было самоубийство.

Лег спать. Ночью поднял меня с отчаянным воплем хозяин-русин, солдаты косили у него зеленый хлеб. Поднялся и ночью бегал по росе. Утром приехал Корнилов и приказал как можно скорей вывезти все снаряды, захваченные нами от австрийцев из деревни.

Фронт тянулся около последних изб, место было неспокойное. Днем солдаты убили двух евреев, про которых говорили, что они сигнализировали. Я уверен, что это было не так. Сочетание трусости с шпиономанией невыносимо. И все же кровь эта как-то легла и на меня. А фронту нужно было продвинуться дальше. Наша артиллерия стреляла все чаще и чаще, отгоняя австрийцев. Те держались некрепко; правее нас, в районе 42-й дивизии, где был в это время Анардович, они бежали от одного шрапнельного огня.

С высоты нашей деревни было видно, как австрийцы эвакуировали прифронтовую полосу, отправляя в Долинском направлении поезд за поездом почти без перерыва. Очевидно, эвакуация заканчивалась. Готовили сдачу.

На другой день разыгрался уже настоящий бой. Бой шел не то по Ломнице, не то по Повельче, сведения все время поступали самые разноречивые и неуверенные, какое-то военное бормотание. Пошел на фронт. В лесу попадаются отдельные люди. Нашел штаб полка, там тоже почти ничего не знают. Бой идет в лесу, части то отступают, то продвигаются вперед. Связи вдоль фронта нет. Пошел вперед, перешел речку, теплая вода которой сразу залилась в сапоги и стала пищать и хлюпать в них. Через ряд полянок попал в еловый лес, где уже свистели пули и тявкали деревья под рикошетами.

Иду лесом и сразу попадаю в нашу цепь. В мокрой от ночного дождя земле вырыты отдельные ямки и неуклюже вывернуты пни с перерубленными корнями. В ямках вода, в воде лежат люди, мокрые, усталые. Два-три офицера прячутся за деревьями, но стоят. Видно, не знают, что нужно делать. Беспрерывно стреляют пулеметы, и, кажется, зря. Нервно, нестройно раздаются выстрелы из винтовок. От отдельных солдат слышно ворчанье на офицеров:

«Разве они сзади должны быть, они должны на сто саженей вперед пойти».

Мне объяснили, что цепь не решается продвигаться. Перед ней венгры. Правый и левый полк уже почти на версту впереди. Обращаюсь к солдатам: «Идите вперед». Молчат… Так тоскливо было в этом лесу, в глухом углу революционного фронта. Я поднял лежащие рядом с головой какого-то солдата две русские жестяные бомбы, положил в карман и взял винтовку, перешагнул нашу цепь и пошел вперед. Выстрелы перед нами смолкли. Шел, кажется, шагов 60; канава, дорога, опять канава, и сейчас же за ней лежала цепь австрийцев. Я почти наступил на нее. Бросил бомбу вбок, вперед не мог, она попала уже за цепь. Желтое

пламя вспыхнуло с глухим взрывом, меня слегка контузило… Время было неподвижно. Так неподвижны иногда в бурю тучи, когда их освещает молния…

И сразу с криком набежал, пробежал мимо меня в полном бешенстве наш полк.

Полк не выдержал и прибежал.

Помню атаку. Все кругом казалось мне редким, не густым, странным и неподвижным.

Помню желтые на сером мундире ремни немецкого лейтенанта. Лейтенант первый выскочил мне навстречу, после секундного остолбенения бросился, повернулся и упал, подгибая колено под грудь и как будто ища место, где бы лечь на землю. Желтый ремень пересекал его спину. Не я убил его.

Пробежавши окопы, я оглянулся: какой-то наш солдат, торопясь, стягивал с мертвого его офицерскую выкладку и вдруг сам упал рядом.

Мы шли атакой, в серый день, между мокрыми деревьями. Какой-то немец с криком: «Я ваш» – пал на колени и поднял руки. Наш солдат пробежал мимо, потом полуобернулся и, целясь в бок, выстрелил в него.

Цепь бежала скорее меня, я отстал. Я знал, что нельзя идти в атаку, стоя в полный рост, но мы обезумели. Ненависть к войне, к себе и усталость не позволяли думать о самосохранении.

Где-то влево в ольховых кустах заработал с редким стуком немецкий пулемет.

В тылу показалась группа австрийцев, спешащая к нам в плен.

Мы с разбегу вбежали в какую-то быстротекущую, почти опрокидывающую речку, сбили каких-то людей, которые хотели зацепиться и задержать нас, легши в завалы.

Потом пустая деревушка, с курами, бегающими по улицам. Кто-то стал ловить курицу. Нас осталось мало, большинство было выбито.

За деревней было еще проволочное заграждение, мы достигли его.

В этот момент оказалось, что у нас нет патронов. Полк расстрелял их, лежа в лесу. Я закричал: «Ложись окапываться». Мы были уже в глубоком прорыве.

В этот момент мне что-то согрело бок, и я почувствовал себя сбитым на землю. Вернее, даже почувствовал, что лежу на земле. Вскочил и опять закричал: «Окапывайтесь, сейчас будут патроны».

Я был ранен в живот навылет.

Казалось мне, что главное – уйти сейчас же отсюда. Хотя я знал, что раненному в живот нельзя шевелиться по крайней мере час-два, я пополз в тыл. Мне хотелось уйти из-под пулеметов.

Я мечтал не о Петербурге, не о деревне Лодзяны. Каждое место, хотя бы в трех шагах отсюда, казалось мне желанным.

Я полз и был счастлив. Пали ручьи в реки, пала в море река, я донес свою ношу.

Я снял пояс, бросил винтовку, хотя это и дурной тон для раненого.

Какой-то раненный в ногу солдат дал мне в шагах ста от боя бинт, снятый с убитого, и перевязал меня. Крови было мало. Так, пятнышко.

С ним мы ползли до речки и говорили друг другу все время ласковые слова.

До Лодзян было далеко-далеко.

За речкой уже были носильщики-санитары с палками от носилок на плечах.

Они сложили носилки, положили меня на них, покрыли и понесли вчетвером на плечах.

Мне было холодно, я вымок в речках. С трудом шли носильщики, вдавливая ноги в воду в быстро бегущей речке. Я ни о чем не думал. Было почти тепло. Только темно. Вечер.

Когда несут на плечах раненого, то он, лежа в обвиснувшей холстине, не видит почти ничего, кроме деревьев и неба. Мимо неба проносят всех.

Шли тропинками, потому что по шоссе австриец крыл артиллерией.

Принесли на перевязочный пункт.

Он был завален ранеными. Весь пол был занят. Меня положили у входа, но перенесли скоро, я считался раненным очень тяжело.

Подошел доктор. Я сказал ему, чтобы отправили телеграмму Вонскому о том, что я ранен. Он посмотрел рану и сказал, что пробита S-образная нисходящая кишка, и спросил:

– Курите?

– Нет.

– Закурите, ведь все равно. Икали?

– Нет.

– Ну, может быть, не умрете, но дайте адрес родных.

Кроме раны у меня был сильный шок, пульс слабый. Мне вспрыснули камфору.

Санитар снял с меня мокрые сапоги и куртку и попросил подарить: «Я от крови вымою, а вам больше не нужно…»

Перевязочный пункт был под обстрелом. Всех раненых торопились отправить в тыл. Меня с офицером, рука которого была размозжена от плеча до кисти, положили на дно патронной двуколки и отправили.

Везут. Все занято, все забито ранеными. Усталый возница ругается: «Куда вас сбросить?» Мы угрожаем ему: «Вези дальше, мы себя не дадим на дороге бросить». Не знаю, чем бы это кончилось. Уже светало небо. Наступало утро. По дороге нас встретил Вонский с автомобилем. Телеграмму передали ему случайно с мотоциклистом, и он приехал из 42-й дивизии на багажнике того же мотоциклета. Меня с товарищем положили в машину и повезли в Надворную.

Я спрашивал, что на фронте. В 42-й дивизии происходило приблизительно то же, что я уже видел. Австрийцы были слабы и бежали от одного шрапнельного огня, то есть из-за совершенных пустяков, но наши части шли апатично, вяло или совсем не шли.

Бывало и так, что австрийский полк выбивался одними нашими офицерами, телефонистами и полковыми саперами. Врачи ходили резать проволоку, а части не поддерживали. Вся неквалифицированная Россия буксовала.

Привезли в Надворную. Передали, положили на новые носилки (кровати не было) и велели ждать. Сказали, что если у меня не будет перитонита, то буду жив. Я лежал слабый, но уже убежденный, что буду жить.

Госпиталь был еще «здоровый», с популярным старшим врачом. Наши санитары не работали и не ухаживали за ранеными, так же как не чистили лошадей.

Лучшие санитары были из пленных австрийцев. Австрийцы прежде всего дорожили местом, где их кормили и где с ними хорошо обращались, а потом, были более культурны и не могли, не умели плохо работать – так же как хорошо квалифицированный шофер не может небрежно относиться к своему автомобилю. В госпитале получил телеграмму от своего дивизиона. Писали, что считают меня исполнившим свое поручение.

Потом отыскался и пришел ко мне старый товарищ по первым дням военной службы, вольноопределяющийся Долгополов. Он был тоже ранен. Когда броневик стоял, затыкая дыру на фронте версты в 1½ шириной, снаряд попал в башню машины и оглушил всех находящихся в ней.

У Долгополова были вдавлены барабанные перепонки. Он все жаловался – чешется там, внутри уха, а почесать нельзя. Все же не лежал, а ездил почти каждый день в бой. Это был крепыш с сильной шеей, но с уже надломанной душой.

Несколько недель тому назад он побывал в Петербурге. По случайности у него были знакомые «новожизненцы». Он сперва напал на них, потом они рассказали ему, почему именно война ведется в интересах империалистов всех стран, и разбили бедному мальчику

с шеей в 46 сантиметров всю его психологию солдата из интеллигента, отказавшегося от офицерства и уже имеющего три Георгия.

Казалось, что все правы, в ушах чесались вогнутые туда и ущемленные между слуховыми косточками барабанные перепонки, сердце не горело и тоже как-то ныло.

Но я еще наслаждался фактом жизни.

На исходе 8 или 10 дней приехали ко мне Филоненко и Корнилов. Корнилов привез Георгиевский крест, которому я был рад, но как-то не мог суметь проделать весь ритуал приема с поцелуем. Корнилов немного огорчился. Филоненко был весел. Он распухал и взлетал. Сейчас он ехал уже комиссаром Румынского фронта. От него я узнал о тарнопольском разгроме, о том, что сделали наши войска в Калуше, о том, как 3-го и 5-го выступили и растерянно замялись большевики. О тяжести происходящих событий я не догадался сразу.

Но через несколько дней пришел старший врач, хромой, седобородый, немного сумасшедший кронштадтец, и сообщил, что мы спешно эвакуируемся.

Началась упаковка, все торопливее и торопливее, и вот эвакуация незаметно обращалась в бегство.

На нас не давил непосредственно неприятель, но в районе Тарнополя недели две тому назад ушло самовольно два полка, потом еще один, потом еще один не пошел куда нужно, и подмытый фронт рухнул. Немцы послали в дыру кавалерию, и ей нужно было только сторониться, чтобы ее не затоптали беглецы.

Есть такая детская игра: ставят дыбком друг за другом деревянные кирпичики спирально, с таким расчетом, чтобы, падая, они задевали друг друга, потом толкают один, и разгром спешно пробегает всю спираль. Нас толкнула 7-я армия. Наш правый фланг был обнажен.

Все торопливее и торопливее собирали вещи. Земские и городские госпитали, как более нервные, уже сбежали, бросив очень ценные и нужные на фронте большие шатры.

Старший врач свирепствовал и держал солдат. Он чуть ли не сам с костылем стоял в воротах, не давая улизнуть пустым двуколкам. Уже истекал третий день эвакуации.

Пришли ко мне и спросили, могу ли я встать. Я надел шинель на белье, туфли, поймал автомобиль, сел на него и поехал.

Наш госпиталь тронулся уже без меня. Самых тяжелораненых, перевозка которых была невозможна, оставили с одной старшей сестрой, которая плакала вслед повозкам, но осталась. Кто-нибудь должен был остаться. Уже горела выброшенная из окон солома, госпитальный обоз огибал здание лазарета и вытаптывал и выминал огород, чтобы он не достался неприятелю.

Австрийцы-санитары несли раненых на плечах, они тоже не хотели попасть в плен к своим. Выехал в Надворную. Где-то раздают сахар, сколько возьмешь.

Горят склады. Раненые чуть ли не оружием отбивают места в самом последнем поезде, который медленно отползает… Люди на крышах, буферах, люди подвязывают себя под вагоны… Крохотный паровозик, надрываясь, тащит, пятясь задом наперед, длинную нитку поезда и, кажется, вот-вот сам сейчас разорвется.

Идет пехота. Едет артиллерия. Место госпиталей занимают перевязочные пункты. Снова слышна артиллерийская стрельба, говорят, что снаряды ложатся недалеко…

Попробовал распутывать обозы и подавать порожняк, но не мог: стало дурно.

Положили в переполненную санитарку и гужом повезли в Коломею.

Коломея была переполнена. Пошел в штаб. Нашел Черемисова, который тогда был уже командующим армией. Он был спокоен, но возбужден. Меня он не узнал. Не увидал даже. Не до того было.

Нашел знакомого, сел в поезд командующего, поехал в Черновицы. В том же вагоне ехали телеграфисты штаба и мирно играли на гитарах, ведя свои телеграфные разговоры.

Не доехав до Черновиц, поезд стал. Вперед пропускали грузы. Слез с поезда, сел в обозную телегу и доехал до Черновиц. Там поехал в Кауфмановский лазарет. Чистый, тихий, дисциплинированный, уже совсем городского типа. Мне сказали, что у меня инфильтрат. Кажется – это значит внутреннее кровоизлияние. Сказали, что дело плохо. Лежу. Тихо в палате.

Молоденький офицерик с перебитым позвоночником лежит и вышивает гарусом, он никогда не сможет ни встать, ни даже сидеть.

Другие раненые офицеры упрекают меня, до чего мы довели Россию.

Приехал Вонский. Он ездил искать меня в Надворную, с ним комитетчик, тихий народный учитель-мордвин.

Рассказывают, как идет отступление. Фронт расклепан, немцев держат только броневики, зенитные пушки на автомобильных платформах. Броневики держались 16 часов. Халил Бек, мой старый товарищ, кавказец, подполковник, 26 лет, детски веривший тогда в Советы и даже переставший пить после воззвания о вреде пьянства, держался 5 часов во взорванной машине, потом был ранен в 12-й раз и вынесен из-под обломков на руках. Потом опять ходил в атаку, уже с пехотой.

Одиннадцатая кавалерийская дивизия держала немцев в конном и пешем строю; у ней не осталось целых солдат, она почти уничтожена.

Люди подхватывали рушащуюся армию на свои руки, подставляли под ее тяжесть свои головы. Это была такая печальная любовь.

Как-то менее тих стал госпиталь. Я чувствовал, что Черновицы эвакуируют.

Я просил, чтобы мне дали сопровождающего. И вот меня на носилках перенесли в санитарный поезд, в вагон тяжелораненых.

Медленно, по-фронтовому пополз поезд. Мы ехали 11 верст 24 часа. Это было мучительно скучно…

Я слез с носилок и вместе со своим солдатом улизнул с поезда, и мы поехали то с отступающей артиллерией, лежа на плохо сложенных снарядах, то в санитарных вагонах, то с эшелонами. И так по дивно красивой, идущей по верху скалистого берега Днестра дороге через Могилев я добрался в Киев. Оттуда на полу, в купе, в Питер. В милый, грозный город русской революции.

В Питере меня опять положили в лазарет, но, увидав, что я жив и, очевидно, не скоро умру, – отпустили.

Я был как солдат освобожден от службы.

Так кончился первый мой выезд на фронт. Первый за время революции. Теперь я бросаю на время говорить про себя и скажу о всем фронте.

Я не люблю книги Барбюса «Огонь» – это сделанная, построенная книга. Про войну написать очень трудно; я из всего, что читал, как правдоподобное ее описание могу вспомнить только Ватерлоо у Стендаля и картины боев у Толстого. Так же трудно, не прибегая к условным и ложным местам, описать настроение фронта. Никогда, никакой летчик, даже при планирующем спуске, не сможет услыхать слов, даже самых трогательных. Всякий, кто хоть раз летал, знает, что это невозможно. Никогда я не поверю, пока это мне не докажут статистики, что на Западном фронте так много дрались в штыки или что возможно разрушить руками немецкую лисью нору и затоптать дыру ногами. Никогда не поверю я в эту книгу, с окрошкой трупов, с концом, размытым наводнением и рассуждениями.

Но буду говорить. Попробую рассказать, как я понял все, что произошло.

Армия России имела грыжу еще до революции. Революция, русская революция с максимализмом демократизма Временного правительства, освободила армию от принуждения. В армии не осталось законов, не осталось даже правил. Но был состав квалифицированных людей, способных на жертву и на держание окопов. Возможна была война, короткая и мол-

ниеносная, без принуждения. Ведь на фронте враг – реальность, видно – пойдешь домой, и он пойдет сзади. Во всякой армии ¾ не сражаются; если бы появились в эту войну войска, которые сражались бы так, как работают люди на себя, они могли бы не только наступать на Германию, но идти через Германию на Францию. Когда Рогатинский полк, имевший около 400 штыков, увидал, как при нем закололи немцы его полкового командира, он освирепел и избил в бою до одного целый немецкий полк в полном составе. Некоторые предпосылки для такого одушевления были, но две вещи убили его. Первая – это преступная, трижды проклятая, подлая, безжалостная политика наших союзников. Они не пошли на нашу программу мира, и они, именно они, взорвали Россию. Это и резонировало и выделяло голос так называемых интернационалистов. Для выяснения их роли приведу параллель. Я не социалист, я фрейдовец.

Человек спит и слышит, как звонит звонок на парадной. Он знает, что нужно встать, но не хочет. И вот он придумывает сон и в него вставляет этот звонок, мотивируя его другим способом, – например, во сне он может увидать заутреню.

Россия придумала большевиков как сон, как мотивировку бегства и расхищения, большевики же не виновны в том, что они приснились.

А кто звонил?

Может быть, Всемирная Революция.

Но не все заснули или не все смогли увидеть тот же сон. К моему описанию армии необходимо внести следующую поправку. У меня было каторжное занятие: мне приходилось являться в худших частях и в худшие моменты. У нас были целые здоровые пехотные дивизии. Называю первую попавшую, ну, например, 19-ю. Поэтому большевикам пришлось резать и крошить армию, что и удалось сделать Крыленко, уничтожив аппарат командования и его суррогат – комитеты.

Почему армия наступала? Потому, что это была армия. Для армии наступать не тяжелее, психологически не тяжелее, чем стоять на месте. И наступление менее кровавое дело, чем отступление. Армия, чувствуя свое распадение, не могла не использовать шанса своей силы, своего веса, пытаясь ею кончить войну. Это все же была армия, и потому она наступала прежде, чем умереть, а не умерла, потому что наступала. Наступление могло удаться и не удалось по обстоятельствам политическим, а не военным, части уже «засыпали». Они уходили в «большевизм» так, как человек прячется от жизни в какой-нибудь психоз.

Я буду писать дальше; я опишу корниловщину, как я ее знаю, и свое персидское сидение, но то, что я написал сейчас, я считаю важным, я написал это, помня о трупах, которые я видел.

Еще одно слово. Когда будете судить русскую революцию, не забудьте бросить в чашу жертву, в чашу, слишком легкую, вес крови принявших смерть среди галицийских кукурузных полей, вес крови бедных моих товарищей.

КОРНИЛОВЩИНА

Я приехал в Петербург слабым, почти больным. Пошел в свою часть. Видно было, как она расшаталась. Там, где было 30 машин, – ходило 5.

Пошел в Таврический дворец. В саду дежурили броневики с буквами ВСРСД, написанными красной краской на зеленой броне. Меня просили сделать Петроградскому Совету доклад. Я сказал что-то. Не знаю, поняли ли меня. Я хотел сказать, что армия гибнет, и гибнет не только потому, что политика коснулась ее, но и потому, что, коснувшись, она не переделала все до конца.

Большевики были разбиты, разгромлены… Но это не значило ничего – они снова создавались.

В Питере встретил Савинкова и Филоненко. Главным их занятием было презирать Керенского.

После нашего бегства-отступления произошло заседание армейских комитетов Юго-Западного фронта, фронтового комитета и комиссаров в Каменец-Подольске. Оно проходило под гнетом сознания разгрома. И, несмотря на то что в середине заседания инициатор его Савинков ушел, оставив Филоненко одного, Корнилов был выбран главнокомандующим. Так вышло из отчаяния. Дальнейшая игра состояла – насколько я это понимаю сейчас – в том, что Филоненко, состоящий верховным комиссаром при Корнилове, должен был пугать Корниловым Временное правительство, а не Корнилова Временным правительством.

В это время и творились всякие государственные совещания, на которых Корнилов произносил речи, написанные ему Филоненко.

Характерно, что в содержании этих речей и точности описания развала железнодорожного транспорта так и чувствуется голос и знание инженера.

Всему этому способствовали разные корреспонденты, раздувая игру. Один из них сказал Филоненко:

«Я помогаю вам, но, если вас повесят, у меня выйдет из этого прекраснейшая корреспонденция».

Шло запугивание. Правое крыло Временного правительства запугивало левое. В то же время шли еще и другие интриги. Часть командного состава – часть, как я знаю, очень небольшая – имела гораздо более широкие планы, чем простое «поправение» правительства. Позднее мне пришлось увидеть маленькие записки, которыми переписывались между собою люди этого лагеря. Писал командующий одной армии непосредственно командиру кавалерийского полка из другой армии о том, что необходимо выделить надежных офицеров и отправить их в Ставку для обучения метанию бомб. Таких метальщиков, я думаю, стягивали к Могилеву отовсюду, понемногу и, думаю, неудачно. Таким образом, корниловщина представляла из себя, с одной стороны, реакцию против разложения старой армии, с другой же – суммирование двух не совпадающих, но переплетенных друг с другом и в одну сторону направленных интриг. Корнилов находился под влиянием просто черносотенцев, хотя они и не имели много своих людей в штабе. Группа Савинкова не хотела этого «мятежа», – но ей нужен был нажим, нужно было воплощение военной необходимости в лице Корнилова, но она просчиталась. Филоненко превысил полномочия, – говорю предположительно. Керенский устроил истерику, и Корнилов бросил на чашку весов свою храбрость и три сотни своих текинцев; на другой чашке лежала революционная инерция 180-миллионного народа.

Весы заколебались.

Подготовка корниловщины прошла мимо меня. Я ее не заметил. Самый горячий момент я пролежал в лазарете, а потом поехал на две недели в Кисловодск, где жил за городом и ночью смотрел вниз с крыши. И здесь чувствовалась русская революция, страшная и причудливая. В Пятигорске солдаты ходили в незашнурованных ботинках и с поясами, одетыми не вокруг талии, а через плечо, как портупея. Я понимал причины этого убого-странного костюма. Эти люди хотели, чтобы все было по-новому.

Мне не хотелось возвращаться на фронт, но нужно было возвращаться. Я оторвался от базара с виноградом, усеянного осами, от крутого переулка и мостовой из острокраевого известняка. Оторвался, вернулся в Питер, а там в Могилев-Подольский, обратно в свою армию. В этот момент все комиссары были собраны в Могилев на совещание к Корнилову. Из 8-й армии поехал Анардович, так как Ципкевич перешел с Черемисовым в 9-ю армию, а Филоненко был уже комиссарверхом.

Я приехал в Могилев. Меня узнали на вокзале и сказали: «По железнодорожному проводу пришли две телеграммы». Мне показали их: это была телеграмма Корнилова о том, что он не слагает с себя звания главнокомандующего и приказывает себе повиноваться; в конце

телеграммы было обещание прибавки жалованья железнодорожникам и телеграфистам, и одновременно пришла телеграмма Керенского, объявляющая Корнилова мятежником.

В Могилеве были только хозяйственные части штаба; операционная часть штаба находилась в Липканах. Я представил себе, что сейчас делается или, вернее, сделается в армии, какой клин вбит в нее, и мне было страшно подумать о возможности выступления штаба.

Бросился к прямому проводу.

«Получена ли вами телеграмма Корнилова, как вы думаете, не провокация ли все это?» – мне отвечают: «Сейчас все возможно!» Наскоро поговорил с Могилевским Совдепом. Предложил поставить охрану на телеграф и станцию. Поговорили с армейским комитетом и решили ехать в Липканы. Сели в два санитарных автомобиля и поехали. Нас предупреждали, что возможен наш арест, но мы этому не верили и, конечно, были правы. Во главе армейского комитета стоял в то время тов. Ерофеев, мрачный с. – р., уже не молодой; он был товарищем председателя армейского комитета.

Ехали всю ночь по широким, как поле, подольским дорогам, накатанным чуть ли не в шесть Невских шириной. К утру остановились у деревни и в руках крестьянина нашли свежеотпечатанное воззвание Корнилова. Откуда оно взялось – не знаю. Искали, старались выяснить, но так и не добрались. Оно доказало мне, что корниловская вспышка или сама была организована кем-то, или была использована кем-то организованным.

Приехали в штаб. Там только что получена телеграмма Корнилова с приказанием снять все радиотелеграфы.

Отменил приказание, поставил охрану на телеграф, разослал по всем корпусам комитетчиков с правом корпусных командиров. Напечатали приказ, что приказы по армии временно должны быть подписанными мною и комитетом.

Нужно было торопиться, чтобы не произошло какое-нибудь выступление, спровоцированное этой историей. Приказ вышел аховым, хуже «номера первого». В нашей армии вопрос об отношении к командному составу был особенно болезнен: ведь это была армия сперва Каледина, потом Корнилова.

Послал телеграмму, что право арестов принадлежит мне, и предложил никому не заниматься этим на свой риск.

У армейского комитета был свой список ненадежных офицеров, который, думаю я, был правилен, но комитеты хотели еще заменить этих людей другими, более надежными. Вот в надежность этих я не верил.

Я предпочитал не трогать армию. Во всяком случае, мы настолько удачно предупредили момент выбора для командиров между исполнениями приказаний главнокомандующего и правительства, что за Корнилова не поднялся ни один человек.

Впоследствии, когда комитет был захвачен большевиками, то они, ругая комитет, признавали его заслуги в деле ликвидации корниловщины. Моя же заслуга состоит в том, что никто не был убит и армия, глубоко потрясенная, все же не произнесла страшного панического слова об измене офицерства.

Судьба нашего офицерства глубоко трагична. Это не были дети буржуазии и помещиков, по крайней мере в своей главной массе. Офицерство почти равнялось по своему качественному и количественному составу всему тому количеству хоть немного грамотных людей, которое было в России. Все, кого можно было произвести в офицеры, были произведены. Хороши или плохи были эти люди – других не было, и следовало беречь их. Грамотный человек не в офицерском костюме был редкость, писарь – драгоценность. Иногда приходил громадный эшелон, и в нем не было ни одного грамотного человека, так что некому было прочесть список.

Исключение составляли евреи. Евреев не производили. В свое время не произвели и меня, как сына еврея и полуеврея по крови. Поэтому в армии очень большая часть грамот-

ных и более или менее развитых солдат оказалась именно евреями. Они и прошли в комитеты. Получилось такое положение: армия в своих выборных органах имеет процентов сорок евреев на самых ответственных местах и в то же время остается пропитанной самым внутренним, «заумным» антисемитизмом и устраивает погромы.

Теперь об офицерах. Эти отобранные по принципу грамотности люди, конечно, носили в себе отпечаток русского режима, они были обучены им. Но такой отпечаток носили мы все. Посмотрите, как легко переходят к старым навыкам даже представители пролетарской «власти на местах». Например, телесное наказание уцелело даже при диктатуре пролетариата. В Пермской губернии оно представляло из себя прямо повальное явление. Точно так же, когда армия побежала после тарнопольского прорыва, то для того, чтобы остановить бегущих, летучие комитеты, составленные самими солдатами неразбежавшихся частей, ловили беглецов и, взбешенные тем, что дело происходило уже на русской земле, где горят волынские села, пороли людей. Ни комитет, ни комиссар тут были ни при чем. Дезертиру предлагался или расстрел, или порка. Изобретена была какая-то чудовищная присяга, при которой он отрекался от гражданских прав и свидетельствовал, что то, что с ним делается, делается с его согласия…

У России скривлены кости. Кости были скривлены и у русского офицерства. Навыки России, походка ее мыслей были им понятны. Но революцию они приняли радостно. Война тоже измучила их. Империалистические планы не туманили в окопах и у окопов никого, даже генералов. Но армия, гибель ее застилали весь горизонт. Нужно было спасать, нужно было жертвовать, нужно было надрываться. Наилучшие жертвовали и надрывались; таких было много. Положение офицера было, конечно, тяжелее положения комитетчика: он должен был приказывать и не мог уйти. «Окопная правда» и просто «Правда» преследовали его и указывали на него как на лицо, непосредственно виновное в затягивании войны. А он должен был оставаться на месте. Лучшие оставались, именно они и пострадали больше всего после Октября. Мы сами не сумели привязать этих измученных войной людей, способных на веру в революцию, способных на жертву, как это они доказали не раз. Такова была судьба всех грамотных русских, имеющих несчастье попасть на ту черту, где кровавой пеной пенилось море – Россия.

В нашей армии никто не принял сторону главнокомандующего. Пришли представители «Дикой дивизии» от дагестанского и осетинского полков и сказали, что они за демократическую Россию и Керенского. А заодно попросили поставить их полки отдельно, так как кто-то из дагестанцев убил осетина, или наоборот, и сейчас они оказались кровниками и убивали друг друга поочередно. Мы исполнили их просьбу. Скоро они были отправлены на Кавказ отдыхать, к сожалению неразоруженными. Потом именно эти превосходно вооруженные люди – у них было по два револьвера, кроме винтовки, у каждого – грабили наши поезда и жгли казачьи станицы, добывая свои исконные земли.

Верхом приехал священник с крестом на георгиевской ленте, председатель комитета какой-то казачьей дивизии. Там было спокойно. Вскоре между мною и комитетом произошло некоторое охлаждение. Комитет хотел провести целую программу перемещений и отвода командного состава. У него были свои кандидаты. Я не был согласен с этой системой. Я думал, что заместители, из которых некоторые были мне известны, были не надежны, а только более услужливы, чем сменяемые люди.

Комитет сердился на меня, а может быть, только огорчался. Мне говорили очень ласково, что я не оправился еще от ран, что я работаю из последних силенок.

Из Могилева приехал Анардович. Мрачный, он разочаровался в Петроградском Совете, который был за войну, и в то же время приходил в ужас от смертной казни, разочаровался и в Филоненко, оказавшемся «пистолетом».

Он изменился. В непромокаемом пальто и брезентовой шапке, во френче, он уже не был тем, каким я его знал. И привычки у него были уже другие – привычки приказывать.

Анардович не принял дел, но пробыл несколько дней в ожидании своего назначения. Он был переведен в Особую армию на место убитого Линде, начальника первого отряда, пришедшего в Таврический дворец, предводителя Финляндского полка в дни первого выступления его против Милюкова, Линде, приколотого солдатами через шею к земле.

Не знаю, что стало с Анардовичем дальше. Больше я о нем ничего не слышал.

Я остался один. Дела было много. Но характер дел изменился. Наступили будни.

Со всех концов армии, а главным образом из тыловых частей, ползли ко мне толстые «дела» пальца в три толщиной, написанные чернилами или простым карандашом. Обычный тип – жалоба кого-нибудь на кого-нибудь о покраже упряжи, веревки. Дела ползли, распухали, через все комитеты и следственные комиссии взбираясь ко мне. Я мало понимал в них. Мне было тяжело. Вызовешь обвиняемого, обругаешь, а он уходит веселый. Может быть, его нужно было повесить?

Продовольствие и квартирный вопрос для армии стояли остро. А надвигалась зима. Крупные поместья – из них некоторые давали более миллиона пудов хлеба каждое – были подорваны.

Иные солдаты вели агитацию среди крестьян: «Не давайте нам хлеба, а не то мы еще пять лет будем воевать».

Собрали съезд крестьянских разнокалиберных комитетов, так как землеустроительные комитеты не были еще организованы. Хлеб достали.

Единственное воспоминание о нескольких свободных часах, во время которых я отогнал от себя заботу, по крайней мере, на длину руки, – это воспоминание о поездке на автомобиле в Яссы. Поехал я с генерал-квартирмейстером для того, чтобы выяснить положение в штабе фронта. Ехали через Батушаны, где стоял штаб 9-й армии. Здесь я в первый раз увидал румынские войска. Знал о них только по старой памяти, что они плохи, офицеры красятся, на позиции не бывают, солдаты бегут. Но тогда уже, переобученные французскими инструкторами, они производили очень хорошее впечатление. Помню их шаг. На меня, привыкшего к замедленному шагу нашей пехоты, их марш произвел впечатление полубега, сильного и уверенного.

С нашими войсками отношения у них были натянутые…

Девятой армией командовал Черемисов. Сейчас он торжествовал. В свое время Керенский, помимо Корнилова, назначил Черемисова командующим фронтом. Корнилов обиделся и предложил Черемисову по прямому проводу отказаться от незаконно принятого поста. Черемисов ответил, что «будет защищать свой пост с бомбой в руках». В результате оба отказались от командования. Их примирил Филоненко, и Черемисов занял место командующего 9-й армией. Армейский комитет был в него в тот момент положительно влюблен.

С Черемисовым переехал в 9-ю армию Ципкевич в качестве комиссара. Но властный характер Ципкевича, пережившего глубокое разочарование после Калуша, помешал ему поладить с аркомом. Он подал в отставку. Не знаю, куда поехал потом. Хотел ехать за границу, в Америку. Он говорил, что войну могут кончить только американцы как специалисты по налаживанию крупных предприятий.

Уже была ночь. Автомобиль втягивал в белый сноп лучей из прозрачных пылинок, в двойной белый сноп фонарей дорогу, покорно бегущую под колеса. Звеня чисто и тихо, сосал воздух карбюратор, машина стрекотала, когда одинокие дубы замахивались над дорогой, отраженный от них шум мотора острел – будто кто-то свистящими ударами хлыста стриг листья. Мы летели вперед, втягиваемые далью… Летели, сбившись с дороги, неслись степью, ровной, широкой степью…

Зайцы, внезапно вырванные из тьмы, остолбенело застывали, поднявшись бледной тенью. Но встал день. Встало утро сперва и загребло меня скучной лапой снова в дела.

Комиссара Румынского фронта не было, он тоже застрял в Ставке. Кстати, на Румынском фронте было два комиссара, один Временного правительства, другой Совета солдатских и рабочих депутатов. Это было материализированное двоевластие. Правда, эти люди старались работать дружно. Только ни одного из них не было на месте. Заведовал всеми делами какой-то растерянный офицер для поручения. От него я узнал, что Щербачев – командующий фронтом – сперва хотел присоединиться к Корнилову и даже дал соответствующую телеграмму, но его удержали и переубедили. Не знаю, насколько это было правильно. Положение с румынами было тоже острое. Король прислал Черемисову орден Михаила 1-й степени, величиной в ладонь, но кроме этого, он присылал в штаб фронта каждый день кипу жалоб толщиной в четверть аршина.

Наши войска хотели произвести в Румынии революцию, думая сделать ее самым простым способом, то есть «стащить короля сверху вниз». Но для революции в Румынии у нас не хватало самого главного: авторитета среди населения. Военного авторитета у нас тоже не было: румыны помнили наши прежние насмешки над ними и повадку почти победителей и не прощали нам сегодняшнего бессилия, а для авторитета революционного мы слишком плохо обращались с населением, – хотя не так плохо, как во многих других местах, в частности, не так, как с евреями или персами.

Поехал обратно.

Вернулся в Липканы. Анардович уехал. В качестве комиссара приехал бывший председатель армейского комитета той же армии тов. Вьенцегольский, поляк, называвший себя социалистом-индивидуалистом. Несмотря на такую причудливую фракцию, это был очень неглупый человек, умевший подчинять себе людей.

На 8-ю армию у него были свои взгляды. В частности, относительно целой кадрили перемещений. Может быть, здесь был и личный, скажем, бессознательно личный элемент. Мы встретились дружелюбно, так как я не сомневался, что я уйду. Я и ушел.

Для отчета о посещении Петербурга был собран армейский комитет. Вьенцегольский рассказывал, что на мир союзники не согласны, воевать мы не можем и мириться тоже не можем, остается «стучаться у дверей союзников и умолять».

Кстати, выбрали представителей на Демократическое заседание. Отправили всех оборонцев, хотя я и предлагал отправить пропорционально и большевиков. Большевики в армейском комитете были. Это были люди с психологией не классовой борьбы, а политического саботажа. Из практических предложений у них было одно: обратиться с воззванием к народам всего мира.

Я говорил что-то, сейчас не помню что; только помню, что, смертельно уставши, ушел с заседания, лег на чужую кровать и спал, долго, ожесточенно долго, как-то сознательно вцепившись в сон, чувствуя, что у кровати стоит отчаяние и что оно заговорит со мною, как только я открою глаза.

Я был выбран делегатом для посылки на совещание в числе других, послали еще товарища председателя комитета, Ерофеева, человека крепкого, но не знающего, что делать, одного учителя-мордвина, одного меньшевика-офицера и еще кого-то. Я выехал вместе с ними, решив искать себе нового ярма и обратно не возвращаться.

ПЕРСИЯ

Начинаю писать опять. Итак, я остановился на отчаянии. Иду дальше. Приехал в Петербург, началось совещание.

Победа большевиков выясняется. Правда, они на совещании в меньшинстве, но это благодаря тому, что созваны разные представители ученых и других обществ. Армейские комитеты не большевистские, но я знаю, как мало связаны эти комитеты с массой. А средний солдат устал и не видит цели войны; ему нужна перемена правительства, как пешеходу переобуться.

Усталый Чхеидзе, с видом старика купца, смотрящего на погром своего дела и пытающегося смеяться, – усталый Чхеидзе ведет заседание. Люди говорят, говорят. Представитель латгальского народа требует прав самоопределения, а мы не знаем, где живет этот народ. Оказывается, в Петербургской губернии.

Ярусы театра обвисают под тяжестью людей.

Приехал Керенский – волшебник, оставленный духами. Он бросает мятые, сухие слова, стараясь воспламениться и воспламенить. Наконец вспыхивает слабая истерика в партере. Кричат, кричат. Губы Керенского сухи и потрескались.

Потом было знаменитое собрание о коалиции.

Коалиция или не нужно коалиции? Какой-то хитрый человек предложил коалицию без кадетов. Он говорил длинную речь, от которой серело в воздухе.

Голосовали. Список воздержавшихся от голосования открыл хитрый, старый Чернов.

Я голосовал против коалиции. Я считал, что коалиционное правительство лопнет. Конечно, министры-капиталисты помогали выводить на улицу так неохотно идущие из казарм большевистские полки.

Но, конечно, не в этом дело.

Был на заседании дивизионного комитета своей части. На заседание приехал представитель Военного министерства и Чернов. Чернов говорил свои речи. С такими речами хорошо бабам пряники продавать или заговаривать женщину, раздевая ее.

Комиссаром дивизиона был изумительно тупой и панический человек М. (из фельдфебелей), он все добивался производства в прапорщики. И добился… перед Октябрем. Он тоже говорил что-то, иногда останавливаясь и обалдело соображая: что же он говорит?

Заседание происходило в нашей школе шоферов, в зале которой мы устроили для учеников амфитеатр. На верхних скамьях сидели, положивши головы на столы, солдаты одной команды. Их было шестеро, из них трое были пьяны так, что не могли поднять голову.

А Чернов пел, пел с присвистами и перекатами.

В конце заседания был скандал. Пьяных выводили. Я пошел в Военное министерство, в Совет и сказал, что я хочу ехать куда угодно, но только подальше. Мне казалось, что я нахожусь в комнате, в которой лампы коптят уже 48 часов.

В это время в Военном министерстве буксовал Верховский. Вы знаете, как буксует автомобиль? Происходит это так. Попадает автомобиль колесом в грязь или на лед и не может тронуться с места. Мотор дает полные обороты, машина ревет, цепи, намотанные на колеса, гремят и выбрасывают комья грязи, а автомобиль – ни с места.

Так буксовал генерал Верховский. Это был человек решительный, инициативный, с нервами, с напором.

Его идея сократить армию на 40 процентов была смелой мыслью. Но провести ее уже было нельзя. Ткани страны переродились.

Ах, кстати! Сколько раз я получал от Керенского телеграмму: «Немедленно ввести в армии железную дисциплину и об исполнении телеграфировать!»

В Военном министерстве я еще прежде встретил комиссара, отправляющегося в Персию; это был бывший председатель Киевского Совета, меньшевик Таск. О нем я буду писать много. В Персию меня отпустили, хотя и удерживали. Но тоска меня вела на окраины, как луна лунатика на крышу. Сел в поезд, поехал в Персию. Тогда это было очень просто. До

Тифлиса 5 суток без пересадки и от Тифлиса до Тавриза двое суток, тоже без пересадки. Поехал. В районе Минеральных Вод чеченцы уже устраивали крушения. Ничего, проехали.

Под Баку увидал Каспийское море, холодно-зеленое, не похожее ни на одно море. И верблюдов, идущих мягкой походкой.

Со мной ехали офицеры на Кавказский фронт.

Один из них, раненный в живот разрывной пулей и полукастрированный ею, все время пел:

Цыпленки варены,
Цыпленки жарены,
Цып-лен-ки тоже
Хочуть жить.
Зачем ты вареный,
Зачем ты жареный, —

и так далее… Ему было лет восемнадцать. Он был совершенно не интеллигент и тосковал, как умел. Вот и все.

Да, кстати о кастрации. Когда я в Петербурге заходил в госпиталь (с меня снимали рентгеновский снимок, чтобы выяснить, каким образом рана не оказалась смертельной), там я увидал одного офицера. Он тоже был кастрирован ранением. К нему ходила невеста. Она ничего не знала. Он не решился сказать ей, когда она пришла в первый раз, а потом все становилось трудней и трудней. И кругом никто не решался сказать. Раненый просил доктора, чтобы сказал он, а доктор просил сестру, а сестра не говорила.

Да ведь и не в том дело было, чтобы сказать. Случай был слишком нелепо тяжел.

Приехал в Тифлис. Хороший город, «под Москву». На улицах стрельба, грузинские войска в восторге, палят в воздух, не могут не палить. Национальный характер. Одну ночь провел среди грузинских футуристов. Милые дети, тоскующие по Москве хуже «чеховских сестер».

Город спокоен, не разрушен, правда, хлеб кукурузный, но трамваи ходят, и люди еще не одичали.

Поехал в Тавриз. Поезд лез все выше.

Вцепились в горы деревья с темно-золотыми листьями. Внизу не то провожает нас, не то бежит навстречу речка. Поезд лезет наверх, извиваясь от усилий.

В Александрополе прицепили к другому поезду. Поехали до Джульфы. Приезжаем – одинокая станция. Бежит под горой мутный Аракс. На другой стороне – домики из глины с плоскими кровлями, мне они кажутся домиками без крыш. Ночь.

Пишу 22 июля 1919 года. Когда я 19-го этого месяца приехал из Москвы и привез одному близкому мне человеку хлеб (10 фунтов), то этот человек заплакал – хлеб был непривычен.

Так вот – домики были без крыш, люди немножко без голов, но это было для них издавна привычно.

Наш вагон опять отцепили. Потом составили новый поезд, всего из 4–5 вагонов с двумя паровозами, один спереди, другой сзади.

Перевезли через мост, поверхностно осмотрели на таможне (персидские таможенцы, которые нас боялись), и поезд, надрываясь и тужась, начал снова карабкаться ввысь.

Уже кругом не было рыже-золотого леса, а одни только красные горы и красные уступы, оттененные снегом, снег на вершинах совсем близко. Поезд, надрываясь, временами почти останавливался – казалось, что мы сейчас покатимся вниз.

Кругом пустынно. Только арык, проведенный на чьи-то поля с самого верха гор, стремительно бежал нам навстречу, стараясь выкатиться из дна и берегов.

Редкими оазисами внизу виднелись кое-где сады. Станции были пустынны. Влезли. Чувствуешь, что высоко, но ничего – плоско.

На станции Сафьян, в пункте Земского союза, пообедали; отсюда поезд шел в Тавриз, а мне было нужно ехать в Урмию, где был штаб армии. Или, вернее, штаб 7-го Отдельного Кавказского корпуса, так звали персидскую армию.

Пересел и очень скоро приехал в Шерифхане.

Здесь я увидел нечто невиданное. Пустыня-солончак. Лежит громадное, явно мертвое, гладкое озеро-море. В воду тянутся длинные молы на сваях. Несколько больших черных барж грузятся чем-то.

Но самое странное: на берегу нет жилых зданий, не видно людей.

Одна пустыня. И пустынные склады. Лежат товары. Лежат мотки колючей проволоки. Видно несколько амбаров. Десяток вагонов стоит на рельсах. Но порт – мертв. Это главный порт Урмийского озера, место с громадным, говорят, будущим. Противоположного берега не видно. А левее виден остров, зовут его Шахский, там была раньше шахская охота.

Переночевал в фанерном домике Земского союза. Вышел утром. То же море и те же внизу белые от соли сваи. Безлюдная тишина. Склады охраняются пленными турками. Так – вернее. Ездят через озеро двумя путями: или на барже, которая буксируется катером, или на катере просто, если дело спешно. Всего пароходиков на озере штук 7–10, из них один «Адмирал», довольно большой, вроде тех пароходов, что ходят между Кронштадтом и Петербургом, но с двигателем внутреннего сгорания. Пароходы привезены из Каспийского моря и здесь собраны.

Поехал в Урмию на маленьком катере. Ехать верст 60–70.

Над озером летают фламинго, розовеющие при взлете. У них розовые подкрылья. Машина стучит и режет еще не мятые волны.

В соленое озеро, всегда пустынное, пустынное при халдеях, при ассирийцах, всегда окрайное, затащили флот, воткнули сваи, распугали птиц – и все для войны.

Едущий со мной корпусный интендант рассказывает, как трудно кормить армию. «До озера – ничего, железная дорога, потом перегрузка на баржи, барки выручают, можно везти на некоторых сразу до 30 000 пудов до пристани, их на озере штук пять; потом перегрузка на конный или воловый транспорт, потом в горах перегрузка на верблюдов, мулов или ишаков – и так каждый фунт».

И вот в Персию оказались согнаны чуть ли не все верблюды, лошади, ослы, мулы и быки Кавказа и Туркестана. Нам их увезти оттуда не удалось.

Нас в Северной Персии тысяч до шестидесяти, на фронте тысяч пять, а остальные составляли команды транспорта и охраны путей; ведь нужно охранять четыреста верст пути от фронта до Шерифхане, и в результате армия голодает.

Катер подошел к пристани… Скалы уже не красные, а серые… Пустынно, виден только один маленький глиняный домик. Это Геленжик.

Вышли на берег. Глухо, как у глухого забора.

Бродят какие-то дети, почти голые, в лохмотьях, обращенных уже в бесформенные пряди.

Не стал ждать автомобиля, попросил лошадей, подобрал компанию, и загремели по камням в Урмию.

Дорога вырвалась из солончака и пошла полями, обнесенными глиняными стенами. Как фабричные трубы, торчат в поле пирамидальные тополя с ветвями, будто припеленутыми к стволу.

Ехали довольно долго вдоль глухой глиняной степи, мимо бедных кладбищ с памятниками из осколков камня, поставленных дыбом. Потом повернули в кирпичные ворота и въехали в город Урмию. За городской стеной виднелись красные горы, небо было высоко, на горах лежал сверкающий снег. Подъехали к серой стене, через двери и узкий коридорчик вошли во дворик. Громадные виноградные лозы со стволами изогнутыми, крепкими и толстыми подымались по стенам, образуя зеленую сетку над всем двором. В глубине двора стоял одноэтажный дом с громадными окнами, переплет которых оклеен коленкором. Я вошел через темные сени в комнату.

Белые стены. Потолок сделан из бревен, положенных на пол-аршина одно от другого. Между бревнами перекинуты тонкие дощечки, к дощечкам прикреплены плетеные маты.

Комната залита рассеянным светом, проникшим через коленкор.

Здесь встретил Таска и еще одного своего старого знакомого, некоего Л. Л. был в панике, он приехал на Восток и ждал Востока пестрого, как павлиний хвост, а увидел Восток глиняный, соломенный и войну совершенно обнаженную. Нигде не была так ясна подкладка войны, ее грабительская сущность, как в персидских щелях. Неприятеля не было. Где-то были турки, но они отделены от нас горами с непроходимыми перевалами, где верблюд проваливался в снегу по ноздри. Конечно, турки только с невероятными усилиями могли проникнуть к нам, как они и сделали в 1914 году.

Но дело было не в них. Дело было в Персии, занятой русскими войсками уже 10 лет.

Мы пришли в чужую страну, заняли ее, прибавили к ее мраку и насилию свое насилие, смеялись над ее законами, стесняли ее торговлю, не давали ей открывать фабрик, поддерживали шаха. И для этого нами держались войска, держались даже после революции. Это был империализм, и главное – это был русский империализм, то есть империализм глупый. Мы провели в Персию железную дорогу, создали в Урмийском озере флот, провели колоссальное количество дорог по долинам, проложили дороги через перевалы, в которых со времен Адама не было никаких дорог, кроме ишачьих троп, где курды только кострами выжигали самые тяжелые места и выковыривали потом раскрошенный камень чуть ли не ногтями.

Денег в Персию было убито много. И все это было бесполезно, все это был крепостной балет. Мы жали и душили, но не ели труп.

Февральская революция не улучшила положения в Персии. Прежде всего мы именно здесь были перепутаны с Англией всякими договорами: ведь Персия была одна из частей предполагаемой добычи, а, кроме того, революция, отведя в общем от Персии угрозу поглощения нами, заменила одного тупого, но организованного насильника-государства мелкими вспышками русской насильнической воли. Люди государства-насильника были сами насильниками. Если бы в Персии произошел потоп и мне бы пришлось стать Ноем, строить ковчег и в нем спасать чистых и честных, просто честных и активно честных людей, я не стал бы строить большой посудины.

Пошли мы с Л. смотреть город. Весь город вымощен. История этой мостовой такая.

Некий генерал приказал персам вымостить улицу. За неисполнение приказа домохозяина прибивали к косяку двери ножом за ухо.

Так вот, город вымощен. Кругом идут одни и те же глиняные, в два человеческих роста вышиной стены. В стенах низкие двери, ворот нигде нет. Несколько мечетей с невысокими минаретами и куполами в изразцах. На одном минарете свил гнездо аист. Священную птицу не трогают. Вдоль всех улиц быстро бежит вода по каналам-арыкам. На перекрестках кладбища – пыльные, бедные и маленькие. Памятники – просто куски камня, поставленные дыбом. Прохожих мало. Редко проходят закрытые черным покрывалом персиянки. Из-под покрывала видны концы грубых солдатских кальсон. Ходят персы. Попадаются ассирийцы. Маленькие ослики с грузом кирпича на спинах трусят на улице, погонщик кричит: «Хабарда!» – это везут материал для починки базара после погрома. Когда хотят заставить

ослика немного свернуть, то соскакивают с него и упираются ему в бок. Идем к базару. Прохожих все больше и больше. Глиняные стены сменяются лавками, торгующими то пестро раскрашенными колыбелями, то вяленым, очень сладким виноградом и миндалем. Вот и вход в базар. Базар состоит из многих туннелей с острым сводом, в котором кое-где пробиты отверстия. По бокам лавки почти пустые. В красном мануфактурном ряду почти все двери, закрывающие магазины, из свежего, не успевшего потемнеть дерева. Здесь был главный погром. Хозяева посудных лавок сидят, сверлят черепки, оставшиеся после погрома, и скрепляют их между собой при помощи цемента и маленьких железных скобочек. Товара мало, нет привоза, да и боятся показывать, что есть. Тихо стучат копыта подвозящих кирпич осликов. Один ряд занят сапожниками. Они тут же шили сапоги. На окраинах базара, в больших и глубоких лавках вили из шерсти веревки и валяли круглым камнем на болванках шапки, расширяющиеся кверху, как митры. В другом проулке выбивали ударами молотка на грубой красной и синей ткани маленькой дубовой доской величиной в две ладони узор черной краской. Целый улей, но везде лежит еще не убранный глиняный мусор.

Посмотрели, как жарят над углями, раздуваемыми веером из плетенки, как пекут лаваш – тонкий, точно картон, хлеб, который делают, намазывая тесто на внутренние стенки печи, – и пошли домой.

В эту же ночь Л. уехал в Питер. Уехал на фронт и Таск. Я остался один. Наши войска были единственной силой в Персии, и я должен был ими руководить.

А сейчас пишу это 30 июля 1919 года, на карауле, с винтовкой, поставленной между ног. Она не мешает мне. Я думаю, что я сейчас так же бессилен, как и тогда, но на мне не тяготеет ответственность. Теперь расскажу, что это была за страна, в которую я попал.

Азербайджан и часть Курдистана – вот места, занятые нашими войсками. Население смешанное. Персы, армяне, татары, курды, айсоры-несториане, евреи – вот состав этого населения. Все эти племена жили испокон веку друг с другом довольно плохо. Потом пришли русские, стали жить по-новому. Еще хуже.

На другой день после приезда пошел знакомиться с армейским комитетом. Произвел он на меня впечатление очень тяжелое. Совершенно серые люди, которые сами не знают, что делать. Председателем был сперва товарищ Степаньянц – армянин; председателем он был плохим и дела комитета запутал чрезвычайно.

Вместо него был избран Геоббекиан, впоследствии товарищ председателя краевого Совета. Этот был хуже. С ним нельзя было знать, что будет через несколько минут; в одной и той же речи он кидался от кадетов до большевиков.

Забавна была его манера посреди речи останавливать оратора и говорить: «Я вам разъясню, товарищ», – а потом гнал речь на час. Так и говорил один. А дело шло к Учредительному собранию. Нужно было в невероятно разбросанной армии с маленькими командами провести выборы. Председателем выборной комиссии избрали одного солдата-толстовца, который внезапно оказался дельным человеком.

А остальной комитет – да простит он меня за плохую о нем память – занялся устройством любительских спектаклей.

Ведь это было понятно. Так тоскливо жить: без газет, без женщин, при замкнутости персидского населения; ну вот и образовалось что-то вроде дачной труппы с невероятно дачным репертуаром.

Играли в большом глиняном сарае, темном и обставленном бедно, беднее, чем театр каторжников в «Мертвом доме». Репертуар был водевильный. Солдат набиралось туча. По мысли устроителей, театр должен был быть передвижным.

А в тихом городе с глиняными стенами, с дверями, всегда закрытыми, было неладно.

Всю ночь гремели выстрелы. Стреляли в воздух. Были пьяные; вино находили у ассирийцев и у евреев, а может быть, и у мусульман.

В пограничном городе Ушнуэ произошел погром, все было разбито и растащено. Выехал Таск; ему удалось найти роту, случайно не принявшую участия в погроме, и при ее помощи отобрать награбленное, а полк в наказание оставить на позиции без смены.

Боев нигде не было.

Готовили выборы. Переизбрали армейские комитеты. Армия слабела и распадалась.

Персия привычно страдала.

Власть шаха ничтожна в Персии. Он раздает, правда, свои земли, и вся земля в стране – его земля, но это только слова. Скорее ханы соглашаются признавать себя его вассалами.

Я не берусь объяснить этот странный, давно себя переживший, но не разрушенный строй. Кажется, ханы отдают деревни в аренды. Или сильный и вооруженный человек, живущий в деревне, организованно грабит ее и уделяет часть ханам.

Крестьяне – крепостные в том смысле, что они в руках господина, пока живут на его земле. Им предоставляется проводить воду с высоких гор, чистить арыки, стоя по колени в быстро текущей воде, жариться на солнце. Эмиграция развита очень сильно: идут в Баку, в Туркестан, идут куда глаза глядят – всюду, где кормят.

В городах живет купечество, богатое, по-своему образованное; детей своих они учат в школах французской миссии. Они тоже имеют свои деревни. Появление буржуазии не разрушило крепостного права.

Кажется, однако, у ханов есть уже наследники. Персидскую революцию производили купцы и армяне. Это была революция меньшинства. Отряды в тридцать – сорок человек свободно проходили всю страну. Теперешний губернатор Урмии сам был в таком отряде вместе с здешними миллионерами братьями Манусурьянцами.

У персов была конституция, о которой они говорили, что она либеральнее швейцарской. Губернатор – революционер, то есть участник персидской революции. Он тоже имеет свои деревни и крепостных. Правда, в Персии были персидские казаки, части на службе шаха, рекрутируемые из персов под командой наших инструкторов.

Персидские казаки, вернее, люди, которые пользовались ими как своим оружием, встречали среди населения почти единодушную ненависть. Но они зависели не от губернатора, а прежде от русского правительства.

Сейчас же, кажется, ни от кого не зависели.

При нашем отходе они попытались на нас напасть.

Конечно, губернатора никто не слушался. Он просил у нас 10 кубанских казаков, «чтобы его слушались». Не слушались его ханы-курды, так как они были сильнее, каждый имел по нескольку десятков всадников, а один из них, Синко, имел большой отряд. Это одна из ошибок русской дипломатии. Великий князь Николай Николаевич в ту эпоху, когда строил себе дворец на Ленкоранской долине и замышлял создать в Армении казачество, решил привлечь на русскую сторону одного из курдских вождей. Выбор пал на Синко, хана племени, сидящего в районе Кущинского перевала, связывающего Хой-Дильманский район с Урмийским. Синко были даны винтовки и даже пулеметы, что и сделало его постоянной нашей угрозой. Он принимал участие в резне христиан и в конце концов смеялся над нами, говоря, что «мои сто сорок всадников разгонят ваш полк».

Не слушались армяне, хотя они были лояльны, но лояльны потому, что они представляли собою в Персии аристократию. У них была крепкая организация «Дашнакцутюн». Не знаю, был ли «Дашнакцутюн» где-нибудь на Кавказе социалистической партией типа наших эсеров, но в Персии это было могучее общество самообороны.

Айсоры, христиане-несториане, тоже представляли нечто вроде государства. Они считали себя прямыми потомками древних ассирийцев и говорили на арамейском языке. Одна часть их была старыми насельниками окрестностей Урмии. Когда-то они занимали весь край. Постепенно курды вырезали их. Сейчас число их пополнилось горными аширетными

ассирийцами, людьми дикими, спокон веков живущими в самом центре Курдистана, в районе Джеламерка в Ванском вилайете; родственные им яковиты жили вокруг Мосула.

В горах жили они родами под предводительством меликов – князей, каждой деревней управлял священник, все же мелики были подчинены патриарху Востока и Индии, Мар-Шимуну, черноглазому румяному сирийцу с седой головой. Сан патриарха – наследственный, и переходит он от дяди к племяннику. Предание выводит род патриархов от Симона, брата Господня.

Несториане знали славное прошлое. Когда православные оттеснили в VII веке их из Сирии, они, перейдя через горы, пришли в Персию, и были здесь приняты радушно, как враги Византии. Здесь они развили литературную деятельность и распространили свое влияние на Сибирь, Индию и особенно на Туркестан. Бывали и в Китае, где осталось и сейчас несколько совершенно ассимилировавшихся несторианских семей.

Тимур оттеснил их в горы Курдистана, там они жили теперь, дичая. Они черноволосы, семитообразны и румяны.

Миссионеры несториан заходили в Индию, и там появились целые христианские колонии. На севере они прошли Сибирь, на востоке достигли Японии. Шрифт, изобретенный ими, лег в основу монгольского алфавита, а кажется, и корейского. Может быть, они были народом Иоанна Индийского, помощи которого ждали крестоносцы. Сейчас это было маленькое племя, загнанное в те горы, которые даже на подробнейших немецких картах показаны просто пятнами. Турки глодали племя, а оно все держалось. Главным селением их был Орамар. Но Орамар был занят курдами еще в 1914 году. Когда же русские войска, создав из ассирийцев дружины, ушли, бросив их на произвол судьбы, участь племени стала ужасной. Доктор Шед, глава американской миссии, говорил мне, что свыше 40 000 было вырезано, сложено кострами и сожжено. Оставшиеся сели в бест американской миссии. Но персы подсыпали в хлеб железных опилок, и мор прошел среди спасшихся. В 1916 году разведывательный отряд русских казаков с ассирийской дружиной Ага-Петроса Элова ходили на Орамар, то есть в расположение неприятеля более чем на триста верст. Дорога была трудна. Мулы не могли ввезти горных орудий. Их внесли айсоры на руках. Кавалерия ловчилась как могла, айсоры шли гребнем горы, потому что смысл горной войны в том, кто займет командующую высоту. Предлагаю сравнить с описанием способа ведения войны у кардухов (Ксенофонт, кн. 4).

Орамар был обойден, взят и ограблен. Лошадей кормили виноградом, ослов пшеном. Мар-Шимун и епископы – они носят чалмы, накрученные на красные фески, – ходили в атаку в штыки и дорезывали пленных. Наш урмийский консул Никитин участвовал в экспедиции и, между прочим, рассказывал мне, что в местности, некогда занятой ассирийцами, а ныне уже курдской, он нашел маленький каменный храм без окон и украшений. Его звали храм Марии-Мем. Этот храм не был разрушен курдами. Мало того, они оставили даже в живых родню христиан – священников храма. Объяснилось это тем, что, по преданию, под этим храмом был заключен Великий Змий, который вышел бы, если бы храм разрушили. Змий один раз в жизни каждого хранителя храма показывался ему, но теперешние хранители храма Змия еще не видели.

Жили изгнанные ассирийцы, голодали, грабили, возбуждая жгучую ненависть персов. Одетые в маленькие войлочные шапки, в штаны, широкие, как шаровары, сшитые из маленьких кусочков ситца и подвязанные выше щиколотки веревками, в цветном жилете, ходили они по базарам. Религия, которая связывала айсоров, уже давно ослабела и сохранилась только в форме противопоставления себя как христиан мусульманам.

В Урмии работали религиозные миссии: русская, немецкая, французская, американская – все они охотились за душами бедных несториан и, конечно, преследовали политические цели. Миссии вмешивались в гражданские дела и тяжбы, тоже представляя собою

суррогат государства. Благодаря этому создалось такое положение, что миссия оказывала покровительство своим новым одноверцам. Из-за этого некоторые меняли веру по два-три раза. В одной семье бывали представлены чуть ли не все христианские вероисповедания.

Странно выглядела французская миссия в Урмии. Большой монастырь с колоннами, с людьми в черных сутанах и круглых шапках с помпонами. Это было самое крупное сооружение в городе.

Русская миссия, построенная, между прочим, на незаконно отнятой от частных владельцев земле, выглядела большим новым монастырем с кирпичными красными стенами. Во время моего пребывания миссия уже заглохла, епископ уехал, влияние пало.

Все эти организации работали среди урмийских айсоров, горные аширетные айсоры держались крепче.

В районе Урмии айсоры жили давно; они появились здесь не позднее VII века. Но в наше время отношение персов с ними резко обострилось. Главной причиной было участие айсоров в войне. Ассирийцы имели партизанскую дружину, которая дралась на нашей стороне. С нами их связывало христианство, а также и тяготение к нашим союзникам. Ассирийцы по-своему народ энергичный, многие из них ездили в Америку, где даже издавался ассирийский журнал. Я помню, мне показали айсора, который шел по улице в своем национальном костюме, в лоскутных штанах и башмаках из невыделанной шкуры, и сказали, что он доктор философии американского университета.

Вот эти фантастические люди и имели свою партизанскую дружину, дружину страшную по тысячелетней ненависти к курдам и персам. Предводителем дружины партизан был некий Ага-Петрос Элов, черноволосый человек с низким лбом, курчавыми волосами и широкой выпуклой грудью. Штаны из диагонали и форменная тужурка с красным кантом делали его похожим на телеграфиста. Элов имел шумное прошлое. Консул показал мне печатную характеристику его в секретном официальном издании министерства иностранных дел. Не помню ее наизусть и привожу по памяти довольно точно:

«Ага-Петрос Элов, тот самый, который был в таком-то году в Урмии турецким консулом, а в таком-то году управлял такой-то местностью в Турции и разорил население неслыханными поборами, в бытность в Америке сидел в Филадельфии на каторге. В настоящее время держит сторону России и состоит нашим нештатным драгоманом. Пользоваться его услугами с крайней осторожностью».

Ага-Петрос со своей дружиной оказал нам большие услуги при походе на Орамар. Случайно мне пришлось спасти ему жизнь через несколько дней после моего приезда в Урмию. Пьяные солдаты 3-го пограничного полка арестовали его на улице и грозили приколоть. Я отнял его от них, сказав, что арестовываю его, и привез на свою квартиру. Он хорошо говорил по-французски и английски и плохо по-русски.

Дружину его мы не кормили и ничего ей не давали, кроме винтовок и патронов. Да и винтовки отпускались неважные, трехзарядные французские «лебедь» без дульных накладок. Такой винтовкой можно сжечь руку, если взять ее неосторожно после стрельбы. Эта дружина испортила и без того, по существу, плохие отношения между персами и айсорами. Но, во всяком случае, Ага-Петрос был смелым и по-своему честным человеком. С ним случались такие вещи. Несколько лет тому назад он до вступления на русскую службу, будучи вызван персидским губернатором по какому-то обвинению, арестовал самого губернатора и заставил у ханов признать губернатором его – Агу. Шах вызвал Петроса к себе, но он не поехал, благоразумно полагая, что дома лучше, и сам вызвал шаха. Наконец, за уход с поста шах прислал ему звезду. Таков был этот нештатный драгоман. Да, я забыл еще сказать: он не был меликом – князем-старшиной, но на службе его состоял один мелик по имени Хаму. Партия Мар-Шимуна косилась на Петроса, считая его выскочкой.

Третьей, а по численности второй группой населения были курды. Они жили в мирное время на границе между Турцией и Персией. Вернее, Турция и Персия граничили с землями, в которых они жили. Часть их была в турецком подданстве, часть в персидском. Всего курдов около двух миллионов. В восьмидесятых годах они пытались создать свое государство. Почин шел от персидских курдов. Но культурный уровень курдов не дает им возможности создать крупную организацию. Живут они до сих пор кланами. Скотоводство, широко развитое у них, а отчасти и земледелие позволили им жить в мирное время богато. Наши солдаты говорили, что «курды богаче казаков».

Но сейчас они были совершенно разорены, страшно пострадав от войны. Прежде всего оттого, что война закрыла им пути кочевья.

Раньше они зимою гнали скот в Месопотамию, а летом переходили в горы от жары.

Война закрыла пути. Часть стад осталась в долинах и гибла от жары, часть – пропала в горах.

Кроме того, русские пришли в Курдистан с ненавистью к курдам, унаследованной от армян, ненавистью, у армян понятной.

Формула «курд – враг» лишала мирных курдов, и даже детей, покровительства законов войны.

Генерал, взявший Соложбулак (забыл его имя), гордо называл себя: «такой-то истребитель курдов».

При всей своей храбрости курды не могли оказывать сопротивления нам. Они все еще не живут племенами даже, а кланами, разобщенными между собой.

После Февральской революции среди курдов было большое движение в сторону соглашения между свободными курдами и свободной Россией. Происходили большие сходбища, и были посланы к нам люди для переговоров.

Посланные вернулись, говоря: «Русские свободны, но свободу они понимают по-русски».

Я знаю, как жестоки курды, но Восток вообще жесток. Лет 30 тому назад около Джеламерка айсоры сняли кожу с нескольких англичан, раздраживших их неосторожным списыванием надписей. А курдов я видел не в то время, когда они резали персов и засовывали отрубленные половые части в рот убитого врага, а в то время, когда их рассеянно – от скуки – убивали тоскующие русские. Курды умирали с голоду и ели уголь и глину вокруг Соложбулака, когда-то цветущего.

Так же бедствовали курды в долинах Мергевара и Тевгевара.

Впрочем, совсем не так, – из этой долины, в которой когда-то жило богатое племя, имевшее там 200 000 баранов и тысяч 40 крупного скота, жители были изгнаны. Здесь стояли забайкальские казаки. Назвали их в армейском комитете «желтой опасностью» не только за желтые лампасы. Широколицые, крепко-смуглые, на маленьких лошаденках, способных есть буквально корни, забайкальцы были храбры и жестоки, как гунны.

Впрочем, я думаю, не зная точно гуннов, что жестокость забайкальцев была более задумчивая.

Один перс говорил мне: «Когда они рубят, они, по всей вероятности, не думают, что рубят, а считают, что они хлещут».

В непоколебимости забайкальцев мне пришлось убедиться.

Я приезжал в Гердык, наш пост в Мергеваре.

Широкая долина. На пригорке – разрушенное курдское укрепление. Рядом пни, много пней. С горы падает водопад высоко-высоко, разбиваясь в пыль.

С другой стороны долины из горы бьет струя воды, толщиной в обхват. Безлюдье и тишина. Ночью лают шакалы. Лисицы, серые лисицы ловят с берега форелей в реке.

Я приехал просить забайкальцев, чтобы не мешали нам возвращать курдов в их родные места, где они могли бы питаться когда-то посеянным и еще не вполне осыпавшимся просом.

Я говорил им о детях, бродящих вокруг лагерей, о том, что мы все равно уходим. И не добился ничего.

В географическом единстве, называемом Россией, живут разные люди.

Кстати, вся эта долина принадлежала одному армянину Манусурьянцу, кажется; и хан ее ему принадлежал.

Так пропадали курды в Персии. Сами персы были к ним враждебны из-за религиозных разногласий. Персы были шииты, последователи Гусейна, курды были сунниты; друг к другу эти мусульманские секты относятся, как католики относились к протестантам (в эпоху гугенотов).

Немногим лучше было положение курдов в Турции. Турки пользовались ими как боевым материалом, причем держали их как нерегулярные части, не на пайке, а на подножном корму.

Все эти племена – персы, курды, айсоры, армяне – ненавидели друг друга. Временами у всех из чувства самосохранения появлялось желание примириться.

При мне был устроен даже праздник «примирения народов». Собрались знатнейшие представители каждой национальной группы и поклялись в прекращении междоусобной войны. Было даже трогательно, все целовались, а оружие было оставлено при входе.

Не знаю, откуда оно взялось, предполагалось, что мы разоружили население.

В честь этого события было решено учредить ношение особой зелено-белой розетки.

Все это было проделано очень серьезно, лукаво и наивно. Они не вводили в свои отношения еще иронии.

Меня на празднике поразили муллы с красными бородами своими неторопливыми, благородными движениями. Они двигаются красивее, чем европейцы.

Русские власти были представлены в Персии консулом, командующим армией, комиссаром и комитетами, а на местах – каждым комендантом этапа, из которых многие занимались вымогательством у населения, и каждым солдатом с винтовкой.

В городе было неспокойно, всю ночь слышалась стрельба – один из признаков, что гарнизон уже распустился. Со всех сторон тянулись серые, скучные жалобы. Армия тихо гнила. Я тосковал на Востоке, как тосковал в Палестине Гоголь, пережидая дождь на скучной станции Назарет. Главная жалоба была на фураж. Громадные транспорта голодали. Сено, заготовленное где-то в горах в районе Дизы Геверской, было заготовлено неумело или слишком хитро. Его не успели вывезти в свое время. Не хватало веревок, курд хан Синко не дал перевозочных средств. Началась осень. Забили ключи, и сено погибло. Таск долго расследовал эту историю, перессорился со всеми, но виновного не нашел. Резервом для поставки фуража оказался Хой-Дильманский район. Район этот богат, но расположение неудобно – на правом фланге нашего фронта. Самана – соломы, смятой и скрученной при молотьбе в особых персидских молотилках, – люцерны и сена было заготовлено довольно много, но его нужно было прессовать, а рабочая рота, которая стояла в Диламе, на прессовке саботировала, прессовала плохо и ломала прессы. Грузчики работали нехотя, голодные транспорта тоже.

На левом фланге в Бане лошади ели дубовый лист и кору, грызли изгороди и дохли табунами. А конные части в нашей армии преобладали. Упадок работоспособности сказывался во всем. Мы послали из аркома на все пристани своих людей в качестве наблюдателей – помогло мало. Положение осложнялось тем, что на многих пристанях погрузочные и этапные команды состояли из немцев-колонистов, и там было сильно германофильское отрицание войны.

Наемные команды персов могли бы выручить, но население уговаривало их бросать работу и не помогать русским. Падеж лошадей тяжко сказался на нашей кавалерии. Она

состояла из казаков, то есть из людей на собственных лошадях – значит, особенно чувствительных.

Ко всему этому в армии возник вопрос о валюте, который скоро и стал центральным.

Для того чтобы было яснее дальнейшее, скажу несколько слов о персидских деньгах, «собачках», как их называли наши солдаты. «Собачками» персидские деньги звали потому, что на них вычеканено изображение льва.

Денежной единицей являлся кран – серебряная монета меньше нашего полтинника, стоила она раньше копеек 30.

Пятикранник назывался полутуманом, по величине он был больше рубля и чеканился раньше в Петербурге на Монетном дворе. Стоил пятикранник 1 р. 50 к. – 1 р. 80 к.

После того как мы перестали ввозить в Персию товары, наш кредитный рубль упал, было решено платить нашим войскам персидской валютой, считая полтумана за 1 р. 80 к.

Значит, уплата жалованья валютой была для войск очень выгодна. Но серебра, необходимого для этой уплаты, у нас не было. О валюте поговорили и забыли, а рубль все падал и падал. Я сам видел на перевале Кущинского ущелья осликов, хурджины – переметные сумки – которых были туго набиты кредитками. Это был не очень дорогой товар. Дело осложнялось тем, что некоторые тыловые части получали жалованье валютой.

Вопрос обострялся. В нем были заинтересованы все. Значит, задерживающие центры не работали.

Особенно требователен был третий пограничный полк. Громадный полк четырехбатальонного состава. Наконец с трудом достали серебра на одну оплату, на остальную сумму выдали, по предложению Таска, сберегательные книжки, в которых была записана недостающая сумма как вклад. Тогда появилось новое затруднение. Нельзя представить себе ничего причудливее курса денег в Персии. Мелкое серебро имело свой курс, рубли – свой. Даже золото имело курс не по весу, а по чеканке, так что один и тот же вес золота в турецких лирах стоил гораздо больше, чем тот же вес в русских золотых. Мелкие русские кредитки ходили по своему курсу. Сторублевки и пятисотрублевки имели опять другой курс, думская тысячерублевка – свой, только что вышедшие керенки – тоже свой. Кроме того, курс русского рубля изменялся буквально по два раза в день, в зависимости от последнего телеграфного сообщения из Тавриза. Кстати сказать, русский банк в Тавризе русских денег не принимал. Получалось такое положение, что каждый раз при размене солдат чувствовал себя обманутым, да и в действительности был обманут.

Как только жалованье серебром было выдано, все солдаты бросились менять серебро на бумажный рубль, чтобы везти деньги домой. Банкиры-сарафы моментально взвинтили рубль до 15 копеек (шай) и выше, и солдаты, считая себя обиженными, устроили ряд погромов – впрочем, погромы были перманентны.

Опишу один из них. Уже давно по городу шли слухи, что погром будет. Какой-то солдат-еврей предупредил об этом соотечественника на базаре. Однажды утром, зимой, когда на камнях лежал снег, я вышел в город. Арыки мерзли. Страшные персидские нищие, почти голые курды из разоренных мест жались, замерзая у стен. Прохожих почти не было. Знакомый перс, пробегая, закричал мне: «Грабят базар!»

Я жил напротив штаба, бросился к командиру, князю Вадбольскому. Он подтвердил мне известие. Вадбольский был смелым и честным человеком. Сейчас он растерялся. Кого отправить на погром? Нет дисциплинированных частей! Каждая сама будет грабить. Вызвали из пригорода забайкальцев, но все знали, что это рискованное забрасывание костра дровами. Можно было отправить еще кубанцев, кубанцы не грабили, по крайней мере в Персии, но они держались хитрого хохлацки-казацкого нейтралитета и грабежу не помешают. Больше же всего они боялись испортить отношения с пехотой. Их программа-максимум – попасть домой. Я метнулся в арком. Арком сидел в полном составе и совещался о мерах

борьбы с погромами вообще. На погром, в частности, никто идти не хотел. Все боялись, и особенно страшила мысль о том, чтобы разогнать погромщиков оружием. А между тем армейский комитет вместе с полковым комитетом города составил бы группу человек в 150, то есть являлся уже силой. Я сказал комитетчикам, что пойду один. Таск был в отъезде.

Пошел на базар. У входа толпилось несколько человек. Два-три испуганных персаполицейских да несколько французских офицеров, наблюдавших за всем с видом спокойного презрительного изумления. Мимо них, сгибаясь, пробегали солдаты, неся в охапках всякую рухлядь и теряя ее. В самом базаре было темно от пыли и стоял крик… гау, гау, гау… как в бане. Мною овладело слепое и тупое бешенство. Я взял доску и с криком побежал по темному туннелю, ударяя встречных. Разбитые ставни магазинов висели на петлях. Люди рылись во внутренностях темных лавок, выкидывая оттуда длинные полосы материй, как кишки. Нищие подхватывали куски и прятали.

Громили башмачников. Инструменты, колодки, куски кожи, разрозненные туфли из желтой кожи валялись на земле.

Несколько персов, сидя на корточках перед своими взламываемыми лавками, голосили высоким безумным голосом, царапая себе лицо. Базар гремел от ударов камнями по дверям, гулким, как барабаны. От пыли, поднятой взломщиками, хотелось кашлять и выплюнуть внутренности. Я гнал перед собою толпу, безумную и слепую, как сам я.

В ковровом ряду было всего больше народу. Один, в кожаной куртке, очень высокий и плотный, взламывал крепкие двери маленьким ломом. Я бросился к нему и ударил его неловко. Он отступил и не побежал от меня, а пустил в меня ломом. Я получил удар в плечо и сразу, автоматически, начал стрелять в него, не целясь, раз за разом не попадая. Этим я нарушил какой-то погромный неписаный закон.

Погромщики были не вооружены винтовками и поэтому считали, что с моей стороны допустимо бить их доской, но недопустимо стрелять.

На выстрел сбежались люди.

Дело было на перекрестке туннелей. Я побежал. Это не доказывает большой храбрости.

И все казалось сном. У меня еще раньше был такой кошмар, будто я бегу по узкому, низкому коридору с выбеленными стенами, переходящими в потолок. Похоже немножко на коридоры Александрийского театра, только раз в пять уже и ниже. Кругом двери и двери. Ровный белый свет, а сзади погоня. Бежишь и прячешься за двери.

Я вспомнил и вновь пережил уже наяву этот кошмар в серых туннелях урмийского базара.

За мною бежали с криком. На повороте с двух сторон стрелами сходящихся туннелей набежали две толпы. Я скинул короткую шубу, которая была надета на мне, и бросил ее назад.

Успел даже вынуть из кармана документы.

Две волны загнулись и встретились у шубы, вцепились в нее, полупозабыв меня.

Я выиграл несколько шагов и бросился в узкий проход. Три-четыре человека побежали за мною.

Я, не глядя, выстрелил назад. Они исчезли. Я выскочил из базара.

Было холодно. Падал снег и таял. Мостовая блестела, мокрый фонарь на кронштейне висел, совсем как в Петербурге.

Базар гудел.

Я обошел базар и опять вернулся к выходу.

Приехали широколицые забайкальцы. Плоскость висков почти не образовала угла с плоскостью лица. Не знаю, где начинали округляться их головы.

Они стояли и спокойно прятали в сумки разбросанные материи, жалкую, грубую персидскую набойку…

Я велел им выйти.

Пришли спешенные кубанцы. Вид спокойных людей в черных шубах, не принимающих участия в погромах, проходящих мимо погромщиков с полунасмешливой, полуснисходительной усмешкой, несколько рассасывал погром.

Персы не сопротивлялись; они знали, что если бы они убили или ранили хоть одного солдата, то погром перешел бы на город.

Пришел отряд айсоров, они услыхали, что меня убили.

Их пустить тоже нельзя, так же как и дашнаков, – нельзя ссорить их с нашими войсками.

Наконец пришли комитетчики. Конечно, без оружия.

Им тоже дали знать, что я убит.

Мы взяли доски и пошли по проходам разгонять людей. Громили уже часа четыре.

Мы бегали по галереям, вытаскивали из лавок солдат, выбрасывали их оттуда пинками. А местами громилы оказывались в большинстве.

Комитет держался чисто демократической программы.

Помню… В воздухе пыль. Гремят выбиваемые двери. Один милый, очень честный и смелый когда-то комитетчик стоит на широком и высоком карнизе, тянущемся вдоль всех лавок, и кричит: «Товарищи, что вы делаете! Разве так борются с капитализмом? С капитализмом нужно бороться организованно!»

А иногда три-четыре человека окружали одного, у которого рубашка раздулась от поднапиханных туда вещей, и лепетали взволнованно: «Брось, брось, куда тебе эта дрянь, брось».

Было странно. Бежит человек с кинжалом в руке и с обезумевшими глазами, поймаешь его, вытрясешь, и у него оказываются: две позолоченные рамочки, два сапога с левой ноги и несколько горстей кишмиша.

Князь Вадбольский однажды, между прочим, верно сказал мне: «Пассивно честных среди солдат – 75 %, но они нейтральны».

Одного такого «нейтрального», бьющегося в истерике, вели два солдата под руки, а он кричит: «Грабят. Позор… Я большевик… Позор… Я вам не верю».

Но большинство пассивных все же относилось к погрому как к озорной игре.

Мы забаррикадировали все входы, кроме одного, и вытеснили всех из базара.

Вечером обходили команды, отбирали награбленное. Настроение у всех озлобленное против нас: «Грабить нельзя. А нас мучить можно?»

Меня солдаты очень жалели. Как же, у человека из-за каких-то персов шуба пропала! Шуба дорога. А человек хороший. Усердно искали шубу.

Приблизительно так были ограблены Ушкуэ, Шерифхане, многие местности, и по два, по три раза.

Дильман грабили позднее, уже при отходе наших войск в Россию, но грабили не проходящие войска, а гарнизон города. Город был разделен на участки, каждая команда громила свой квартал. Для освещения город зажгли.

Город Хой был ограблен войсками, идущими через него в Джульфу при эвакуации из Персии.

Тавриз не грабили. Тавризский базар – мировой; это большой город, в котором товары лежат горами. Он так велик и запутан, что сами торговцы, попав в незнакомую часть, берут проводника из нищих.

Несколько раз погромщики входили в базар, но уже не выходили… Их там растаскивали и, по всей вероятности, расщипывали по кусочкам.

Тавриз не разгромили.

Но судьба курдского города, стоящего на турецкой территории, богатого Соложбулака, который когда-то был значительным торговым центром и лежал на караванной дороге, была печальна. Его разграбили *до крыши*, то есть дотла, так как *глиняные* стены никто не грабит, но без крыши они расплываются при дожде и от них остаются только валики. Крышу же сняли и продали.

Я не говорил еще о том, как информировали нас из Петербурга. Посылали нам все время сводку о Демократическом совещании.

Помню, позовут ночью. Идешь узким переулком, входишь через двор, покрытый уже почти обнаженными виноградными лозами, в помещение телеграфа. Одна стена, как вообще в Персии, из стекла (то есть она была из коленкора, ну а мы вставляли стекла без замазки), за окнами темно.

Подходишь к «бодо». Это – аппарат прямого провода с Тифлисом. Сверкая в темноте, кружится грузило регулятора, медленно опускается гиря механизма. Стучит что-то, ползет лента со словами.

Иногда аппарат сбивается, начинает печатать: т-т-т-т-ччччч-ввв…

Из аппарата ползет белой макароной какая-то болтовня. Перебиваешь: «Скажите, что у вас, как большевики?.. Пришлите белье войску, валюту…»

Аппарат тихо теркает: «Тер… тер… тер… Терещенко говорит… демократия…» Белая глиста ползет…

Терещенко полз через аппараты до Октября…

Потом смятение, сообщение о перевороте, о том, что фронт и Рада «стоят на точке зрения Временного правительства»… потом потрясающая телеграмма разгоняемых почтовиков… потом сообщение о взятии Керенским Петрограда… потом… лента из России оборвалась, как та телеграмма, что в романе Уэллса посылал бессмертный изобретатель кавариты с Луны.

Мы остались одни…

Армейский комитет вынес о большевиках резкую резолюцию. Со стороны большевиков тогда говорил только один из аркома – заседание было общее, аркома и полковых комитетов, – некий товарищ, кажется Новомыский. Он сказал: «Товарищи, у нас нет ни мануфактуры, ни кожерни, как же воевать?» Это был хороший человек, который впоследствии много помог нам. Но веру в народ, я думаю, он оставил в Персии…

Таск и я повисли в армии комиссарами несуществующего правительства.

Теперь о Таске.

Ефрем Таск был старый партийный работник, меньшевик. Специальностью его в партии являлась установка подпольных типографий.

Такого рода предприятия требуют колоссальной выдержки, и выдержка у Таска была.

Много сидевший по тюрьмам, много раз бегавший, он пронес через всю жизнь одну мысль – он был типичный революционер-профессионал, в лучшем и самом чистом значении этого слова.

Мне – дилетанту – прямо страшно было смотреть на его упорство и преданность идее. Его недостатком являлась вспыльчивость много мученного человека, поэтому для непосредственной работы с массами он был не годен.

Но вся техника съезда, резолюций и весь тот организационный опыт, который лежит за этой техникой, были ему прекрасно известны.

После резкой резолюции, которую вынес армейский комитет, после телеграммы о перемирии, которую мы получили, при том положении, когда войска были русские и правительство Закавказское и солдаты хотели домой, вести дело было безумно тяжело. Проще всего было уехать. В соседней армии комиссара арестовали. Нас не трогали.

Таск собрал съезд, сумел возбудить к нему внимание и привлечь силы. Заседание было публичное, происходило оно в помещении театра.

На съезд уже приехали большевики; их было около трети, из них помню только одну фамилию – Бабуришвили.

Нужно было на чем-то сговориться.

В то время Учредительное собрание не было еще разогнано, мы и сговорились на Учредительном собрании и на признании Закавказского правительства с тем, однако, что мы считаем одной из его задач борьбу с Калединым как представителем русской реакции. Перемирие признали как факт – о нем уже была телеграмма из штаба фронта, но решили ждать конца переговоров. Во всяком случае, механизм армии был сохранен.

К этому времени меня вызвали в Соложбулак.

Мы получили телеграмму, что в Соложбулаке погром; кроме того, произошли беспорядки на почве формирования национальных войск; из одного стрелкового дивизиона вызвали грузин в тыл для формирования какого-то национального полка; оставшиеся русские тоже поехали в тыл. Одновременно из этого же района, но уже с фронта, пришла следующая телеграмма: афанская колонна Грозненского полка решила идти в тыл, о чем нас извещает, чтобы мы приняли соответствующие меры для охраны бросаемого имущества.

Выехал ночью. Промелькнули высокие стены американской миссии, дом русского полковника Штольдера, командира персидских казаков.

Дом Штольдера стоял за городом, окна были освещены изнутри ярким светом спиртовых ламп.

Мы на «тальботе» легко вошли в прекрасную лунную персидскую ночь. Луна висела высоко. Небо, персидское небо, легко возносилось. Это очень воздушное, просторное небо.

У канавы горела подожженная кем-то старая головастая ива, какими обсажены здесь все дороги. Горело драгоценное здесь дерево. Это ведь доброе дело мусульманина – выкопать колодезь и посадить дерево. Кто-то наш, прохожий, поджег.

Огонь выбегал чуть-чуть, тихо облизывая края старых трещин и нарушая покой голубого света и сине-голубых резких теней.

Кругом на десятки десятин в засохшей серой земле лежали лозы. Виноградники тянулись, как у нас поля. Мы ехали, объезжая бродами высокие своды полуразрушенных крутых персидских мостов.

Дорога поднималась. Земля кругом запестрела ребрами мелких камней, черно-белыми под луной обвалами.

Потом тени посерели, подул ветер, встало солнце. Мы опять спустились и поехали берегом Урмийского озера. К утру были в Гейдеробате.

Среди камней стоят юрты, наполовину вкопанные в землю, несколько землянок, длинные двухскатные крыши которых видны местах в десяти.

Серое здание европейско-тропического вида из серого необожженного кирпича. Громадная железная баржа разгружается у мола. На берегу лежат штабелями рельсы узкоколейки, скрепленные железными шпалами.

Отсюда должна была пойти конно-железная дорога на Равандузское ущелье в сторону Мосула. Я думаю, что рельсы пригодились туркам.

Вот и весь Гейдеробат.

Под одним маленьким навесом, совершенно открытым со всех сторон, у костра из сухой травы грелись нищие.

Мы тогда так втерлись в лямку войны, так приносились к своим сапогам, что могли смотреть на этих нищих спокойно, как на стенку, так, как мы смотрели на всю Персию, а сейчас на околевающую Россию.

Было очень холодно. Я во френче, надетом на гимнастерку и свитер, в бурке сверх непромокаемого пальто, – мерз. Курды были почти голы.

У некоторых вся одежда состояла из войлочного плаща странной формы, он был скроен так, что на плечах получались какие-то торчащие вверх, умоляющие культяпки.

Мы привыкли к нищим. Вокруг всех стоянок бродили дети лет пяти, в одной черной тряпочке вроде рубашки; глаза их гноились и были усеяны мухами.

Нагибаясь, они машинальным жестом усталого животного перебирали мусор, ища чего-нибудь съедобного. Ночью они собирались к кухням и грелись. Немногие из них, и преимущественно старшие, были приняты в команды в качестве подручных; прочие умирали тихо и медленно, так, как может умирать безмерно стойкое человеческое существо.

Выехали из Гейдеробата. Ехали то вновь проложенными дорогами, на которых все еще копошились персы и курды под наблюдением наших саперов, ехали и прямо солончаком. В одном месте автомобиль забуксовал, и мы с трудом, подкладывая под колеса сухую траву, выбрались из соленого болота.

По дороге попадались разрушенные деревни.

Я видал много разрушения. Видал сожженные галицийские села и дома, обращенные чуть ли [не] в непрерывную дробь, но вид персидских развалин был нов для меня.

Когда с дома, построенного из глины с соломой, снимают крышу, дом обращается просто в кучу глины.

А дорога все шла, бесконечная, как война, ведь все военные дороги – тупики.

В солончаках встретил табуны лошадей. У нас, как я писал, не хватало фуража; лошадей, выбившихся из сил, нечем было поддерживать. Кормить – не стоило, убить – не хватало жалости; их выгоняли в голую степь на подножный корм. Они медленно умирали. А я ехал мимо.

Кстати, о жалости. Мне описали следующую картину. Стоит казак. Перед ним лежит голый брошенный младенец-курденок. Казак хочет его убить, ударит раз и задумается, ударит второй и задумается.

Ему говорят: «Убей сразу», – а он: «Не могу – жалко».

Приехал в Соложбулак. Город небольшой, в котловине. Когда-то он славился своими шубами, тисненными золотом.

Погром кончился, все было выгромлено.

Пришел в армейский комитет. Собрал полковые. Начал говорить.

Мне раздраженно отвечали, что курды – враги. «Курд – враг» – это поговорка русского солдата в Персии. Тут же спохватываются и говорят, что они не за погром.

Узнал странные вещи. Громили, кроме кубанцев и одной санитарной команды, все… в общем и целом.

У нас в транспортах служили – на правах вольнонаемных, что ли, – молокане со своими троечными упряжками.

Ассоциации такие: молокане, духоборы, белая арапия, мистицизм, еще что-нибудь… Даже вот эти молокане тоже грабили. Грабили артиллеристы.

Командир дивизии во время погрома заперся в своем доме и не выходил.

Да, не пропадут в истории некоторые обычаи персидско-курдских погромов.

Когда начинали грабить, то курды – Соложбулак – курдский город – выходили с женами на крыши, не беря с собой вещей, и оставляли город на волю погромщиков. Этим они избегали насилий. Конечно, не всегда.

Скорбь и стыд пыли погромов легли на мою душу, и «печаль, как войско негров, окровавила мое сердце» (это вторая часть фразы из чьего-то перевода персидского лирика).

Я не хочу плакать одиноко и скажу еще нечто, слишком тяжелое, чтобы скрывать.

В армейском комитете один солдат энергично доказывал, что у голодающего населения ничего нельзя брать.

Нужно сказать, что армия наша, в противоположность некоторым корпусам Кавказской, не голодала; хлеба давали не менее 1½ фунта, баранины избыток. Исключения составляли сторожевые охранения на перевалах.

Этот солдат привез из продовольственной командировки образцы курдского голодного хлеба. Хлеб был сделан из угля и глины с прибавкой очень маленького количества желудей.

Его не хотели слушать.

Можно представить, как ненавидели курды наши реквизиционные отряды, тем более что многие дивизии заготовляли провизию хозяйственным способом, то есть контроля не было.

Один такой отряд курды окружили. У начальника, некоего Иванова, который долго защищался шашкой, оторвали голову и дали ею играть детям.

И дети играли ею три недели.

Так сделало курдское племя. А русское племя послало на курдов карательный отряд и взяло за головы убитых выкуп скотом, разграбило виновные и несколько невиновных деревень.

Мне рассказывали люди, которых я знаю, что когда наши ворвались в деревню, то женщины, спасаясь от насилья, мазали себе калом лицо, грудь и тело, от пояса до колен. Их вытирали тряпками и насиловали.

Я собрал гарнизон на митинг за городом и добивался от него принципиального осуждения погрома, но, по совести говоря, не добился.

Из толпы все время перебивали меня: «Здесь спокон века звери жили, нас привезли – и мы озверели. Зачем мы здесь?»

А я им говорил, что они здесь ненадолго; но кровь, пролитая ими, не пройдет даром и труден будет обратный путь на родину через эту кровь.

А кто виноват? Виноваты те, кто их привел туда, и уже позабытое, но не искупленное преступление войны.

Прошелся по городу. На углу несколько солдат играют, подкидывая пинками ног кошку с привязанной к ее хвосту жестянкой из-под керосина.

Длинная вереница курдов сидит на корточках, ожидая приема у нашего врача. Женщины изредка проходят по городу. Лица у них не закрыты. Проходят рослые и стройные красавцы курды в чалмах, навернутых на остроконечную шапку с черной кистью. Их рубашки подпоясаны широким поясом из длинного-длинного куска материи.

А кругом – разгром, какие-то сальные тряпки, которыми побрезговали громилы, валяются на полу. На улице сидит курденок и поет:

Ночка темная, боюся,
Проводи меня, Маруся.

При белом свете умирает человек, корчась и извиваясь; его обнаженная спина и лопатки ужасны. Прохожие переступают через него.

Ночью дал Таску паническую телеграмму:

«Осмотрел части Курдистана. Во имя революции и человеколюбия требую отвода войск».

Эта телеграмма не очень понравилась, ведь наивно и забавно требовать отвода войск во имя человеколюбия. А я был прав.

Мы ведь все равно уходили, и пребывание войск в Курдистане было бесполезно. Лучше выводить войска, чем сделать то, что сделали: заставить войска убежать, да еще бросив запасы.

Я не хочу сейчас быть умнее самого себя и скажу просто, что думаю.

Мы напрасно так умны и так дальновидны в политике. Если бы мы вместо того, чтобы пытаться делать историю, пытались просто считать себя ответственными за отдельные события, составляющие эту историю, то, может быть, это вышло бы и не смешно.

Не историю нужно стараться делать, а биографию.

Я выехал из Соложбулака и берегом ручья поехал в Афан.

По дороге увидал все то же: разрушенные деревни и убитых людей; сосчитал восемь трупов.

Я видел много трупов на своем веку, но эти поразили меня своим бытовым видом. Ведь не в войне убили их. Нет, как собак, убили, пробуя винтовку.

Шофер осторожно вел машину, временами восклицая: «Вот, кажется, ишак дохлый; нет, опять человек». Ему было тяжело, у него были шоферные нервы. Шоферы нервны.

Потом увидел еще три трупа, но уже положенные ногами вместе, по-курдскому, кем-то перенятому, обычаю делать из трупов придорожные украшения. На лице одного трупа сидела ощетинившаяся кошка и неумело рвала щеки своим маленьким ртом…

Но вот мы обогнали артиллерию – горную батарею, идущую из Соложбулака на смену. Сильные мулы несли ловко налаженную батарею. Из всех уголков этой укладки торчит курдская утварь и тряпки – добыча соложбулакского погрома.

Так проехал я вдоль батареи, сделав смотр вверенных мне войск.

Приехал в Афан.

Узкая горная щель чуть расширялась. Две юрты, два-три балагана, землянки, речка, стадо рыжих баранов. Голые горы кругом. Там, за горами, курды.

На краю горы наши сторожевые укрепления.

Поговорил с полковым командиром. Это был, насколько я помню, очень уважаемый солдатами человек. Он рассказал мне, что на почве обострения вражды с курдами солдаты, или часть солдат, сожгли, не помню, живыми или мертвыми трех курдов, мирных работников здешнего земского пункта. А теперь поэтому еще более боятся курдов.

Кстати, часть полка голосовала за с. – р., другая часть – за большевиков, не помню точного подсчета голосов.

Пошел к полку, сказал им: «Товарищи, я ехал к вам и видал по дороге восемь трупов. Зачем вы убиваете людей». Мне ответил кто-то: «Плохо считал, их там больше». Я сказал им: «Приказывать я не имею силы, просить не хочу: сообщаю вам – вы, несмотря ни на какие постановления, не уйдете отсюда, пока вам этого не позволят. Дорога далека; если хотите, идите на свой страх без барж, – попробуйте. Общий же отход начнется скоро». И уехал. Они, не знаю, из-за меня или сами по себе, дождались общего бегства.

И я поехал обратно, осматривая по пути части кубанцев. Лошади у них в таком состоянии, что можно было лишь мечтать о том, чтобы повести их на поводу. Им следовало идти в тыл в первую очередь, так как отход кавалерии облегчал нам отход фуража. Приехал в Урмию. Здесь мне сказали, что началась уже демобилизация, по приказанию Пржевальского (начальника штаба фронта) отпустили солдат до тридцати лет.

А между тем, как ни странно, некоторые отпущенные в отпуск все же возвращались, говоря, что в России плохо, очень плохо.

Приехал из Киева от Казачьей рады высокий, как жердь, казак с маленькой головой, стриженной под машинку. Он был комиссаром казачьих войск.

Россия начинала разлагаться на первоначальные множители. Мы казака приняли враждебно. Но он не смущался, ходил сидеть к нам, пил чай вприкуску и что-то обмозговывал по-своему.

Я думаю, что его миссией было ускорить отход кубанцев.

Кубанцы торопились домой. Я помню день отъезда одной части, стоявшей в городе. Пригласили музыкантов, достали кувшин вина и танцевали вприсядку часа два, не переставая.

Потом сели с трудом на лошадей и поехали уже, как трезвые.

На противоположной стороне стояли и смотрели ласково персы.

А впрочем, в дильманском погроме приняли участие и черноморцы.

Уже охрану штаба несли ассирийцы. К этому времени в корпусах Кавказской армии остались одни штабы.

В армейском комитете появились большевики – Бабуришвили, какой-то еще зубной врач и матрос Салтыков.

Флотилия была ненадежная в отношении работы, а она была необходима для отхода.

В ней завелись интриги. Один офицер, Хатчиков, привлек на свою сторону команду, предложив объединить все суда в одну флотилию, то есть присоединить к военным судам суда железной дороги и Земского союза, а потом остаться в Персии и возить частные грузы.

Покамест же он предложил начать возить кишмиш и сухие фрукты с берега на берег одновременно с казенными грузами.

А ведь шла эвакуация, значит, дело сводилось просто к захвату судов.

Конечно, история эта безмерно обогатила бы Хатчикова, так как золото в Персии есть.

В связи с этим намерением Хатчикову удалось добиться избрания себя на должность командира флотилии, хотя в нашей армии выборного начала еще не было.

Мы вели с этой затеей ожесточенную борьбу, назначали свои комиссии; но комитет флотилии заявлял о неподсудности его нашему сухопутному влиянию.

Мы обжаловали дело в Центрокаспий, который и отозвал Салтыкова и Хатчикова.

По сведениям, которые я получил от комиссар-балта Пенкайтиса, Хатчиков впоследствии принимал участие в передаче нашего Каспийского флота англичанам. Таким образом, его торгово-промышленные наклонности нашли свое применение.

А войска уходили. Предполагалось перенести штаб на другой берег озера и уже на линию железной дороги, но этого нельзя было сделать, чтобы не увеличить тяготения войск к отходу в тыл.

В связи с уходом опять обострился вопрос о размене валюты. Уходящие забайкальцы арестовали нового председателя армейского комитета, выбранного на армейском съезде, товарища Татиева, очень честного и набожно верующего в мировую революцию человека.

Они требовали, чтобы им разменяли валюту по курсу 9 шай – рубль. Бросились к губернатору, и он, угрожая купцам палками, добился такого размена. Татиев был освобожден.

* * *

На нашем фронте вопрос о перемирии не был очень остер. С противником соприкосновения мы почти не имели. Зима размела нас и турок с гор в долины. Только кое-где держались сторожевые охранения.

Состояние турецкой армии было плохое, питалась она одной жареной пшеницей и о наступлении не думала. Петроградское правительство уже заключило перемирие с турками.

Необходимо было оформить состояние, о чем мы получили приказ от краевого Совета.

Мы отправили к туркам аэроплан, который сбросил прокламации с предложением начать переговоры. Кроме того, отправили радиотелеграмму. Совещаться, в общем, нужно было больше всего о демаркационной линии.

Турки ответили нам радио на немецком языке с предложением приехать для переговоров в Мосул.

Отправились полковник Эрн, Таск и Салтыков, которого арком готов был отправить куда угодно, только подальше.

Я не любил Салтыкова с его самоуверенностью и щегольством.

Остался с Татиевым управлять армией. У меня было ощущение, которое я знал раньше по французской борьбе. Борешься с человеком во много раз сильнее себя. Еще сжимаешь ему руки, сопротивляешься, но сердце уже сдало. Сопротивляешься, но не дышишь.

А нужно было изображать тормоз.

Татиеву было легче. Получив случайно проскочившую к нам телеграмму, как была принята весть о мирном предложении России в Берлине, уже забытую теперь телеграмму о слезах на улицах с радости, он говорил мне тихим голосом с грузинским акцентом: «Вы увидите, наша революция спасет мир».

Я пишу сейчас в 12 часов ночи 9 августа.

Венгрия пала. Банкомет сгребает со стола нашу ставку.

У меня болит голова, весь день я хочу спать, у меня острое малокровие, если я сейчас быстро встану со стула, голова закружится, и я упаду.

Я могу писать только ночью. Я знаю, что это значит. Это масло сгорело, и к ночи, когда не работают задерживающие центры, горит фитиль…

Жил я так.

Проснешься утром в маленькой белой комнате. Мороз – это выдуло тепло через окно со стеклами, вставленными без замазки. Но солнце светит. Топят маленькую железную печку дровами из тополя, становится тепло, уютно, и пахнет смолой.

Это лучший момент дня.

Встаешь и получаешь кучу телеграмм, все об одном: о развале, требующем немедленного отхода и не дающем уйти.

Уже сбегают отдельные команды в Джульфу и стараются нахрапом проскочить в Россию.

Образуется пробка. Поезда, идущие к нам с провизией, захватываются; груз скидывается; вагоны гонятся обратно.

Сбежала Дильманская рабочая рота.

Проклял рельсы, по которым она поедет, и задержал ее.

Ведем разные переговоры со здешним персидским обществом.

Характерный случай хитроватой простоватости персидского человека:

Когда наши ехали в Мосул для переговоров, то персидский губернатор предлагал вместо этого устроить переговоры в Урмии и довольно нерешительно, но серьезно говорил, что со своей стороны Персия требует Багдада как когда-то ей принадлежащего города. К сожалению, Багдада дать мы ему не могли. Айсоры же были уверены, что Таска в Мосуле или убьют, или отправят в Константинополь заложником.

Пока же мы ждали Таска и ходили к персам в гости.

Однажды позвали меня к здешнему демократу Аршану-Дамаюну. Мы шли дворами долго. Слуга с фонарем, кланяясь, сопровождал нас. Вдоль стен последнего прохода стояли слуги в грубых башмаках и в бедной полувоенной персидской форме и бросали нам под ноги цветы.

Мы вошли в комнаты.

Ослепительный, уже отвычный для нас свет многих ламп с двойными фитилями (в Персии почти не видно горелок типа «луна») резал глаза. На стенах пестрели ковры.

Гости во фраках, с поразительно белым бельем, в маленьких черных персидских шапочках сидели и разговаривали с офицерами французской миссии в тугих серых мундирах из хорошего, чистого сукна.

Висела люстра со свечами, хрустальная люстра, а под ней садовые стеклянные, изнутри посеребренные шары.

Еще не стиранные белые скатерти из коленкора хрустели и показывали свои штемпеля и неснятые этикеты.

Мы, то есть комитетчики – все солдаты – и я, пришли грязные, трепанные, усталые, а главное – виноватые.

Начался обед. За стеклами зурнил громадный туземный оркестр «Тоску по родине».

На столе стоял хороший фарфор и хрусталь. В Персии много хорошего фарфора.

Коньяк Шустова или Сараджева, жидкое кислое молоко и без конца – кушаний.

Говорили речи… Сладко жмурился губернатор, говоря: «Чох, чох якши». Переводчик, армянин-дашнак, милый и почти сумасшедший (гордящийся тем, что он был в той группе, которая когда-то заняла с бомбами Оттоманский банк как залог автономии Армении и была выманена оттуда вместе со своими чемоданчиками и бомбами только обманным поручительством Франции), – переводчик давал вольный перевод речей, вставляя в них аршинами все свои мысли и надежды и захлебываясь от восторга.

Сосед переводил мне программу партии, которая называла себя социал-демократами.

Ее первым пунктом было – «крепостное право не отменяется». Я проверил перевод у одного товарища, оказалось, что это так.

Дальше шли пункты о борьбе с нищенством.

Я встал с поднятой в руке рюмкой. Я, глядя на рукав своего обтрепавшегося френча, начал говорить, прерывая речь длинными паузами, в которых журчал переводчик.

Говорил сперва о том, что нам ничего не надо от Персии, кроме ее счастья, и о том, что мы, вместе со своими погромами, все же больше всех уважаем страну.

В конце рассердился и пожелал Персии социальную революцию.

Музыка зурнила «Тоску по родине».

Другой вечер я провел у Ага-Петроса на званом обеде по случаю присылки Мар-Шимуну ордена Святого Владимира на шею.

Пройти в дом Петроса нужно было через длинные проходы, каждый проход замыкался глиняным зданием, в котором дорога доходила до двери и поворачивалась.

Такой дом не возьмешь внезапно.

На последнем дворе – стадо уток и гусей. Это можно найти в доме почти каждого перса.

Металлическое гаганье птиц сперва часто будило меня ночью.

Сада во дворе Петроса не было.

На верху стены сидел, сжавшись от холода – была ночь, – павлин. Тяжелый, пышный даже при луне хвост резко выделялся на беленой глине.

Приглашены были исключительно ассирийцы.

Слуги в цветных носках ходили без шума.

Ветер парусил коленкор окон.

Приехал Вадбольский. Вообще же он жил затворником и никуда не выходил.

Вадбольский провел церемонию возложения ордена «трепетными руками» с небрежной почтительностью.

По-своему он хорошо знал Восток, и его здесь уважали.

Взволнованный патриарх с румяным лицом блистал глазами, голова его странно седая, седина совершенно серебряная, а ему только 26 лет.

Впоследствии его обманом заманил к себе курд Синко и убил.

В зале стояли винтовки в козлах.

У дружинников отбирали оружие, когда они приходили домой.

Все были озабочены.

Я оттого так много пишу об айсорах, что считал возможным создать из них силу.

Вернее, я не видел других возможностей создать силу.

Кроме того, нужно было спасать людей, связавших свою судьбу с Россией.

Интересно, как создаются легенды.

Петрос или какой-то православный священник-айсор, тот, кажется, который на одном приеме у губернатора все время с манерой странствующего монашка говорил, что не нужно сердиться на айсорских «беднячков», сказал мне:

«Вы знаете, к Вадбольскому приходили наши женщины и сказали ему: „Наших мужей мы вам отдаем; но велите убить нас, только не оставляйте на убой персам“».

Конечно, к Вадбольскому никто с такими словами не приходил; но их все думали и слышали сказанными.

Армяне и айсоры предлагали нам следующее. Они просили, чтобы мы оставили два полка в качестве ядра, вокруг которого можно было бы формировать национальные дружины. Взять два полка было неоткуда.

А оружие и инструкторов дать было можно.

Оружия у нас были запасы, инструкторами оставались многие офицеры и унтер-офицеры, не ждущие от России для себя ничего хорошего.

Я был сторонником поспешного, панически поспешного формирования.

Русские войска оружие отдавали очень неохотно, но я знал способ.

Нужно было только давать отпуск всей команде, например команде ружейного парка, она уезжала, и оружие можно было брать.

Кстати, об оружии. Среди солдат твердо сложилось убеждение, что есть приказ уходить с ружьями. Говорили, что в Россию не пропускают солдат без винтовок.

Краевой же Совет на мои повторные запросы о разрешении отпускать солдат с оружием отвечал приказанием разоружить демобилизованных. А как их разоружить?

Я предлагал, считаясь с тем, что винтовки все равно будут увезены, разрешить этот увоз, но вписать каждому солдату в его документы, что при нем находится винтовка номер такой-то и столько-то патронов, которые он обязан зарегистрировать в своем волостном Совете.

Это я хотел сделать для того, чтобы ослабить продажу винтовок.

Винтовка, да еще русская, на Востоке – драгоценность. Вначале за винтовку давали 2000–3000 руб., за патрон на базаре платили 3 руб., на станции Камерлю за такой же патрон давали бутылку коньяка.

Для сравнения с этими ценами привожу цену на женщин, увезенных из Персии и с Кавказа нашими солдатами.

Женщина в Феодосии, например, стоила при покупке ее навсегда 15 руб. употребленная и 40 руб. неупотребленная.

Так уже как не продать винтовку!

Пушки продавали. Но кого, впрочем, сейчас этим удивишь?

Мне регистрировать увоз винтовок не дали, а велели ему противиться.

Во всяком случае, оружие для национальных дружин достать было можно.

Армянские части формировал товарищ Степаньянц, бывший председатель армейского комитета, а потом офицер для поручений при комиссаре.

Степаньянц при знакомстве с ним производил впечатление не очень развитого человека.

Родился он в России и, казалось, был мало связан с здешними армянами.

Но он вырос у меня на глазах, как только дело дошло до защиты своего народа. Я удивлялся, глядя на его решительность и авторитетность.

У армян есть то, что можно встретить, пожалуй, еще только у евреев, – национальная дисциплина.

Дашнаки располагались в доме Манусарьянца, как в своем собственном.

Хозяин держал повод коня Степаньянца.

Когда нужно было собрать армян-дезертиров, было вывешено следующее объявление: «Вам, дезертирам-армянам, приказываем явиться к такому-то числу; неявившиеся будут убиты к такому-то числу».

И конечно, ближайшие родственники убили бы неявившихся.

Из-за формирования происходили трения между Мар-Шимуном и Петросом.

Но в результате они примирились на том, что Петрос стал начальником штаба Мар-Шимуна.

Петрос волновался. «Это не война, стоять Урмия, когда Гердык нет!» А из Гердыка уже ушли войска. Он послал в Гердык десяток своих людей.

Люди уходили, запасы бросались, бросалось оружие, сахар – громадное количество сахара.

Мы возвращали Курдистану все награбленное.

Я хотел подарить наши склады из тех, которые нельзя было вывезти, формируемым войскам.

Они вывезли бы их как-нибудь. И имущество все же осталось бы в руках наших друзей.

Кстати, из-за формирования я в конце концов разошелся с вернувшимся Таском.

Он говорил, что формирование, да еще производимое так поспешно, приведет к авантюрам в стиле принца Вид. Я очень огорчился, так как не видел других путей.

Таск имел ориентацию на Россию, на отвод нашей армии, по возможности целой, домой. Моя ориентация была местная.

Если бы при мне был хоть один близкий человек, если бы я не стремился к тому же обратно к библиотекам, я никуда бы не поехал и стал бы отсиживаться на Востоке.

А на Востоке была еще черта, которая меня с ним примиряла: здесь не было антисемитизма.

В армии уже говорили, что Шкловский – жид, как об этом сообщил мне, с видом товарища по профессии, офицер из евреев, только что выпущенный из военного училища, с которым я встретился у казначея.

А в Персии евреи не под ударом, впрочем, так же, как и в Турции.

Говорят они здесь, кажется, на языке, происшедшем из арамейского, в то время как евреи русского Кавказа говорят на каком-то татарском наречии.

Когда англичане взяли Иерусалим, ко мне пришла депутация от ассирийцев, принесла 10 фунтов сахару и орамарского кишмиша и сказала так.

Да, еще два слова прежде. На столе стоял чай, потому что пришедших гостей нужно как-нибудь угостить.

«Наш народ и твой народ будут снова жить вместе, рядом. Правда, мы разрушили храм Соломона тогда-то, но после мы же восстановили его».

Так они говорили, считая себя потомками ассирийцев, а меня евреем.

В сущности говоря, они ошибались – я не совсем еврей, а они не потомки ассирийцев.

По крови они евреи-арамейцы.

Но в разговоре было характерно ощущение непрерывности традиции – отличительная черта здешних народов.

В городе было неспокойно. Пьяные солдаты ходили, стреляли ночью в воздух, носили в крови зародыши погромов.

Раз ко мне ночью просто на свет вбежал перс, за которым гнались два солдата с винтовками, – они были пьяны.

Мне пришлось самому взять револьвер и проводить перса до дома.

Бывали странные истории. Однажды утром пришли к нам – Таск был еще на переговорах в Мосуле – босые, очень грязно одетые люди – из них двое или трое с винтовками.

«Вы кто?» – «Мы арестованные с гауптвахты». – «Да кто же вас пустил?» – «Пришли сами». А часовые говорят: «Арестованные решили идти к вам, как же нам их держать». Среди арестованных были осужденные на каторжные работы.

Жаловаться им было на что. В гауптвахте было грязно, грязно так, что арестованные зимою разбивали стекла в окнах, а без стекол было холодно. Бани и белья не было. Держали без допроса очень долго, месяцами.

На другой день пришли проверять список арестованных. Оказывается, арестовывал кто хотел: и следователь, и контрразведка, и начальники частей, и комендант, и армейский комитет.

И, пожалуй, можно сказать, что людей, арестовав, забывали. Не по жестокости, а по беспорядку и небережливому отношению к людям.

Отдельно сидели курды. Держали их в подвале. Звался он Курдский подвал. Это была полутемная и серая комната с тяжелым запахом. В ней сидели курды, главным образом по обвинению в шпионстве.

У некоторых курдов были дети, очевидно, им некуда было их девать, и они сидели вместе с отцами в яме.

Больше всего меня удивляло, почему арестованные не разошлись.

Я наверно знаю, что конвойным не пришло бы в голову стрелять.

А они не расходились. Очевидно, остались еще какие-то правовые эмоции.

* * *

Результаты выборов в Учредительное собрание по Персидской армии были приблизительно такие. Две трети голосов получил список с. – р., треть – большевики; меньшевики же и кадеты получили по нескольку десятков.

Ничтожное количество голосов, полученное кадетами, объяснялось тем, что в небольших командах, в одну-две сотни человек, все знают друг друга, и если бы офицер проголосовал за кадетов, то можно было бы с точностью сказать, что офицеры – кадеты, а это по тем временам было небезопасно.

* * *

Вот, я описываю все бедность и бедность. И устал от нее.

Неужели не было тогда в нашей армии среди сотен тысяч человек ничего хорошего, светлого?

Было. Но положение нашей армии, отсутствие в ней всякой иллюзии, самозащиты, глубокий упадок духа, всеобщий саботаж как средство кончить войну – все это выделяло не лучшую, а худшую сторону людей.

Виноват, конечно, не русский народ, или народ виноват не в первую голову.

Я думаю, что каждая армия, поставленная в такие условия и в такой момент, вела бы себя так же.

Мы назначили особых комиссаров пристаней. Людей, наблюдающих за посадкой. Люди эти не разбегались, хотя им было и очень тяжело.

Неплохо работала санитарная часть.

Во всех частях были люди, которые делали какое-то дело, которое они считали общим.

Но армия, не поддерживаемая инстинктом самосохранения народа, болела, а больные редко выявляют лучшее, что в них есть.

Что можно отметить, так это хорошее отношение солдат друг к другу – друг для друга они не были волками.

Но самое главное, что люди хоть и плохо, но ждали очередей, терпели, фактически не сдерживаемые уже ничем.

Было еще терпение в дороге, большое, все переносящее во имя слова «домой».

Но я отвлекся.

Я велел уничтожить все вино в городе. Формальное право, которое меня очень мало интересовало, я имел потому, что в прошлом году нашими властями было запрещено выделывать вино…

Вино уничтожала особая комиссия из персов и наших комитетчиков.

Когда уничтожали вино в главном винном гнезде, у некоего Джапаридзе, то вода в канаве была розовая, и громадная толпа сосредоточенно смотрела на алую струю, бегущую из-под стены большого серого безобразного дома.

При уничтожении вина не обошлось без недоразумений.

Здесь слишком пахло вином и деньгами.

Пьянство сократилось, но не уничтожилось. Вино подвозили с левого берега озера.

Между тем голод в стране усиливался.

Уже заурядным стало видеть на улице умирающих.

Люди дрались из-за отбросов, выкидываемых из штабной кухни.

К обеду на нашем дворе собирались голодные дети.

Раз утром я встал и отворил дверь на улицу, что-то мягкое отвалилось в сторону. Я посмотрел, нагнувшись… Мне положили у двери мертвого младенца.

Я думаю, что это была жалоба.

К консулу приходили женщины депутацией чего-то просить. Но что он мог сделать, он, консул неизвестно какого государства, чуть ли не страны голубых антилоп.

Приговоренный смотреть, я смотрел, как персы подавали милостыню своим нищим: две изюминки или одну миндалинку.

Больше делала американская миссия – фактически только она и кормила население.

Часто к доктору Шеду, седому старику, главе миссии, приходили караваны верблюдов с серебром.

Я не знаю, насколько виновны были в голоде мы, русские.

По всей вероятности, мы были виновны тем, что войной создали беженство и помешали возделыванию полей как выселением жителей, так и, это главное, спутав систему орошения.

Все поля здесь дают урожай только при искусственном орошении.

Поле делят маленькими валиками на куски и затопляют по частям.

В пользовании водой соблюдается строгая очередь, установленная и строго разработанная местными обычаями.

Наши войска под влиянием отдельных землевладельцев, действующих в своих интересах, а иногда и сами, думая установить справедливость, вмешивались в это распределение.

Некоторая часть полей в результате осталась без воды.

Кроме того, год был, кажется, вообще неурожайным.

Мы же, со своей стороны, реквизировали ячмень – пшеницу мы ввозили из России – и ничего не сделали для снабжения населения.

Англичане поступили бы иначе, они достали бы хлеб и накормили голодных.

Впрочем, персы находили, что мы лучше англичан.

«Вы грабите, англичане – сосут».

К этому времени начали появляться на территории нашей армии некоторые места, не признающие нашего армейского Совета, а также и моей власти, происхождение которой мне самому было неясно.

Отделился Тавриз и пытался созвать свой армейский съезд. Потом отделился Хой и объявил о своем автономном существовании, но скоро передумал.

По крайней мере, я получил оттуда телеграмму о погромах.

Отход предполагалось вести так: часть войск должна была идти пешком на Джульфу, а часть из Соложбулака, например, по правому берегу озера, считая от Урмии на Тавриз. Прежде вышедшие части должны были останавливаться на условленных местах и охранять дорогу, пропуская задних.

Таким образом предполагалось охранять всю дорогу до Петровска что ли.

Такое движение называется «идти перекатами».

Конечно, ничего не вышло.

Уже первые отправленные полки стремились уйти как можно дальше от Персии.

Очень многие хотели идти в Ставропольскую губернию.

Сравнительно благополучно прошла одна дивизия – я забыл ее номер. Она шла походным порядком, имея вагоны посередине, и прошла, не потеряв ни одного человека.

Одиночные люди, уезжающие по приказам о демобилизации всех до 30-летнего возраста, конечно, стремились уехать как можно дальше. И угоняли у нас вагоны. Вагоны же у нас были со специальными тормозами, а их угоняли под Ростов.

На ветке Шерифхане – Сафьян осталось только четыре вагона.

А на Джульфу двигались еще части четвертого, кажется, корпуса Кавказской армии.

Захватывались вагоны, идущие к нам с провиантом.

Штаб еще работал, но неуверенно. Да и во что было верить?

В Урмию неожиданно для нас приехала жена Степаньянца с ребенком. Привезла с собой газеты. Это была русская, очень типичная курсистка. Она принесла с собой атмосферу довольно обывательского оптимистического большевизма. Но выходило у нее все как-то не очень убедительно.

Я не видел главного: революционного подъема; может быть, ошибался, может быть, ошибаюсь сейчас; я все время видел спад, понижение энергии.

Не в гору – под гору шла революция.

А как сформировался этот спад, то было почти безразлично.

Но, если бы нас спросили тогда: «За кого вы, за Каледина, Корнилова или за большевиков?» – мы с Таском выбрали бы большевиков.

Впрочем, в одной комедии арлекин на вопрос: «Предпочитаешь ли ты быть повешенным или четвертованным?» – ответил: «Я предпочитаю суп».

Таск все не ехал. Раз мы получили радио от Эрна, где приводились турецкие условия перемирия. Эрн спрашивал санкцию Вадбольского. Ему ответили – подписывайте!

Приехал Таск. Приехал, кажется, верхом. Распад армии сказался на автомобилях: ему не выслали машины.

От Шейхин-Герусин, куда его проводили турки, он шел пешком мимо телеграфной линии, столбы которой были спилены на дрова, и только четыре ряда проволоки тянулись в пыли.

Турки видали, что мы никого не послали за своими. Мы уже и не представлялись, что мы армия.

Передаю отрывки рассказа Таска.

Пережить мирные переговоры, говоря от лица бессильного, – тяжелое дело.

Когда они ехали к туркам, то те их встретили на перевале.

Туркам мир – счастье. Они целовали наших и смеялись от радости.

Турецкие солдаты, оборванные и худые, смотрели на них улыбаясь…

Ехали знаменитым Равандузским ущельем, предполагаемым путем нашего наступления на Мосул.

Это глубокое и равнокраее ущелье. В одном месте, с самого края стены гор, падает полотно водопада. Вода, разбиваясь о камни, гейзером летит вверх, облаками пены.

По дороге заезжали в Ардебиль, круглый город с высокой стеной. В городе одна улица – площадь посередине.

Выехали в Месопотамию. Стали встречаться табуны лошадей, тощих и со сбитыми спинами. Автомобилю приходилось лавировать между конскими трупами.

Въехали в Мосул. Немцы, тогдашние хозяева и наших, и турок, встретили парламентеров сухо и тут же предложили подписать договор о перемирии, содержащий, в числе прочих условий, немедленное очищение Персии.

Конечно, мы должны были очистить Персию и знали, что уйдем из нее, но не хотели сделать это по немецкому приказанию.

Я, к сожалению, не помню всех немецких условий.

Кое-что можно было бы восстановить по тифлисским газетам; архив нашего штаба, я думаю, пропал.

Все подробности можно узнать по немецким газетам или у Ефрема Таска.

Представителем турок, и очень любезным представителем, был Халил-паша.

Слава Халил-паши на Востоке – громкая. Это тот самый Халил-паша, который при отходе от Эрзерума закопал четыреста армянских младенцев в землю.

Я думаю, что это по-турецки значит «хлопнуть дверью».

И с этим человеком, очень милым по внешности, нужно было вести переговоры.

Турки радовались миру. Халил-паша с горечью говорил о том, что им приходилось воевать уже десять лет.

Между прочим, Таск был у него на приеме.

Доктор из евреев сидел на полу и, играя на чем-то вроде цитры, пел.

Халил-паша в самых патетических местах подпевал, щелкая пальцами, и подносил певцу рюмки водки.

Тот целовал руку господина.

Халил-паша с восторгом говорил об аннулировании долгов: «Это очень хорошо, это мне нравится; мы тоже не хотим платить».

В городе были русские пленные, запуганные и тянущиеся при виде немецкого солдата.

Наши пробовали говорить с ними. Одни из пленных были настроены монархически, другие – робко-республикански…

Когда парламентеры возвращались домой, то женщины, увезенные из Армении, прорвались к ним, схватили их лошадей за ноги и хвосты и кричали: «Возьмите нас с собой, убейте нас». А те молча уезжали…

Нашим пришлось испытать Брест до Бреста.

Я сказал Таску, что я уезжаю. Он не спорил.

Айсоры очень горевали, мне было самому тяжело уезжать, но мне казалось возможным сделать что-то в Питере, а остаться нужно было навсегда, так как с армией идти я не хотел. Уже был близок конец. И был конец декабря.

* * *

В тысяча семьсот котором-то году, кажется при Екатерине I, – для них это не важно, – пестрые крысы из среднеазиатских степей, собравшись в стаи, толпы, тучи, переселились в Европу.

Они шли плотной, ровной массой. Хищные птицы, собравшись со всего света, летали над ними; тысячи погибли, погибли миллионы – сотни миллионов шли вперед.

Они дошли до Волги, бросились и переплыли. Река сносила их, вся Волга до Астрахани пестрела трупами; но они переплыли ее и вступили в Европу.

Они заняли все, рассеиваясь и становясь невидимыми.

Я вместе с небольшой стайкой сел на барку в Геленжике.

Усталый солдат, комендант, узнал меня и начал рассказывать про то, как только что прошел полк.

Солдаты, заняв места на барже, хотели выбрасывать за борт ящики с патронами, говоря, что они им мешают и все равно не нужны. Их с трудом уговорили.

Железная баржа наполнилась. Люди лежали, почти молчали, ждали катера.

Пришел катер, зацепили нас и потащили.

Я сидел на палубе.

Геленжик уходил. Мотор стучал.

Зажгли фонарь, его отражение колебалось в воде.

Приехали в Шерифхане. Здесь уже собирались в одну кучу люди, едущие в Россию, со всех пристаней озера.

На путях стояло четыре вагона, набитых так, что рессоры прогнулись и повисли.

Влез не глядя. Вагон был классный, но ободранный.

До отхода поезда было еще неопределенно далеко.

Со мной заговорили. Ехали солдаты разведывательной команды одного полка. Я знал этих людей, они славились своей смелостью в поиске баранов.

Состояла эта команда из амнистированных уголовных; я знал, как они из огня вынесли своего тяжелораненого товарища.

Мы тихо говорили о курдах, и в последний раз я слыхал слова: курд – враг.

Рассветало. На крыше вагона возились тяжелые голуби, это влезали на нее все новые и новые пассажиры.

Стало светло. Слышен был голос заведующего посадкой: «Товарищи, вы едете на верную смерть, нельзя так перегружать вагона; слезьте, товарищи!»

Мы глухи, как мордва.

Наконец подали паровоз, и нас потащили.

Ехали до Сафьяна, покорно теснясь и терпя.

На Сафьяне была пересадка. Еще работал питательный пункт Земского союза.

Составили поезд из багажных платформ. Тормозные вагоны были давно угнаны.

Мы тронулись, и вагоны застучали все громче и громче, напирая друг на друга, все разгоняясь, толкаясь, как будто стараясь перескочить друг через друга.

Все сидели, повернувшись к своим мешкам.

Быстро мелькающие верстовые столбы рифмовали дорогу. Паровоз растерянно свистел.

На этом спуске, ужасном спуске в Джульфу, крушения были очень часты. Когда один поезд выскочил из закругления, то взгромоздившиеся друг на друга вагоны образовали гору в десять саженей высоты.

Дошли до Джульфы.

Здесь сливалась волна, идущая из 4-го корпуса, с нашей волной. Туча людей ждала поезда.

Поезд пришел. Мы не рвали друг друга зубами, нет. Мы брикетами спрессовывались в вагоны.

Нервное возбуждение, сопровождающее все такие переселения, делало всех выносливыми.

Под Александрополем не то туннель, не то проволока срезала ехавших на крыше.

Здесь сливалась наша волна с идущими из Саракамыша.

Немного может сказать крыса, прошедшая даже через всю Азию. Она не знает даже, та ли она самая крыса, которая вышла из дому.

В Александрополе многие солдаты садились в порожние вагоны, идущие в Саракамыш или Эрзерум, чтобы, сделав в них путь до фронта, потом ехать в Россию.

Вокзал был цел. Железные линии рельсов гипнотизировали, вокзал уже был вне внимания.

Встретил солдат, которые меня знали, с ними попал в поезд.

Доехал до Тифлиса или, вернее, до Нафтлуга (передаточный пункт). В Тифлис нас не пускали, боясь погрома.

Пешком пошел в город.

Тифлис переживал лихорадочные дни. Быстро обнажались границы, и сейчас он был город безоградный.

Нашествие турок становилось фактом завтрашнего дня, опасность от наших войск была фактом сегодняшнего.

Люди метались.

С одной стороны, специальные медицинские комиссии освобождали поголовно всех русских солдат гарнизона; с другой стороны, газеты, которые, конечно, до фронта и не доходили, просили солдат дождаться на фронте прихода национальных войск.

А фронт обнажался, обнажался от солдат, как Таврический сад от листьев в осенний ветреный день.

Национализм – армянский, грузинский, мусульманский и даже случайный здесь украинский – цвел пышными цветами ярких шапок и штанов на всех улицах, а в газетах – шовинистическими строками.

Не видно было только национализма великорусского, он проявился в форме озлобленного саботажа.

Помню русскую кухарку на улице; она смотрела на какие-то войска, или, вернее, отряд в пестрой форме, идущий по улице, и говорила:

«Что, посидели за русской шеей, теперь попробуйте сами».

Образование Закавказского правительства, как я это видал уже на фронте, очень усилило тягу солдат домой, дав ей новый мотив.

А образовано было правительство не от радости, а с отчаяния.

В обращении с большевиками местные люди старались перенять приемы большевиков.

Когда на фронтовом съезде оказалось, что большевики имеют свыше половины голосов, то съезд раскололся, а меньшая половина была признана национальными властями правомочной.

Но, конечно, фронтовой съезд армии, пробегающей мимо, не был авторитетен.

С организацией национальных войск дело обстояло так.

Офицерством город был переполнен.

Даже в Киеве, при Скоропадском, я не видел такого количества серебряных погон.

Солдатские же кадры создавались с трудом. Особенно туго шло дело у грузин.

Из грузинских войск вполне боеспособны были только части Красной гвардии, организуемой из партийных меньшевистских кадров.

Во всяком случае, и армянские войска – правда, наспех собранные дружины – поразительно быстро потеряли Эрзерумскую крепость.

Дело осложнилось тем, что между армянами и грузинами существовало много спорных вопросов.

Территориальное их разграничивание было почти невозможно.

В это же время образовались опасные для всех мусульманские части из превосходного в боевом отношении материала.

На них косились, но сделать ничего не могли.

Кавказ самоопределялся.

Спектакль «Россия» кончался, всякий торопился получить свою шапку и платье.

Военно-Грузинская дорога была занята ингушами и осетинами, которые ловили автомобили, составляя из них коллекцию.

Черкесы спустились с гор и напали на терских казаков, уже лет сто или больше сидевших на их земле.

Грозный был осажден.

С гор Дербента спускались люди на Петровск.

Татары посматривали на Бакинскую железную дорогу, пока еще охраняемую регулярными мусульманскими частями.

В Елизаветполе и других местах, где было можно, татары резали армян. Армяне резали татар.

Кто-то резал русских переселенцев в Муганской степи.

Русский центр в Тифлисе, маленький захудалый центрик, хотел послать в Мугань вагоны с оружием.

Но украинцы, которые имели в Тифлисе свой отряд, заявили, что 75 % поселенцев Мугани – украинцы и что посылка им оружия со стороны русских есть факт насильнической обрусительной политики, и задержали вагоны, арестовав их.

Муганские переселенцы были вырезаны беспрепятственно, так что теперь нельзя установить их национальности, даже путем плебисцита.

Отношение к русским проезжающим эшелонам было такое. Сперва их не трогали.

Мусульмане иногда останавливали поезда и требовали выдачи армян. На этой почве иногда происходили бои.

Потом слухи из Персии, с одной стороны, стрельба наших из вагонов и наша очевидная слабость раздразнили аппетиты, и начали уже устраивать крушения и русским эшелонам. Но сперва я докончу о том, как ушли наши войска из Персии.

В декабре или в конце ноября я был в Киеве, в гетманских войсках, что кончилось угоном мною броневика и грузовика с пулеметом в Красную армию. Но об этом и о странных перестрелках на Крещатике, и о другом многом странном когда-нибудь после.

Одним словом, здесь, в Киеве, я нашел Таска. Лежал он в нетопленой квартире и еле говорил: у него была чрезвычайно сильная ангина.

Петлюровцев и гетманцев он ненавидел одинаково сильно. Странно было видеть такого энергичного человека не в деле.

Вот что он мне рассказал.

Штаб перевели на линию железной дороги.

В то время когда наши войска отходили из Урмии, персидские казаки напали на нас. В бою приняла участие часть жителей. С нашей стороны дрались айсоры. Ага-Петрос поставил пушки на Еврейской горе и уничтожил часть города. Персидские казаки были вырезаны, причем погиб Штольдер – их командир – и его дочь; зять Штольдера застрелился.

В горах наши войска, уже демократизированные, с выборным началом и с полками, обратившимися в комки, были окружены курдами. Около Волчьих ворот горели вагоны. При свете их было видно, как нападающие, отняв от какого-нибудь нашего убитого солдата винтовку, дрались из-за нее между собой.

Когда взошло солнце, то вся местность вокруг оказалась покрытой трупами.

Нечем было топить костры, жгли белье и ковры, поливая их нефтью.

Несколько слов о белье. Мы просили в свое время, чуть ли не со слезами, у корпусного интенданта достать белье для армии. Нужда была очень острая. Нам отвечали – нет. Все вышло.

А потом, когда добрались до складов, белье оказалось. Спрашивали: что это? «Это неприкосновенный запас».

Это был неприкосновенный запас косности.

Его и жгли.

Мука и масло были. Срывали железо с крыш домов, пекли на этих листах блины.

Не было вагонов – сбросили с платформ цистерны.

Не было паровозов. Таск сам поехал за ними в Александрополь, взяв две роты солдат. Там дали что-то 8 или 10 штук.

Нужно было ехать обратно. Солдаты говорят: «Не хотим». – «Как не хотите, ведь товарищи ждут». – «Не хотим». Машинисты сказали, что они попытаются поехать и без охраны.

Паровозы засвистели, солдаты стояли мрачным строем. Паровозы тронулись, вдруг кто-то закричал: «Садись» – и сразу, во много голосов: «Садись!.. Садись!» – и вся толпа бросилась в медленно тронувшиеся локомотивы.

Паровозы были доставлены.

К этому времени произошло новое несчастье. Было сброшено в Аракс несколько вагонов с динамитом, а потом кто-то бросил туда же бомбу, желая глушить рыбу. Произошел страшный взрыв.

Взрыв уничтожил несколько сот человек, и то случайно так мало: высокие крутые берега реки отразили главный удар.

Через несколько дней Таск поехал на разведку пути в вагоне, прицепленном к паровозу.

Курды устроили крушение. Крушения они устраивали очень часто, несмотря на то что из соседних деревень были взяты заложники.

Купе Таска было раздавлено, а сам он контужен. Скоро он пришел в себя и был принесен на станцию, но оказалось, что он потерял возможность говорить.

Войска пошли без него.

Ехать под знаком Красного Креста он не решился, а нанял проводника, чтобы тот обвел его кругом через Горную Армению.

В горах уже ждали нападения курдов. Армяне под начальством унтер-офицеров, вернувшихся с фронта, держали правильное сторожевое охранение. Наших приняли очень недоверчиво и под конвоем провели в село.

Село состояло из саклей, полувкопанных в стену горы. Наших устроили ночевать в одной из этих саклей. Тут же грелись ягнята; в углу рожала женщина.

После ряда мытарств, пройдя около 300 верст горами, наши вышли опять на линию железной дороги, сделав, считая по воздушной линии, меньше 30 верст.

Здесь они были переняты татарами, но предводитель отряда, учитель, пропустил их вперед, и они вышли снова в армянское расположение.

Так проходил и так кончился русский «Анабазис», или, вернее, «Катабазис», отход нескольких десятков тысяч, идущих так же, как и товарищи Ксенофонта, по путям Курдистана, и к тому же идущих тоже с выборным начальством.

Произошли ли курды от кардухов Ксенофонта или нет, их нравы остались прежними.

Но дух пробивающихся на родину воинов изменяется. Может быть, все объясняется тем, что воины Ксенофонта были воины профессиональные, а наши – воины по несчастию.

Еще один рассказ, совсем небольшой.

Недели три тому назад я встретил в вагоне поезда, идущего из Петрограда в Москву, одного солдата персидской армии.

Он рассказал мне еще подробность про взрыв.

После взрыва солдаты, окруженные врагами, ждущие подвижного состава, занялись тем, что собирали и составляли из кусков разорванные тела товарищей.

Собирали долго.

Конечно, части тела у многих перемешали. Один офицер подошел к длинному ряду положенных трупов.

Крайний покойник был собран из оставшихся частей.

Это было туловище крупного человека. К нему была приставлена маленькая голова, и на груди лежали маленькие, неровные руки, обе левые.

Офицер смотрел довольно долго, потом сел на землю и стал хохотать… хохотать… хохотать…

В Тифлисе – я возвращаюсь к своему пути – было сделано одно преступление.

Послали броневой поезд куда-то разоружать солдат и убили пулеметным огнем несколько тысяч.

Броневой поезд ездил вообще по линии, как-то самоопределившись, и его обвиняли во многих убийствах.

Я всунулся в вагон и поехал на Баку.

Вся станция разнесена буквально вдребезги.

Били ее, очевидно, ожесточенно и долго.

Воды на станции не было.

Следы крушения попадались довольно часто.

Я вспоминаю сейчас другую дорогу: караванный путь через Кущинский перевал на Дильман.

Этот путь шел через земли курдского хана Синко…

Туда я ехал ночью на автомобиле. Дорога была усеяна с обеих сторон костями.

Два-три скелета еще имеют несколько кусков кровавого мяса.

Глаза волков блестели при свете фонарей совсем низко над землей. По три пары рядом. Одна пара повыше, другая ниже. Волки были довольны.

Обратно у меня сломался автомобиль под Дильманом, у той скалы, на которой есть барельеф, изображающий каких-то всадников, очевидно эпохи Селевкидов.

Я из упрямства пошел пешком. Было уже лунно. Караваны по ночам там не ходили, боясь грабежей.

Я прошел всю дорогу, слушая речку, то поднимаясь над ней, то идя по воде.

Шел, вспоминая рисунки детских книг, изображающих путь каравана.

И в самом деле, только лошадиными и верблюжьими костями отмечены эти пути.

Так же был отмечен путь наших эшелонов.

Перевернутые вагоны как-то правильно размеряли путь.

Едущие офицеры были уже без погон.

От Баку я поехал на крыше. Было холодно и неспокойно, хотя я и был привязан к отдушине.

Под станцией Хосав-Юрт нам сказали, что все водокачки уничтожены.

Мы наливали воду в паровоз котелками.

Начальник станции – усталый, затерянный в степи, ошеломленный всем этим потоком самих по себе идущих людей.

Он нам сказал: «Только что прошел в сторону Червонной (может, ошибаюсь в названии) поезд. Если хотите ехать, поезжайте; но я не советую».

Мы, конечно, поехали. Мне удалось попасть в вагон. Проехали верст двадцать. За окнами – снежная буря. В вагонах темно.

Вдруг удар.

Сундучки, сумки, все летит; но не на пол – весь пол покрыт мозаикой из людей, – а на головы.

Поезд остановился.

Почти все в вагоне сидят спокойно, боясь потерять свое место.

Я вылез из вагона, спрашиваю: «Что?» Говорят – крушение.

Оказалось, что впереди нас шел другой поезд.

У него чего-то не хватало, кажется дров. Машинист оставил состав и поехал на станцию.

Кондуктор забыл выставить фонарь.

Мы врезались в задние вагоны.

Перед нашим паровозом лежала какая-то куча досок и торчащих колес.

Слышно было лошадиное жалобное ржание, кто-то стонал.

Все бросились к локомотиву: «Цел ли паровоз?»

Из паровоза шел пар, он сипел.

Вторая мысль – очистить путь и ехать, ехать.

Разбитыми лежало перед нами штук пять двухосных вагонов.

Громадный, американский, с железным остовом товарный вагон не был разбит, а только стоял дыбом. Из него был виден свет.

Спрашиваем: «Живы?» – «Все живы, только одному голову размозжило».

Нужно расчищать путь.

А все люди, отдельные люди, – кому командовать?

Стоим, смотрим.

Выручил кондуктор. Начал приказывать.

Достали у казаков, едущих на переднем поезде, веревок и начали валить вагоны в стороны. Очищая путь, берегли только один путь из двух – путь домой.

Работали немногие, но усиленно. Станы колес одергивались одним рывком.

Раскачав, повалили набок стоящий дыбом вагон. Из-под обломков вынули раненых.

В это время к переднему поезду подошел паровоз, и он тронулся.

Попробовали наш. Он запищал, но тронулся.

Свисток. Идем по вагонам. В темноте сидят неподвижные люди. «Едем?» – «Едем».

К утру были у станции Червонная.

Это уже начинались казачьи станицы.

На платформе виден белый хлеб.

Кругом кудрявыми деревьями стоят кверху распущенные столбы дыма.

Горят аулы, станицы горят.

Седые казаки с берданками за плечами ходят по вагонам и просят патронов и винтовок.

Молодые еще не приехали, станицы почти безоружны.

Правда, недавно казаки разграбили какой-то аул и пригнали оттуда скот, но сейчас их ограбили.

Вызывают охотников остаться на защите. Предлагают двадцать пять рублей суточных.

Два-три человека остаются.

Когда несколько дней перед нами ехала горная артиллерия, в это время как раз нажимали чеченцы.

Население на коленях просило батарею задержаться и отогнать огнем неприятеля. Но она торопилась.

И мы проехали мимо. Оружия не было почти ни у кого.

Едем дальше. Днем дымные, ночью огненные столбы окружают нашу дорогу. Россия горит.

Петровск, Дербент, потом опять станицы.

Россия горит. Мы бежим.

Около Ростова, у Тихорецкой, наша группа раскололась: одни пошли на Царицын, обходя Дон, другие поехали прямо.

Через земли Войска Донского ехали тихо. Сжавшись, сидели на вокзале. Кадеты осматривали солдат. Продавали какую-то газету, где были напечатаны расписки в получении немецких миллионов, подпись – Зиновьев, Горький, Ленин.

Проехали. У Козлова услыхали стрельбу. Кто-то в кого-то стрелял. Не отошли от поезда. Мы бежали.

Много битый начальник станции не давал паровоза. Нашли и взяли дежурный. Из публики вызвался машинист. Все жаловался, что не знает профили пути.

Поехали – довез. Велик Бог бегущих.

Въехали в Москву. Москва ли это?..

Гора снега. Холод. Тишина. Черные дыры пробоин, мелкая оспа пулевых следов на стенах.

Я торопился в Петербург.

Был январь. Я вылез из поезда, прошел через знакомый вокзал.

Перед вокзалом возвышались горы снега, льда.

Было тихо, было грозно, глухо.

От судьбы не уйдешь, я приехал в Петербург.

Я кончаю писать. Сегодня 19 августа 1919 года.

Вчера на Кронштадтском рейде англичане потопили крейсер «Память Азова».

Еще ничего не кончилось.

Заметки о казарме

Теперь, когда я это пишу, общее положение уже изменилось; не знаю, скоро ли и как скажется эта перемена в казарме.

Первые дни революции та военная часть, одним из выборных которой я являюсь, прожила дружно. Волынцы разбили нашу гауптвахту; освобожденные арестованные прибежали в свою команду, и люди вышли и присоединились к восстанию, несмотря на то что на каждую сотню человек у нас не было и двух винтовок. К вечеру большинство людей было вооружено. Мы обыскивали чердаки, арестовали министров (двоих), ставили караулы. Не буду говорить о боевой работе части, очень важной (наша часть военно-техническая), все это кажется таким далеким. Скажу одно, караулы стояли крепко, и дневальные мерзли на постах, когда не хватало смены, но не уходили; команда была на местах и в любую минуту ее можно было поднять на ноги. Я не буду рассказывать, как изменялось положение, напишу прямо, как обстоит дело сейчас. Известно, что Петроградский гарнизон не признавал Временного правительства, а только терпел его существование; приказы Корнилова и Гучкова читались на собрании, выслушивались недружелюбно и «не принимались к сведению» (буквальная резолюция одной команды). Приказы Совета, конечно, выполнялись бы, но признавая Временное правительство, которое он поддерживал «постольку, поскольку», Совет руководил нами через Временное правительство, а мы не признавали Временного правительства. Мы приходили к Временному правительству и видели, что оно действительно временное, но править нами не может. Совет же считал себя не в праве управлять нами. И вот поскольку Временное правительство действовало в видах и целях Совета с. – р. и с. – д., постольку эти виды и цели не выполнялись нами, солдатами, верящими Совету как, может быть, никто еще никогда не был предан какому бы то ни было правительству.

Потом мы пережили дни 20 и 21 апреля, и не спали две ночи и целый день звонили во все команды и узнавали, могут ли еще выборные удерживать своих товарищей от выступления. Ночью 21 апреля на заседании дивизионного комитета мы единогласно, при одном воздержавшемся, похоронили формулу «постольку, поскольку», подтвердили свою верность одному Совету и вынесли резолюцию с просьбой к нему организовать власть в стране, с просьбой о создании коалиционного правительства[21]. В каком же положении находится сейчас, не скажу армия, скажу, что знаю, петроградский гарнизон? Гарнизон разболтан и расхлябан безначалием. Есть запасные батальоны, которые ввели 25-процентный отпуск. Дезертирства немного, но по своей команде я знаю, как плохо несут службу посты; я знаю случаи ухода дневальных, добросовестные люди команд сбиваются с ног, но многие петроградские казармы обращаются в ночлежные дома для днем расползающихся по городу товарищей солдат. Отказов ехать на позицию в такой части нет, люди едут, но это делается не точно. Вопросы обмундирования раздуваются в конфликты, и я знаю случай отказа ехать до выдачи кожаного обмундирования. И в то же время никнет интерес к общим вопросам, уже трудно собрать кворум для общего собрания. Настроение падает, а организация еще не сильна. Мы не оправдываем себя, мы знаем, и мы, выборные, сидящие в командах, виноваты, но нам не помогают. Мы не имеем опоры во всех своих частях, люди со стороны помогают нам слабо. Мы не имеем связи. Агитаторы, которых я видал в казармах, почти все работают неумело, или умело, но не хорошо. Я видал на митингах, как товарищи солдаты большевики

[21] Речь идет о позиции Петроградского Совета. Совет поддержал создание Временного правительства в марте, но поддержка была условной, связывалась с выполнением определенных требований, поддержка «постольку поскольку» Временное правительство выполняет соглашение с Советом. В ходе Апрельского кризиса выяснилось, что соглашение первого этапа революции не работает. Поэтому одни стали требовать коалиционного правительства, а другие – полного взятия власти Советами.

и меньшевики, люди одного класса, забранные рабочие, уроженцы одного города улюлюкали друг на друга, и я два раза видал, как раскалывается на двое военный митинг. Агитаторы не рассказывают товарищам, что такое социализм. Они сразу делают их большевиками или меньшевиками. Между тем сейчас необходима не фракционная агитация, а пропаганда. Не возбуждение солдат потому, что возбуждение упадет и даст только усталость, а помощь им в создании сильной организации.

Как предотвратить развал фронта

Массовый самовольный уход солдат с фронта – это худшее, что может произойти с Россией. Помимо полного военного разгрома, это обозначало бы и голодный мор среди уходящей армии, так как армия может самовольно сняться с места, но дойти до дома не может, а погубит только себя, замкнув пробками дороги, умрет с голоду в разграбленной стране.

На том участке фронта, где я был две недели тому назад, дезертирство было минимально, – не выше, чем в дореволюционное время, боевые приказания выполнялись хорошо, устойчивость под огнем неприятеля была тоже хорошая, но и этот лучший из фронтов, про который можно сказать, что он боеспособен, нуждается в самых решительных мерах, проводимых из центра, и при продолжении старой политики должен потерять боеспособность, и последние вести оттуда очень не хороши[22].

---

[22] Здесь можно привести отчет о выступлении Шкловского в Петроградском совете после его возвращения с фронта. Цит. по: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году: в 4 т. М.: РОССПЭН, 2003. Т. 4. С. 64–66.*«Отчет газеты „Голос солдата“ о заседании солдатской секции*В Таврическом дворце 21 июля под председательством В. З. Завадье состоялось заседание солдатской секции Петроградского Совета р. и с. д. Порядок дня был назначен следующий: доклад делегатов Петроградского Совета р. и с. д., помощника комиссара одной армии Виктора Шкловского о событиях, происходивших на фронте в дни наступления и затем отступления. Доклад Центрального [Исполнительного] Комитета о текущем политическом моменте. Вопрос об организации Петроградского гарнизона и расформировании некоторых полков.Доклад Шкловского. Помощник комиссара Виктор Шкловский (рядовой броневой команды) во время последнего наступления шел во главе полка, принимал участие в штыковом бою, был ранен навылет в живот и награжден за храбрость Георгиевским крестом. Появление Виктора Шкловского на трибуне было встречено шумными и продолжительными аплодисментами.Армия, в которую я был послан, не бежала, а лишь отступила вследствие того, что оказался обнаженным один из ее флангов. Противник, главным образом австрийцы, был очень слаб и бежал от одного артиллерийского огня, но, к сожалению, вследствие преступной агитации бежали и некоторые части нашей армии, а в ближайшем тылу царила паника. В тылу делалось все, вплоть до бросания гранат, чтобы вызвать эту панику. Кто же может спасти армию? Только демократия. Авторитет Петроградского Совета р. и с. д., а также Центрального [Исполнительного] Комитета очень велик. В армии популярен голос демократии. Когда один из полков под давлением преступной агитации отказался наступать, я пришел в этот полк, переговорил с солдатами, и полк пошел в наступление и геройски исполнил возложенное на него обязательство. Докладчик констатирует безотрадный факт. На фронте некоторые корпуса по числу людей меньше некоторых запасных батальонов тыла. И потому в армии существует озлобление против тыловых солдат. Пополнение фронта необходимо, но пополнение должно состоять из вполне обученных солдат, иначе пополнения эти могут принести только вред фронту. Были случаи, что плохие пополнения вносили дезорганизацию в прекрасные полки.Австрийская армия не существует. О наступлении Виктор Шкловский говорит следующее: австрийская армия почти не существует, по крайней мере в той части фронта, где ему приходилось быть. Наши разведчики заставы вступали в бой с целыми полками австрийцев в горах и выходили из этого неравного боя победителями. 12-й наш корпус во время боя захватил больше неприятельских пулеметов, чем было у нашего корпуса. Германские солдаты теперь не те, что были раньше. Кроме того, на нашем фронте германцев, в сравнении с нами, незначительное число. Наши солдаты идут в наступление смело, но неумело. Не дождавшись окончания артиллерийской подготовки, они часто переходят в наступление, берут 9 рядов проволочных заграждений, проявляют безумную отвагу и несут большие потери. Все это свидетельствует, что в тылу солдатам не дают достаточной воинской подготовки. Воевать, рассчитывая на один энтузиазм, на одни красные знамена и комиссаров, нельзя. Война – это большое промышленное предприятие, которое, прежде всего, требует умелой организации.О смертной казни. Далее докладчик говорит о смертной казни. Смертная казнь у нас фактически существовала и до введения ее распоряжением правительства. Выражалась смертная казнь в том, что в окопах, при неравных силах, гибли наши лучшие сыны родины, лучшие полки, в то время как остальные покидали окопы и уходили глубоко в тыл. Это была самая ужасная казнь. Казнь лучших людей, лучших граждан родины. Мы не должны позволять, чтобы так продолжалось дальше. Мы должны обеспечить жизнь лучших солдат, лучших полков, и это только можно сделать при условиях строгой воинской дисциплины, поддерживаемой иногда репрессиями вплоть до смертной казни.Офицерский состав. Докладчик заявляет, что офицерский состав на фронте ни в коем случае не контрреволюционен. Конечно, под влиянием последних неудач, во время которых погибло много офицеров, существует некоторое озлобление. Сильное озлобление на фронте наблюдается против большевиков и членов партии народной свободы. В одну армию приехал член Временного комитета Государственной думы, но мы вынуждены были его предупредить, что не можем гарантировать ему жизнь, если он начнет появляться в полках как представитель своей партии.Братание и публичные дома. Тяжелое впечатление производит на солдат часть доклада Виктора Шкловского, в которой он говорит о братаниях на фронте. Ему пришлось видеть специальные руководства для братания, разработанные Германским штабом. Достаточно охарактеризовать братание тем, что между русским и неприятельским расположением неприятелем устраивались публичные дома. Дальше в разложении армии идти было некуда. Мы не знаем, насколько развратилась армия нашего противника. Я не допускаю, что австрийская армия болеет более, чем наша армия. Докладчик протестует против того, что будто бы на фронте имеются большевистские полки. Это неверно. Там имеются кучки бывших городовых

Для армии необходима прежде всего энергичная политика правительства, направленная к достижению мира, чтобы солдаты знали, до каких пор они воюют и за что они воюют. Идея мира во что бы то ни стало еще не овладела ушами лучшей руководящей части армии, но она живет в солдатской среде. Я знаю много случаев, когда отдельные солдаты уговаривали прифронтовых крестьян прятать и не давать хлеб для армии, чтобы голод заставил прекратить войну. Мы знаем, насколько тяжело положение России и как слабо звучит ее голос в мировой политике, но нужно приучаться бояться не только того, что будет в случае ведения нами решительной политики мира, но бояться и того, что уже есть при теперешней политике. Престиж революции падает. На исходе доверие правительству, на исходе доверие к партиям. Падало доверие и к комитетам, сейчас поднятое немного их энергичной работой в корниловские дни. Энергичная политика должна вестись во что бы то ни стало, чтобы лозунгом массы не стало бы бегство с фронта. Долг всех партий пред лицом фронта, крушение которого будет не «гибелью», а фактическим уничтожением огромной части России, объяснить, что значит мир за счет России, объяснить, что среди нас нет пораженцев, что нельзя бросить фронт, что ни у кого из нас нет мира в кармане. Второй вопрос – вопрос снабжения. Сейчас фронт одет хуже тыла. Во что бы то ни стало весь фронт должен получить теплую одежду и сапоги, а не ботинки, годные для тыла. Бунтующиеся полки босы, полки, отказывающиеся исполнять боевые приказы, больны. Вопрос снабжения, вопрос – решающий: голые воевать не будут. Вопрос снабжения очень сильно облегчился бы при проведении плана Верховского об уменьшении численного состава армии. Командный состав должен быть обновлен, так как авторитет его подорван, эта смена должна производиться из центра во избежание широкого развития демагогии и заискивания перед массами. Выборное начало невозможно; в свою очередь центр должен занять в этом деле честную и демократическую позицию, т. е. действительно удалять виновных генералов, а не убирать их на время, чтобы они появлялись потом в другой армии, как это было прежде. Политические партии через свои газеты должны стараться улучшить положение младшего офицерского состава, который сейчас, измученный тяжелым положением, стиснутый недоверием масс, все-таки не пошел за Корниловым. Пора понять, что офицерство не контрреволюционно, но и не революционно, оно в массе вне политики. А между тем сейчас оно на пороге отчаяния; при наступлении многие офицера платили большие по их средствам деньги за место в ударном батальоне, посмотрите процентное отношение раненых солдат и офицеров, и вы увидите, что офицерство ищет смерти.

Армейские организации должны занять по праву принадлежащее им место, так как мы им обязаны сравнительным порядком в армии. И это было сделано тогда, когда половина энергии армейских комитетов уходила на отстаивание своего существования. В данный момент только с их помощью можно провести необходимую демобилизацию.

и жандармов, вкрапленные в воинские части и развращающие эти части. Так называемые большевистские полки до революции были самыми черносотенными полками. Вообще надо заметить, что на фронте социалистов мало, даже несмотря на то, что из газет там, главным образом, имела распространение „Правда“. Других газет было очень мало на фронте, и [их] почти совсем не получали солдаты. В заключение докладчик призывает представителей Петроградского гарнизона к жертвам. Возможно, что всему Петроградскому гарнизону придется уйти на фронт.Докладчику В. Шкловскому, ввиду тяжелого ранения, от которого он еще не совсем излечился, очень трудно говорить. Бледный он покидает трибуну, члены собрания устраивают ему овацию.Резолюция. По предложению председателя солдатской секции В. З. Завадье по поводу доклада помощника комиссара армии В. Шкловского единогласно принята следующая резолюция:Заслушав сообщение т. В. Шкловского, помощника комиссара Н-ской армии, солдатская секция Петроградского Совета р. и с. д. приветствует своего представителя, геройски выполнившего свой революционный долг и шедшего во главе полка в штыковую атаку и за ранение и подвиг награжденного Георгиевским крестом. Вместе с ним собрание приветствует в лице т. Шкловского армейские комитеты и флотские организации в их самоотверженной и беззаветной обороне революции и родины и еще раз подчеркивает, что только усилиями этих революционных солдатских организаций можно создать боеспособную армию».

Положение об армейских организациях должно быть, наконец, издано, что особенно важно для полковых комитетов, сейчас часто делающих грубые ошибки из-за полного отсутствия всяких инструкций и весьма ощутимой бедности в людях.

Необходимо решительным образом реорганизовать тыл, – сейчас так скупо присылающий на фронт пополнение, так часто голое и почти всегда не обученное и нравственно больное.

Советы солдатских депутатов должны услышать голос фронта, измученного и даже озлобленного на своих же товарищей солдат.

Гарнизоны должны быть сокращены, все негодное для фронта отпущено, все годное по возможности отправлено на фронт, для чего караульная служба должна быть сокращена до минимума, так как мы все знаем, что это за караулы и чего они сейчас стоят. Необходимо уменьшить и в то же время укрепить армию. Советы солдатских депутатов должны сделать это или помочь это сделать другим.

Но прежде всего борьба за мир. Сделайте так, что если война неизбежна, пусть ясна будет эта неизбежность каждому окопнику. Фронт в опасности, в опасности вся Россия, но в массах есть еще возможность подъема; при подавлении мятежа Корнилова войска подобрались и воодушевились. Как это ни странно, один корпус самовольно перешел в довольно удачное наступление, требований же наступления было несколько. Если верить и делать то, во что мы верим, то еще можно ждать лучшей участи.

Бои на Днепре

Мы почти не знаем, что происходило и что происходит на бесчисленных фронтах России. Военная сводка дает только указание места, которое сейчас занимает какая-нибудь Энская армия, а что́ там, ка́к там, остается неизвестным.

Военному корреспонденту тоже редко удается схватить быт данного фронта и, что еще важнее, быт того края, через который проходит этот фронт.

Трудно будет писать историю русской революции, но не это важно: мы живем не для истории, важно то, что мы и сейчас не понимаем всей пестроты России, всей разнохарактерности фронтов, всего того, что предрешает то победу, то поражение.

Мне пришлось посетить Херсон летом этого года. Революционная история Херсона так запутана, что самые жители города сбиваются, рассказывая ее.

Приблизительно эта история такова. После Керенщины в городе недолго продержалась власть рады, единовременно заседали и дума и совет, в которых украинцев было мало.

А с фронта стекались демобилизовавшиеся солдаты, им дали работу – срывать старые крепостные валы. Работа шла слабо, все время происходили столкновения из-за вопроса о плате. Наконец, вспыхнуло восстание, и фронтовики захватили город. Образовался совет пяти, в котором, между прочим, участвовал какой-то румынский поп.

Совет фактически власти не имел. Политических партий в среде фронтовиков почти не существовало. Они стремились к солдатской «справедливости».

Трудно разобраться в этой путаной истории, но ясно одно, – буржуазии города «справедливость» не понравилась, и она вызвала немцев из Николаева.

Немцы приехали на автомобилях и заняли город по-своему.

Фронтовики собрались толпами и прогнали немцев. Началась фантастическая защита города.

Не было никакого командного состава, то есть кто-то командовал, но никто команды не слушал. Днем выходил кто хотел с винтовкой и садился, где хотел в окопе за городом. Ночью почти все расходились. Если наступали немцы, то по городу посылали людей с трубами, трубили сбор и люди выходили на валы. Немцы наступали большими силами, но бои все-таки продолжались более двух недель. Наступали и австрийские части и как всегда переходили массами.

Местность под Херсоном открытая и идет в гору – позиции были хорошие.

К концу боев подошли из деревень крестьяне и собирались принять участие в защите. Но пришли они нерешительно, постояли в городе со своими возами, а потом ушли, говоря: «Вам хорошо, вы можете уйти, а мы хозяева».

В конце концов, несмотря на поддержку подошедшего матросского отряда, город был взят. Фронтовики защищались в самом городе в старых валах, но были разбиты.

Немцы объявили, что дом, в котором будет найден хоть один патрон, они сожгут дотла.

«Справедливость» кончилась, начался немецкий «порядок».

Те, кто был на Украине во время конца гетмановщины, помнят, как внезапно истлела немецкая прочность.

Ушли немцы. Немцев в Херсоне сменила антантовская оккупация. Французы, греки и англичане. Больше всего в Херсоне стояло греков[23]. Они держались в центре города, так как на окраинах уже заезжали разъезды повстанцев и пользовались ненавистью и презрением всего города.

---

[23] *Больше всего в Херсоне стояло греков.* – В составе экспедиционного корпуса Антанты, высадившегося на Черноморском побережье в ноябре 1918 г., были также и греческие войска.

Рассказывают об их пехоте с походкой старцев и о кавалерии на ослах. Ненависть эта объясняется тем, что греки превысили даже ту меру притеснения, к которой привыкла все видевшая Украина.

Греками была собрана в амбарах на набережной целая толпа херсонцев, не то в качестве заложников, не то в качестве арестантов.

Амбары были деревянные. Во время боя греков с атаманом Григорьевым[24] амбары вспыхнули и сгорели вместе с людьми. Среди сгоревших были женщины. Греки мер к спасению не приняли.

Греков выбивал из Херсона атаман Григорьев. Вместе с ними ушли почти без боя и французы. Англичане еще раньше сели на суда.

К лазарету, в котором лежали раненые греки, подъехали с дровнями и сказали, что пришли убить и увезти греков. Но удалось уговорить не трогать раненых. Григорьев пришел еще, как сторонник советов. После него в городе держалась советская власть. К осени, к поре, когда поспела кукуруза, со стороны Крыма пришли белые. Белые на Украине – явление сезонное, они всегда являются к осени.

Пришли белые, заняли город и сразу обнаружили свое неумение что-нибудь наладить. Самым прочным воспоминанием о них осталась лезгинка со стрельбой в воздух. Херсон они почти не ограбили, не то что г. Елизаветград, который ободрали и выскребли.

По обвинению в заговоре против белой власти расстреляли несколько человек, в том числе одного мальчика, левого с. – р. Полякова, лет 17[25]. По официальному сообщению, Поляков умер с криком: «Да здравствует советская власть». Тело его, как и тела других расстрелянных, было повешено на фонарном столбе и так висело несколько дней.

Дети, идя в школы, собирались вокруг повешенного за шею трупа и стояли долго кучками.

Перед уходом белые мобилизовали гимназистов. При паническом бегстве они бросили этих детей, и потом родители разыскивали их на брошенных и замерзших на Днепре судах и привозили в город в женских платьях.

Масса беженцев и раненых погибла от морозов. Через два-три дня после ухода белых вошли советские войска.

Вот краткая история города Херсона, один из кусочков истории Украины, за время от керенщины до весны сего года.

---

[24] *...с атаманом Григорьевым*. – Войска атамана Григорьева штурмом взяли Херсон в мае 1919 г.

[25] *...левого с. – р. Полякова*… – Упоминаемый Шкловским Поляков – очевидно, М. П. Поляков, член николаевского подпольного временного комитета РКП(б).

На Врангелевском фронте

На Врангелевском фронте я был в самом начале его появления – в июне, начале июля.

Самое характерное в нашем днепровском участке фронта было то, что он появился внезапно, среди поля.

И штаб, и обоз, и инженерные части – все это организовывалось в боях на скорую руку. Поэтому многое, что я напишу, относится не к Красной армии вообще, а к Красной армии на нашем участке фронта.

Часть, в которой я находился, была из войск внутренней охраны. Состав солдат – питерцы, псковичи, новгородцы. Несмотря на то что мы стояли в богатой деревне, где было много молока и сала, солдаты тосковали по северу и говорили: «В Питере лучше». Солдаты были все больше старослужащие, многие из военнопленных, почти те же солдаты, которых я видел в ту, прошлую войну.

Но люди изменились, – они как-то истолковывали все к лучшему, старались извинить недостатки положения, не винили никого, не озлоблялись на командиров.

Особенно это меня поразило во время разведки. Мы должны были ночью плыть через Днепр в составе приблизительно 30 человек. Для переправы в стороне от деревни, в которой мы стояли, были, как нам сказали, приготовлены лодки.

Приехали туда на подводах, сошли с высокого берега к тихой воде Днепра… Лодок нет.

Приехал какой-то кавалерист в черной бурке. Это ему было приказано приготовить все для переправы.

Сказал: «Сейчас все будет». Ускакал. Опять приехал и сказал с сильным кавказским акцентом: «Лодки есть близко». Пошли, приходим – есть три лодки, а весел нет. Достали какие-то обломки весел у изб рыбаков, по паре на лодку.

Нужно торопиться, нужно вернуться до рассвета.

Поехали.

На середине Днепра вода, бывшая в лодке, поднялась почти до скамеек, в то же время к нам подплыла другая лодка; в ней были мобилизованные коммунисты, пошедшие с нами на разведку. С этой лодки тихо говорят нам (неприятель на том берегу, а на воде слышно далеко): «Тонем». И действительно тонут. Поехали они обратно и еле доехали, отчерпались шапками и переправились на тот берег. Вылезли. Разведка наша кончилась тем, что мы заблудились.

Я оттого так длинно рассказываю про эту неудачную разведку, что в таких случаях, когда каждый чувствует, что нас путают, ничего не идет толком, происходит проверка доброй воли солдат.

Я видел сейчас только маленький кусок фронта и притом фронта, составленного из наспех развернутых частей, и не могу сказать, хорошая ли армия Красная армия, но знаю одно, что она очень хочет быть хорошей армией.

Вот почему она выдерживает ошибки и поражения.

Я не могу сказать, что отношение между нашими солдатами и крестьянами деревень, в которых мы стояли, были хорошие, но отношения красноармейцев к крестьянам были хорошие.

За время революции крестьянство Новороссии сильно поправилось и подравнялось. Бедняки разбогатели, кулаки превратились в помещиков. И если деревня и нуждалась в чем, так это в рабочем скоте.

Мы били деревню по больному месту. Передвигались войска, и нам приходилось брать подводы, а шла косовица – уборка хлеба.

Деревня давно ничего не видала от города и уже научилась обходиться без него. Мы были ей в тягость.

В деревне, в которой мы стояли, в первую же ночь прихода на нашу часть напали переправившиеся белые, которых, как мы узнали, местные жители подвезли с лодок на подводах. Мы случайно отбились, благодаря тому что вовремя подошла одна наша маленькая команда, которую белые приняли за подкрепление.

А у Врангеля в тылу шли тоже восстания крестьян. Крестьяне и мобилизованные бежали.

Десятки властей, прошедших через Украину, приучили крестьянина к недоверчивому отношению ко всякой власти. Когда мы переправились через Днепр в казачьи лагеря, оттуда по песчаным буграм наступали на Алешки[26], то навстречу к нам выходили из изб и спрашивали: «Когда же вы кончите?»

Это настроение значительной части крестьянства есть нечто гораздо более серьезное, чем выступления Врангеля.

Войска Врангеля очень хорошо вооружены, у них изобилие пулеметов и автоматических ружей, много броневиков, но как это ни странно, на нашем фронте не чувствовалось у них изобилия артиллерии, – скорее мы подавляли их количеством выпускаемых снарядов.

Войска его состояли из офицерских отрядов, приходили к нам перебежчики унтерофицеры и говорили, что солдат у Врангеля мало. Есть кавалерия, мы видели кавалеристов с черными погонами, с белыми просветами – по всей вероятности, это были остатки дикой дивизии[27]. Эта дивизия когда-то была в составе 3-го кавалерийского корпуса, которым командовал генерал Врангель во время корниловщины. Эти отряды в высокой степени способны к маневренной войне и обладают тем качеством, которого так не хватает нам: умением поддерживать связь. О выдержке их можно составить себе представление по тому, что они допускают наши части к своим пулеметам на 2–3 десятка шагов, не открывая огня.

Но эта армия имеет все отрицательные стороны армии специалистов. Это наемники. Война их занятие, занятая земля для них земля завоевания, и они быстро приучают население жалеть об ушедших красных войсках.

Белые войска возят с собой залог своего поражения.

---

[26] *...наступали на Алешки…* – С 1928 г. Цюрупинск.

[27] Кавказская туземная конная дивизия, более известная как «Дикая дивизия», – кавалерийская дивизия, одно из соединений русской армии, сформированная 23 августа 1914 г. На 90 % состояла из добровольцев-мусульман – уроженцев Северного Кавказа и Закавказья.

В пустоте…

Про Херсон скажу мало: «смотри Энциклопедический словарь». Продукты дешевые, но цены уже небось переменились. Молоко густое. Город жаркий. Днем никто не гуляет, ночью ходить запрещено. Гулять можно, значит, только часа два. Вываливает весь город на уже темную улицу. Мужчины одеты в платья из мешковины, женщины побелей, все почти в деревянных сандалиях! Тьма улицы увеличивается густыми тополями.

Женщины видны как смутные пятна. Ну, конечно, река в городе, за рекой плавни.

Врангель пришел внезапно[28]. Я был за рекой в Алешках… А за Алешками степь до Крыма… Городок никакой.

Раз утром увидел, что начали свертываться лазареты, потом появились стада, которые гнали красноармейцы… Гнали быстро. Пароход перестал ходить в Херсон… Начали грузить баржи… Никто не говорил ничего, но чувствовался отход… отход… и что вот начнется бегство.

На пристани комиссары ссорились из-за лодок и угрожали друг другу оружием… Жались к реке…

Я достал с трудом лодку, отчалил не от пристани, а из болота и поехал в Херсон. К вечеру Алешки были заняты разъездом.

Если бы кто-нибудь подумал о том, как развалился красный фронт на Перекопе и как внезапно врангелевцы растеклись по степи, то было бы ему трудно понять что-нибудь…

Никто ничего не думал.

Город был умерен во взятии, войск не было. Объявили мобилизацию профсоюзов. Меньшевики и эсеры объявили партийную мобилизацию. Я встретился со старыми товарищами по первому Петроградскому Совету и пошел по мобилизации меньшевиков. Собралось нас человек пятнадцать, из них ни одного рабочего. Эсеров было человек десять, из них рабочих человека два. Оставил я жену в больнице (она была сильно больна), и на телегах поехали мы куда-то, куда нас послали, верст за двадцать от города.

Ехали… Ехали… Степь… По дороге встречаем огромные телеги, полные евреями, уходящими от погрома в еврейскую земледельческую колонию «Львове».

Они шли от будущего погрома.

Нигде не чувствуется война… Войск не видно… Мосты не охраняются…

Приехали в деревню Течинку и стали здесь по халупам. Деревня большая, улица широкая. Вечером ротный командир катается на бричке тройкой…

Расскакавшись, лошади могут повернуть на улице некрутой дугой и снова скакать назад.

Перед нашей деревней развалины турецкой крепости, но полуострове стоит она, а за рекой другая большая, большая деревня «Казачий лагерь», белая деревня, т. е. белые в ней стоят. И церковь белая, и хаты. И у нас церковь белая и белые хаты.

Одним словом, ни по климату, ни по народонаселению правый берег не отличался от левого.

Пустота… Каменные бабы у церкви, распаханные курганы в степи… Зной… У реки прохладно…

Не чувствуется война… Тихо, пусто, пусто. В пустоте бьет наша пушка по белому берегу… Главные действия ожидаются правей, в Каховке…

Пустота, и в поле нет никого. Нет в поле людей, и не на чем им в поле работать: мы забрали всех лошадей…

---

[28] *Врангель пришел внезапно*. – Наступление войск генерала Врангеля из Крыма началось 6 июня 1920 г.

С того берега ночью пришли белые: крестьяне переправили верстах в двух от деревни и подводы приготовили…

Белые вошли в деревню с двух сторон; наши (наши, наши) спали по халупам. Проснулись, стали стрелять, и те стреляли… Потом оказалось, что белые друг в друга стреляли: уж слишком хитро подошли… постреляли и ушли за реку. Одним словом, ни по климату, ни по народонаселению правый берег не отличается от левого.

Крестьяне перевозили с берега на берег белых, они нас не любили. Мы занимали их избы, ели их хлеб. И, вообще, зачем нужны крестьянину эти поиски, которые проходили через его деревню как ветер сквозь рожь.

Позже, из теплушки, когда ехал раненым, видел крестьянское восстание… Из деревни стреляли, кажется, по поезду, потому что звенели телеграфные провода там, где не были повалены столбы. Из вагона было видно, как наступают правильным полукольцом на деревню солдаты, прячась за снопы… Фронт редкий, поле широкое, и казалось, что идти им так через всю широкую Украину – редкой железной граблей по воде…

Нас было мало – «батальон», а в батальоне было человек полтораста и два пулемета, да винтовки не у всех… Пушки стреляли сами по себе.

Охраняли мы берег верст на 25–30. Ночью ходил в разведку… Тонули в реке в дырявой лодке… Потом попали на плавне в молчаливое стадо коров, которые белели во тьме, как платья херсонских дам вечером на главной улице.

Сапог нет, деревянные сандалии, ноги скользят в них от росы… Зашли далеко… у солдат Леменовские бомбы, с которыми они не умеют обращаться, да и терок нет.

Запутались, не нашли неприятеля. Потом потеряли друг друга… Темно… А кричать нельзя… Натыкаешься на теплых приятных коров. Земля сырая… Тростник, подрубленный прошлой зимой на топливо, остер, как битые бутылки.

Выбрались на берег. Всех нет… Считали – двух нет. Ждали до утра, искали… Уехали обратно по розовой воде… Дул ветер, уже теплый.

Двое оставленных приплыли на другой день на связках камыша.

Стояли мирно. Наша компания тосковала. Книг нет. Народ молодой попался, больше студенты-первокурсники. Один только был уже старый еврей-меньшевик, который все хотел уйти к коммунистам и решил все же мобилизацию отбыть с нами. Когда потом ему пришлось брать «Казачий лагерь», он шел и в окопе сидел, только нервничал ужасно и все бегал всех будить, казалось ему, что спят… Солдаты все больше петербургские… Разговор про Петербург… Вспоминают, обратно хотят… Вечером поют на мотив «Спаси господи» «Варяга». Многие были и в Венгрии, и в Германии, и в Сербии даже и все те же, и вечером поют «Варяга». Коммунистов почти нет, и мобилизованных почти не видать. Которые есть, те жмутся в кучку.

Меня вызвали в Херсон формировать подрывной отряд. Поехали вместе с арестованными. Ехало нас четверо: толстый, большой человек, начальник здешней милиции, арестованный за то, что у него при обыске нашли ковры, граммофон, 25 фунтов иголок, а обыскали его за то, что оказался он бывшим полицейским. Вообще его арестовали. Когда его увозили, плакали над ним отец и мать как над мертвым, и брат его приходил и говорил все что-то нашему командиру, стараясь отчетливо шевелить белыми губами. Второй арестованный был мальчик дезертир, вернее задержавшийся в отпуске. Конвойный один с винтовкой, и мне шомпол дали, чтобы и я охранял.

Одет я был в парусинное пальто сильно в талью, в парусиновую шляпу с полями, в деревне ее называли шляпкой, и вид мой запомнился кругом верст на двадцать, сам слыхал, как рассказывали, и еще больше увеличило мой вид тягостное недоумение деревни перед городом.

Конвойный утешал арестованного, а когда тот отворачивался, подмигивал мне на мушку винтовки, – расстреляют его там. Я думаю, что расстреляли. Сидел этот толстый человек (арестованный) на телеге и говорил благоразумные слова о том, что его напрасно арестовали, и обидеться старался, и был испуган, а не бежал.

А я не понимал, почему он не отнял от маленького конвойного ружья и не убежал от нас к белым или просто в степь…

Недоуменное дело.

Приехал в Херсон. Потолкался в штабе. Очевидно боялись отхода, и подрывники нужны были для отступления.

Приехал тоже вызванный с фронта эсер Минкевич, который прежде был саперным офицером, и мы вместе стали собирать отряд.

Стояли мы за городом, в старой крепости, ученье производили во рву.

Собрали мы маленькую горсточку солдат и начали их обучать.

Динамита нет, подрывных патронов нет, провода тоже нет и пироксилина нет. С трудом достали разный подрывной хлам и начали его подрывать на авось. Занятие подрывника странное. К взрыву можно привыкнуть, даже скучно, когда его нет.

Взрыв – приятное дело. Из земли выходит большое плотное дерево, туго побитое дыбом… стоит… потом вдруг просыпается на землю дождем камней. Если лежать недалеко от горна, то в глазах скачут красные мальчики.

Жили тихо. Раз только, взрывая деревянный мост, спалили его по ошибке; солдаты работали на пожаре отчаянно, на некоторых стлело платье, хотя они и окунались поминутно.

Было досадно, мы хотели сделать все аккуратно, а мост сгорел. Очень огорчились солдаты, они могли бы взорвать весь город, не огорчившись, а здесь ошибка техническая. Они страдали над нашим техническим преступлением…

Раз чуть не взорвались все.

Производили учебный взрыв, да за одно и уничтожили брошенные с белых аэропланов и не взорвавшиеся бомбы.

Бомбы бросали белые каждое утро…

Спишь… семь часов утра. Слышно жужжание и звонкий звук, похожий на удар мяча о паркет пустого зала.

Это была бомба.

Значит, уже нужно вставать и ставить самовар.

А иногда обстреливали город.

Как странно выглядит пустой солнечный город, когда по каменным мостовым его прыгают весело звеня обрывки снарядов. И звонким редким барабаном в нем самом слышны отвечающие батареи… Бабы за-балки (пригород) у себя поставить батарею не позволили.

Мы уничтожали бомбу. Решили обставить дело торжественно. Закопали ее рядом с пудом тротила (псевдоним какого-то норвежского взрывчатого вещества, которое мы нашли в складе), бикфордова шнура не было.

Вставили в тротил запал с немецкой бомбы, а к кольцу запала (в сущности говоря, не к кольцу, а к чеке) провели шнурок… Сели за гору, потянули шнурок… притянули весь запал к себе… Пошли, укрепили его камнями (ничего нет), опять потянули, вытянули чеку к себе… Прошло три секунды… Тихо… Провинциально… Небо над нами и белыми голубое… Нет взрыва.

Хоть это и не по уставу, пошли всем скопом смотреть, что произошло… Я и Миткевич впереди, солдаты сзади. Подошли довольно близко. Вдруг мне говорят… Шкловский! Дымок!

Действительно запал пускал легонький дым, как от папиросы.

Без ног прыгнул вперед, вырвал из тротила запал и отбросил его на несколько шагов.

Слабый взрыв… взорвался запал еще в воздухе.

Сел на землю.

Над чепухой России и нашей маленькой ротной чепухой, над нашим тротилом, из которого мы устроили сами себе западню, плыли и, должно быть, кувыркались от радости, что плывут мимо облака…

Взорвался я позже.

Достали мы какие-то цилиндрики, весом в полфунта.

Для запала много, для патрона мало.

Оставлены были эти штучки не то немцами, не то французами.

Решили испытать. Запалы нам были очень нужны… Пытались сделать сами, но было не из чего, а тут ждался отход.

Наши (правый берег) ходили отбивать Алешки…

Из города, который весь на горе, был виден бой… выглядел он странно…

Стоят среди плавень два парохода и дымят…

Входили к Алешкам, но были выбиты. Погибло много матросов из прибывшего отряда; спасшиеся прибежали обратно без сапог и бушлатов.

Маневрировать мы не умели совсем.

Нужно было готовиться к взрыву станции и мостов.

Я пошел один к оврагу пробовать: запалы ли эти цилиндрики или нет.

Пришел. Лошади невдалеке стоят в тени дома. Мальчик где-то виден вдали.

Взял кусочек бикфордова шнура, отрезал на три секунды (срок, обычный для ручной бомбы) и начал вводить его в отверстие на дне патрона.

Отверстие велико. И вообще странный вид, не похоже на патрон, совсем не похоже.

Обернул шнур бумагой, вставил.

Зажег папиросу и, думая о ней (не умею курить), поднес огонь к шнуру.

И сразу взрыв наполнил весь мир, меня опахнуло горячим, и я упал и услышал свой пронзительный крик, и последняя мысль о последних мыслях вырвалась и как будто была последней.

Воздух был туго наполнен взрывом, взрыв гремел еще, я лежал на траве и бился, и кровь блестела кругом на траве, разбрызганная кругом дождем маленькими каплями, сверкающими и делающими траву еще зеленей.

Я видел свои ноги, развороченные через ремни деревянных сандалий, и грудь всю в крови, лошади неслись куда-то в сторону.

Я лежал на траве и рвал руками траву.

Как-то очень быстро прибежали солдаты…

Они догадались, что «Шкловский взорвался».

Послали телегу. Громадный Матвеев, силой которого гордился весь отряд, поднял меня на руки и пошел; под голову мне положили мою шляпку.

Другой солдат Лебединский сел на телегу и все щупал мне ноги с испуганным лицом.

Я дрожал мелкой дрожью, как испуганная лошадь. Прибежал Миткевич, бледный и перепуганный. Я доложил ему, что предмет оказался запалом. Есть правила хорошего тона для раненых. Есть даже правила, как нужно вести себя, умирая.

II

Госпиталь хороший.

Я лежал и дрожал мелкой дрожью.

Дрожали не руки, не ноги… тело на костях трепетало.

Я лежал, замотанный в бинты до пояса с грудью, стянутой бинтами, с левой рукой, притянутой к алюминовой решетке. Правая нога плохо пахнет: чужим, не моим запахом порченного мяса.

Пришел старый хирург Горбенко[29], про которого раненые рассказывали чудеса; пришел, потрогал пальцы, висящие на коже, и не велел отрезать, говорит: «приживут».

Они и прижили.

Приходили товарищи солдаты, приносили солдатские лакомства: мелкие одичавшие вишни и зеленые яблоки.

Сады в окрестностях были реквизированы, ход в них через забор, никто не берег фруктов, но абрикосы уже сгнили, а яблоку было еще не время.

Солдаты любили меня. Я вечерами занимался с ними арифметикой; это помогает во время революции от головокружения. Сейчас они чувствовали ко мне благодарность за то, что я взорвался первый и был как будто искупительной жертвой. Пришел Миткевич. Это был учитель, из правоверных эсеров, очень хороший и честный и жаждущий дела человек. Дела не было… Война и партийная мобилизация, которую он сам провел, дала ему дело, и он был влюблен в свой отряд любовью Робинзона, нашедшего на 18-м году пребывания на острове белую женщину.

Он сказал мне, что в рапорте написал: «…и получил при взрыве ранения числом около двадцати». Я подтвердил эту цифру… Все было как в лучших домах. Приходили студенты меньшевики; они были в унынии; при отступлении от Казачьего лагеря перевернулась лодка, в которой был их лидер, Всеволод Венгеров, они искали его и не могли найти.

Да и сами они измучились от бестолочи командования и суровой жизни рядового без привилегий (они были у меня в отряде, и Миткевич прижимал их основательно).

Скоро у меня по палате оказался сосед. Сосед этот инвалид с ногою, уже давно отнятой по бедренный сустав. Сейчас он жестоко ранен в рот с повреждением языка, в грудь и в мошонку. Когда ему вспрыскивали камфару или вливали физиологический раствор соли, он мычал голосом сердитым и бессознательным. Было жалко видеть его громадное тело, красивые руки и красивое обнаженное плечо, и знать, что тело уже изуродовано ампутацией. Мне о нем рассказала его родственница, сейчас дежурящая над ним; она была старшей сестрой этого же лазарета…

Фамилия раненого была Горбань[30].

Он был прежде эсером, жил на каторге, его там много били, но убить не успели. После революции он вернулся в Херсон, где раньше был кузнецом.

Во время оккупации убил кого-то, стоявшего за немцев, схватив его на улице и унеся к своим (кто были ему свои в то время, не знаю) на расстрел.

Немцы арестовали его и везли на пароходе; он вырвался от них и уплыл, хотя его и ранили. Во время какого-то восстания его ранили в ногу; врача не было; когда достали, было поздно. Ампутировали, потом еще раз, потом еще раз.

Горбенко качал головой, когда смотрел на следы последней операции.

Одноногим Горбань принимал участие в защите Херсона от немцев.

Я тороплюсь к этой защите…

О ней рассказывали мне в лазарете почти все.

Но нужно сказать, как попал Горбань раненым в лазарет.

Он был большевиком, преданным и наивным, работал по землеустройству. Поехал по деревням с агрономом. Поссорились в байдарке (тележке). Я думаю, что у Горбаня был

---

[29] *...хирург Горбенко…* – Горбенко Михаил Дмитриевич (1870–?) – хирург, ординатор губернской земской больницы в Херсоне.

[30] *Фамилия раненого была Горбань*. – Возможно речь идет о С. И. Горбане, деятеле эпохи Гражданской войны на Украине.

не легкий нрав. Агроном выстрелил в него в упор, но прострелил только челюсть и язык, да обжег щеку, потом выбросил раненого из байдарки и выстрелил еще два раза, попал в мошонку и грудь… Уехал.

Раненый лежал на дороге, мимо ехали крестьяне с возами по собственному делу, не подбирали.

Быть может, даже не из вражды, а так – «в хозяйстве не пригодится».

Лежал весь день на солнце…

Потом подобрала милиция.

Привезли в лазарет.

Мы (я и сосед) поправились как профессионалы быстро.

Горбань уже ругался.

Я вставал, хотя пальцы еще гноились, и тело было покрыто опухолями вокруг не вынутых осколков.

Приходили люди, рассказывали. Вспоминали. И вот краткая повесть о защите города Херсона от немцев безначальным войском в году 1917-м.

После того как солдаты ушли с войны, они вернулись по домам.

Вернулись и в Херсон.

Работы не было. Городская дума придумала что-то вроде «Национальных мастерских».

Срывать валы за городом.

Солдаты срывали плохо. Ссорились…

Угрожали захватом города.

Предводительствовали ими какие-то люди, про которых почтенные горожане говорили, что это были каторжники.

Кажется, это никем не оспаривалось. Один из каторжников был из беглых румынских попов. Дума была недовольна работой демобилизованных…

Решили просить немцев занять город. Немцы пришли и заняли город, но их пришло мало, и демобилизованные их прогнали, а потом пошли бить думу. И избили бы на смерть, но в думе кто-то догадался, достал ключи и вынес их на блюде к нападающим как «ключи города».

Нападающие растерялись.

Они про это что-то слышали, не знали, как ответить на этот «организованный шаг».

Никого не убили и взяли ключи.

Каторжники ездили по городу в количестве трех и преимущественно по тротуарам. Но о них скоро забыли.

Немцы обложили город.

Город стал защищаться.

Защищали и солдаты, и почти все горожане, даже те, может быть, которые сочувствовали в свое время думцам, вызвавшим немцев против каторжников. Сделали окопы и защищались.

Херсон стоит в степи. Не подойти украдкой к Херсону.

Ночью не было почти никого в окопах. Разве какой мальчишка стреляет. А если неприятель наступал, то пускали по улицам автомобили (кто их посылал, не знаю), а на автомобилях были люди с трубами.

А услышав трубы, жители бежали на окопы и защищали город.

Дрались так две недели.

Горбань, уже одноногий (впрочем, я путаю все; рассказ этот, который я слышал, относится к более позднему времени, например к эпохе Скоропадского), командовал отрядом конницы, а чтобы он сам не выпал из седла, его привязывали к лошади, о сбоку к седлу прикручивали палку, чтобы было ему за что держаться.

Держался Херсон две недели.

К концу защиты подошли из-за Днепра на возах крестьяне, думали помочь… Посмотрели, уехали, – «не положительно у вас все устроено, а нам нельзя так, с нас есть что взять, мы хозяева», и ушли за Днепр.

Наступали на Херсон сперва австрийцы, сдавались как умели.

Потом подошли немцы – дивизия.

Нажали… Еще раз нажали и взяли город.

Фронтовики заперлись в крепости… и крепость взяли…

Стало в городе спокойно.

Никто не ездил по тротуарам.

А если кто держал винтовку в доме, и найдут ту винтовку, то дом сжигали.

А вокруг города были повстанцы.

Вот и вся защита Херсона, как рассказали мне ее многие люди, солдаты и доктора, сестра милосердия и студенты… И сам Горбань, когда язык его поправился, даже раньше: ему очень хотелось со мной говорить.

И мне он нравился, знал я, что он резал поезда с беженцами и жену ругал, когда поправился.

И про себя говорил (мы долго еще с ним пробыли, и эвакуировали нас из города в город вместе).

Так он говорил… «И я кулачок… я с братом и отцом хутор имею, все хозяйство сам завел, сад у меня какой, хлеба у меня сколько, приезжай ко мне, приезжай, профессор, как кормить буду». Профессором он меня сделал от восторга.

Извиняюсь, что фамилия доктора – Горбенко похожа на фамилию раненого – Горбань, но ничего сделать не могу, так и было.

Что поют на фронте

Всего лучше описывать со стороны. Описывать жизнь, которой не жил. Когда приносишься к своим сапогам и приспособишь ремень к своей винтовке, то уже ничего не видишь, не чувствуешь.

Отсюда в искусстве обычен прием описывания вещей не с точки зрения обычного этих вещей владельца, а с точки зрения пришедшего со стороны. У Толстого этот прием окроплен обычно морализированием, но дается и вне его.

Так, например, написав первоначальный вариант одной вещи (кажется, «Рубки леса»), он вносит в записную книжку: «необходимо ввести волонтера» (Эйхенбаум)[31] – и вводится волонтер как мотивировка свежего видения.

Я не был таким волонтером на фронте (Врангелевском), войну я видел, и вес винтовки возвращал меня в цепь привычных ассоциаций.

Вот почему я не могу написать об искусстве на фронте так, как пишут о нем, и вообще об искусстве в народе, люди, никогда войны и народа не видавшие.

Мы стояли на Днепре, по халупам, встречались в заставах, в разведках, в бою и иногда вечером на поверке.

Часть (отдельный батальон) была дружная, крепкая, очень здоровая в боевом смысле.

Когда собирались – пели, пели с увлечением, очевидно, сам собой организовался хор.

Но новые птицы, новая армия пела старые песни.

Пели Ермака и специально солдатские песни, которые были бы бесстыдны, если бы слова в них не были обессмыслены.

Пели «Варяга», но уже по-новому, на мотив «Спаси, Господи, люди твоя», – очевидно, была потребность использовать знакомый мотив, прежние слова которого перестали быть нужными.

Потом левее по берегу, у кавалеристов на стоянке, ночью, перед переправой, я услыхал «И тучки понависли», но измененные; в припев было вставлено «трещал наш пулемет»; у буденовцев, уже раненым, в лазарете, услыхал я старую песню «Марш вперед, смерть нас ждет, черные гусары», песню не солдатскую, а так же, как «Алла верды», типичную для офицерского собрания; эта песня была изменена, пели «красные гусары» вместо черные.

Солдатский фольклор типа «Заветных сказок» Афанасьева тоже не изменился. Хотя в нем есть следы участия в армии малолетних.

Вот и все, что я видел от искусства на фронте.

Правда, в канцелярии писаря готовили какую-то пьесу из эпохи Парижской коммуны и, лежа на диванах, говорили что-то не натуральными голосами, но до канцелярии было далеко, далеко, как до петербургской редакции.

Революция не ввела в кругозор солдата-красноармейца почти ничего в области искусства, хотя в то же время она необычайно расширила его кругозор и изменила психику.

Прежний темный солдат получил представление о мире, понимает такую, например, вещь, как значение Донского бассейна для него, уроженца Нижегородской губернии, получил громадную жажду к знанию, а песни не изменились.

Песню может изменить певец, во имя песни: во имя революции можно умереть, но нельзя творить.

Кто хочет создать революционное искусство, – пусть создаст искусство.

---

[31] Об этом см.: *Эйхенбаум Б.* Молодой Толстой. Пг.; Берлин, 1922.

Маленький фельетон. Плац

В память древонасаждения в Петербурге на Марсовом поле, 1 мая 1920 года.

В некотором царстве, в некотором государстве было Марсово поле.

В этой стране говорили: «Кошка, если ее долго ремнем драть, будет даже и огурцы лопать».

Так и решили устроить рай на земле в порядке принудительном.

Для рая же нужен сад.

И собрали весь народ к плацу.

Земля же на плацу была каменная, такая крепкая, что трава на ней не росла, несмотря на расстройство транспорта.

Насверлили в камне ямки, воткнули в ямки деревца и сказали: «Растите».

Смотреть же поставили Чрезвычайную комиссию.

Кошка, если ее долго драть, будет есть огурцы, но ее нельзя додрать до того, чтобы она научилась разбираться в таблицах логарифм[ов].

И ни правительство, ни правеж не помогут дереву расти на камне.

Деревья засохли.

Сохли и дохли, как в чуме, и засмердело поле.

Тогда объявили свободную торговлю.

И пошли продавать и поле, и все, что кругом поля.

Шел мимо всего этого один человек.

Шел, шел, а сзади пошла Чрезвычайная комиссия.

И ушел человек за границу и там напечатал и расклеил плакат:

НЕЗАЧЕМ БЫЛО И ОГОРОД ГОРОДИТЬ.

Мое же положение отчаянное, потому что, если даже эту историю петь на мотив «Интернационала, она все же не будет похожа на Всемирную революцию, а радоваться, глядя на все это, я не могу, так как под русской революцией есть и моя подпись.

Сказка о Синем шакале

В некотором царстве, в некотором государстве, около города «Во что бы то ни стало», а это, должно быть, в северной Индии, жил шакал.

Питался он очень плохо.

Как известно, шакалы питаются, по преимуществу, старыми сапогами.

Ходил раз этот шакал по дворам, искал себе пищи, ночь была такая темная, что даже луны не было видно. Оступился шакал и попал в горшок с синей краской индиго.

Видите, какой он стал теперь синий.

Испугался шакал и побежал. Бежал долго, пропотел синим потом, пошла у него синяя пена изо рта, а краска все-таки не слезла.

Добежал шакал до леса и спрятался там.

Утром первые проснулись обезьяны.

Они всегда просыпаются первыми и очень этим гордятся. Увидали они шакала и закричали: «Синий зверь, синий зверь».

Сбежались тигры, слоны, дикобразы, носороги и видят: действительно, сидит на зеленой траве синий зверь.

А синий цвет в Индии священный.

Шакал не растерялся.

Он научился многому, пока питался старыми сапогами.

«Великий дух неба, – сказал он, – помазал меня на царство соком небесных деревьев и отныне все, что ни делается в лесу, должно делаться по моему повелению».

Звери поклонились шакалу и сказали ему: «Слушаемся, ваше величество».

Хорошо жил синий шакал в лесу.

Слон бегал для него в лавку за спичками, а тигр стоял на карауле и отдавал ему честь лапой.

Только заметили шакалы в лесу, что их синий царь очень похож на своего брата шакала. И хвост, как у шакала и морда шакалья, только синий. Пробрались они ночью во дворец и сказали: «Послушай, Синий, ведь ты шакал. Раздели с нами власть, а мы согласны днем даже называть тебя „ваше императорское величество“».

Но синий шакал позвонил в звонок: прибежал слон, который был при нем камердинером, собрал всех шакалов в охапку и выбросил за дверь. Шакал решил оградить свой дворец от непрошеных гостей.

И так как в лесу не было проволоки для проволочных заграждений, то он велел носорогам день и ночь танцевать вокруг дворца. Я думаю, что вы понимаете, что между танцующими носорогами пройти также трудно, как между автомобилями. Шакалы не были довольны. Они разбежались по лесу, выли и кричали: «Синий царь – шакал. Самый обыкновенный шакал, но только синий». Но никто не верил им, кто поверит шакалу? Тогда они собрались ночью и самый старый из них, совершенно облезлый и мудрый до того, что у него выпали все зубы, сказал:

«Никто нам не верит, что царь – шакал. Но пойдем и окружим дворец и будем выть. И синий шакал завоет тоже. И все узнают, кто их царь».

Один, совсем молодой шакаленок, который еще еле-еле умел перебирать лапами, спросил:

«А почему завоет царь?»

Старый шакал ответил:

«Потому, что природа непобедима».

И они пошли.

Пошли всем шакальим народом, а их было много. Сели вокруг дворца и завыли.

Царь проснулся.

«Воют», – сказал он.

«Смешно было бы, если бы я, царь, не мог спать из-за этого».

Но спать он не мог.

«Воют, продолжал он, – смешно было бы, если бы я сел, как они, на задние лапы». И он так и сделал.

«Смешно было бы, если бы я закрыл глаза, вытянул голову кверху и завыл». Так сказал синий царь, и в горле его уже щекотало, и не успел он договорить, как уже выл, выл громче всех, потому что он не выл очень долго, а природа непобедима. Прибежал слон, который бегал для шакала за спичками, и тигр, который отдавал ему честь лапой. Прибежала вся кухонная звериная челядь и увидели, что сидит среди спальни и воет и ничего не видит шакал.

Бросились звери на шакала и разорвали его. А носорогов забыли предупредить. Они ничего не знали и танцевали вокруг пустого дворца еще двое суток.

Письма М. Горькому (1917–1923)

1 <6 декабря 1917 года>

Живу в Урмии[32]. Видал разоренную Персию и людей, умирающих от голода на улице. На наших глазах. Видал погромы и пережил Голгофу бессилья. И моя чаша будет скоро полна. Чувствую себя здесь ужасно. Топчем людей, как траву. Шкурничество цветет махровыми розами. Одни просьбы о золотниках сахара, об отводе. Транспорта бастуют. Кровь медленно стынет в жилах армии. Революция по ошибке вместо того, чтобы убить войну, убила армию. Переживаю ее агонию. Заключаем перемирие. Движется демобилизация. Господи, сохрани. Если увидимся, расскажу. О России ничего не знаю.

Виктор Шкловский.

Персия. Урмия. 6 декабря.

2 <Конец июня – начало июля 1920 года>

Дорогой Алексей Максимович.

Живу я (Виктор Шкловский) в Херсоне. На противоположном берегу белые, завтра уйдут[33]. Я поступил добровольцем в Красную армию, ходил в разведку, а сейчас помначальника подрывной роты. Делаем ошибки за ошибками, но правы в международном масштабе. Очень соскучился по Вас и по Великому Петербургу. Приветствую всех туземцев. Желаю Соловью, и Купчихе, и Марии Игнатьевне[34] всяких желаний. Читаю Диккенса[35] и учусь бросать бомбы Лемана. К сентябрю буду в Питере. Потолстел, хотя здесь все и вздорожало из-за фронта. Но питерцу много не надо.

Изучаю комцивилизацию в уездном переломлении. По Вашему письму ехал как с самым лучшим мандатом[36]. Привет Марии Федоровне[37]. Что здесь ставят в театрах, у гостиннодворцев[38] каменного периода вкус был лучше. Скучаю, хочу домой.

Виктор Шкловский.

Жак[39] как?

Жена на меня сердится.

---

[32] Урмия – область на севере Ирана, в которой с 1915 г. находились русские войска (1-й Кавказский кавалерийский корпус, 7-й Отдельный Кавказский армейский корпус). Осенью 1917 г. Шкловский приехал в Урмию в качестве помощника военного комиссара Временного правительства, участвовал в организации эвакуации войск в Россию (см.: СП. С. 90–138).

[33] В апреле 1920 г. Шкловский выехал из Петрограда в Херсон, чтобы встретиться со своей женой, В. Г. Шкловской-Корди, находившейся там с мая 1919 г. 6 июня 1920 г. войска Врангеля развернули массированное наступление с целью выхода из Крыма и овладения прилегающими к нему территориями. Только 24 июня врангелевское наступление было остановлено Красной армией на линии Херсон – Никополь. Шкловский не успел принять участия в боевых действиях, так как вскоре после начала наступления в результате несчастного случая был ранен (см. письмо 3-е). В ночь на 7 августа Красная армия форсировала Днепр и перешла в наступление.

[34] Соловей – шутливое прозвище Ивана Николаевича Ракицкого (1883–1942) – художника, близкого друга Горького, долгое время жившего у него дома. Купчиха – прозвище художницы Валентины Михайловны Ходасевич (1894–1970). Мария Игнатьевна Будберг (урожденная Закревская, 1892–1974) – секретарь и друг Горького.

[35] Разбор строения романов Диккенса вошел в позднее вышедшую работу Шкловского «Развертывание сюжета» (Пг., 1921).

[36] По устному свидетельству Шкловского нам летом 1983 г., в поездку по Украине Шкловский отправился с рекомендательным письмом Горького, позднее утерянным.

[37] Мария Федоровна Андреева (1868–1953).

[38] В Большом Гостином дворе в Петрограде (ныне – Невский проспект, д. 35) размещались торговые ряды. Питерцы «гостинодворцами» называли приезжавших на торговлю в город купцов и др.

[39] Жак – Яков Львович Израилевич (?–1942), близкий друг Шкловского в 1910–1930-х гг., одно время – секретарь М. Ф. Андреевой.

3 Д<ействующая> Кр<асная> армия

16 июля 1920 года.

Дорогой Алексей Максимович.

Пишу Вам с койки хирургического лазарета в Херсоне. Я был начальником подрывного отряда Херсонской группы войск Красной армии. Вчера в моих руках разорвалась ручная граната. У меня перебиты пальцы на правой ноге и 25–30 ран на теле (неглубоких). Спокоен. Через три-четыре недели буду в Питере. Привет всем. Завтра буду оперироваться.

Виктор Шкловский.

4 <Октябрь – ноябрь 1921 года>

Алексей Максимович.

Я решаюсь говорить очень серьезно, как будто я не родился в стране, которая просмеяла себе все потроха.

Алексей Максимович, потоп в России кончается, т. е. начинается другой – грязевой[40].

Звери, спасенные Вами на ковчеге[41], могут быть выпущены. Встает вопрос о великом писателе Максиме Горьком.

Наши правители обыграли Вас, так как Вы писатель, а они сыграли в молчанку и лишили Самсона его волос[42].

Мой дорогой Алексей Максимович, любимый мой, бросайте нас и уезжайте туда, где писатель может писать[43].

Это не бегство, это возвращение к работе. Здесь, в России, в Вас использовали только Ваше имя.

Уезжайте. Соберите в Италии или в Праге союз из Вас, Уэльса, Ромэна Роллана, Барбюса и, может быть, Анатолия Франса[44]. И начинайте Новую жизнь[45]. Это будет настоящий Интернационал без Зиновьева[46].

Журнал, издаваемый вашим союзом, будет голосом человечества.

Все это совершенно необходимо для русской революции и для Вас.

Оставьте этих людей, из которых одни сделали из Вас жалобную книгу, а другие преступники – и эти, другие, лучше, но Вам необходимо быть не рядом с ними.

Виктор Шкловский.

5 <Ноябрь – декабрь 1921 года>

Дорогой Алексей Максимович.

---

[40] Ср. в написанном немногим позднее, в феврале 1922 г., «Письме к Роману Якобсону»: «Потоп кончается. Звери выходят из своих ковчегов, нечистые открывают кафе. Оставшиеся пары чистых издают книги. Возвращайся» (ГС. С. 145–146).

[41] Ср. в «Сентиментальном путешествии», где этот образ применен по отношению к организованным при участии Горького издательствам З. И. Гржебина и «Всемирная литература», петроградскому Дому искусств (СП. С. 196).

[42] Библейский эпизод (Суд 16 15–21).

[43] Горький уехал из России 16 октября 1921 г.

[44] Перечисленные Шкловским писатели – постоянные адресаты Горького, к которым он обращался с просьбой о помощи голодающим в 1921 г. (Б. Шоу, Г. Уэллс), с протестом против процесса эсеров в 1922 г. (А. Франс) и др. Уже 16 апреля 1922 г. Горький пишет Г. Уэллсу (см.: Архив А. М. Горького. М., 1960. Т. VII. С. 72), а 30 мая Р. Роллану (Там же. С. 333–334) о своем намерении издавать журнал «Путник». Позднее этот замысел реализовался в журнале «Беседа» (В. Ф. Ходасевич, впрочем, вспоминал, что идея «Беседы» принадлежала Шкловскому, см. очерк «Горький» в его кн.: Избранная проза: В 2 т. Нью-Йорк, 1982. Т. 1).

[45] В оригинале – без кавычек, но очевидно, что Шкловский имеет в виду газету «Новая жизнь», издававшуюся при ближайшем участии Горького в апреле 1917 – июле 1918 г. и закрытую Советской властью. Шкловский был корреспондентом «Новой жизни» и напечатал в газете несколько статей в 1917–1918 гг.

[46] В 1919–1926 гг. Г. Е. Зиновьев (1883–1936) был председателем Исполкома Коминтерна.

Живем так себе. Дом искусств[47] дров не заготовил. Пока достал всем три куба, что дальше не знаю.

Издал свою книгу «Развертывание сюжета». Таким образом, цикл кончен[48].

Дал его перевести на немецкий язык[49].

Зарабатываю не плохо, но все время бегаю.

Слонимский написал в пять дней четыре рассказа на шесть листов.

Неплохие[50].

Всеволод Иванов пишет все лучше и лучше.

Последний его рассказ «Дите» привел бы Вас в восторг, такой «индейский» или киплинговский сюжет и такая глубокая ирония[51].

Лунц и Зильбер пишут и сдают экзамены[52]. Федину сделали удачную операцию. Очень сложную: пересадка каких-то кишек и повертывание желудка головой вниз[53].

Выздоравливает.

Зощенко[54] живет трудно.

Жизнь у нас тихая, провинциальная.

Газет не читаем. О Вас думаем часто.

Печатаю книгу Эйхенбаума «Мелодика русского стиха»[55].

Выйдет – пришлем. 13 листов.

Напишите о том, как живете и пишете ли? Меня затормошили здорово, все хлопочу по чужим делам, а сам не пишу. Зима у нас ранняя. Каналы уже замерзли. Петербург ловчится жить.

Происходит что-то непонятное. Пока книг выходит много, и если читатель найдется и мы выдержим новые ставки на типографские работы (набор – 8,5 рублей знак), то, может быть, писатели и не пропадут.

Я же до весны проживу.

Всеволод ходит в новых брюках.

Кланяюсь всем своим инфернальным друзьям, т. е. потусторонним.

Варваре Васильевне[56] отдельно.

---

[47] Организация работников искусств в Петрограде (1919–1922), в деятельности которой Горький принимал активное участие до своего отъезда из России. Располагалась в бывшем доме Елисеева на Мойке, д. 59 (ныне – Невский пр., д. 15), в котором для деятелей искусств было устроено общежитие.

[48] Книге «Развертывание сюжета» предшествовали работы Шкловского «„Тристрам Шенди“ Стерна и теория романа» (Пг., 1921) и «Розанов» (Пг., 1921). Эти работы мыслились Шкловским как части большого труда под названием «Сюжет как явление стиля». Книга под таким названием не была закончена; в переработанном виде эти работы вошли в вышедшую позднее книгу Шкловского «О теории прозы» (М., 1925).

[49] Был ли издан перевод – установить не удалось.

[50] В начале 1920-х гг. Шкловский высоко оценивал ранние рассказы Михаила Леонидовича Слонимского (1897–1972), в частности – его цикл «Советские небылицы» (публиковались в журнале «Мухомор», 1922, № 2, 6, 7), произведения из сборника «Шестой стрелковый» (Пг., 1922).

[51] Рассказ Всеволода Вячеславовича Иванова (1895–1963) «Дите» после долгих цензурных затруднений был опубликован в петроградской «Красной газете» (1922. 9, 12 февраля).

[52] В то время Лев Натанович Лунц (1902–1924) и Вениамин Александрович Каверин (настоящая фамилия Зильбер, 1902–1989) были студентами историко-филологического факультета Петроградского университета, Каверин учился также параллельно и в Институте восточных языков.

[53] В ноябре 1921 г. Константин Александрович Федин (1892–1977) перенес тяжелую операцию по поводу двенадцатиперстной кишки в Обуховской больнице в Петрограде.

[54] Михаил Михайлович Зощенко (1894–1958).

[55] Точное название: «Мелодика русского лирического стиха»; книга вышла в начале 1922 г. в Петрограде.

[56] Варвара Васильевна Шайкевич (1886–1953) – жена А. Н. Тихонова, многолетнего издателя Горького.

Если имеете вести о Титке[57], то скажите ей, что я ее очень любил, а времени не было, так и не сказал.

Всего хорошего. Всего хорошего.

Пишите больше, не мне, а для себя.

Виктор Шкловский.

6 Дорогой Алексей Максимович.

Надо мною грянул гром.

Семенов напечатал в Берлине в своей брошюре мою фамилию[58].

Меня хотели арестовать, искали везде, я скрывался две недели и наконец убежал в Финляндию[59].

---

[57] Шутливое прозвище М. И. Будберг, находившейся в то время в Эстонии.

[58] Речь идет о брошюре Г. И. Семенова (Васильева) «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917–1918 гг.», вышедшей в феврале 1922 г. в Берлине (далее – Семенов). Григорий Иванович Семенов (Васильев) – в 1917–1918 гг. входил в руководство Военной организации ЦК партии эсеров, готовившего с конца 1917 г. антибольшевистский переворот. Шкловский, бывший, по некоторым свидетельствам, членом партии меньшевиков (см. показания А. Р. Гоца на процессе эсеров // Известия. 1922. 22 июня, а также: Семенов. С. 24), после возвращения в начале 1918 г. в Петроград из Ирана примкнул к этому заговору и вошел в организацию в качестве руководителя Броневого отдела (см. показания Г. И. Семенова и Келлера на процессе // Известия. 1922. 15 и 18 июня, а также: Семенов. С. 16; Воспоминания В. И. Игнатьева // Красная книга ВЧК. 2-е изд., уточн. М., 1990. Т. 2. С. 97–98). После разгрома петроградской организации в августе – сентябре 1918 г. Шкловский (очевидно, так и не принявший участия в террористических актах эсеров) бежал из Петрограда в Поволжье, куда был перенесен центр предполагавшегося восстания (см. об этом, в частности, в показаниях И. Дашевского на процессе // Известия. 1922. 29 июня; более полный текст: Красный архив. 1927. № 20. С. 155; а также: Семенов. С. 34). После разгрома Колчаком Уфимской директории – эсеровского правительства, главного претендента от этой партии на власть – и в связи с общим «левением» в рядах эсеровской партии Шкловский в конце 1918 г. принимает решение отойти от политической борьбы. В начале 1919 г. он выходит из подполья и приезжает в Москву; за политическую благонадежность его перед Я. М. Свердловым поручается Горький (см.: СП. С. 181, 195). В феврале 1919 г. в Саратове прошел процесс над эсерами, после которого члены партии были амнистированы, а деятельность партии возобновлена. Однако, уже с конца 1921 г. начинается подготовка к крупнейшему политическому процессу 1920-х гг. – процессу над правыми эсерами.4 июня 1921 г. Ленину был представлен составленный ВЧК план «работы по ликвидации белогвардейских организаций на вторую половину 1921 года и первую половину 1922 года», который включал в себя проведение «массовых операций по изоляции» эсеров и меньшевиков в феврале – апреле 1922 г. (см.: Сценарий «доликвидации»: Плановость в работе ВЧК – ГПУ // Независимая газета. 1992. 8 мая). С некоторыми отклонениями план этот (судя по всему, Лениным в полном виде не утвержденный) в отношении эсеров был проведен в жизнь. 28 декабря 1921 г. по докладу председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского ЦК постановил: «Предрешить вопрос о предании суду Верховного трибунала ЦК партии социалистов-революционеров» (В. И. Ленин и ВЧК: (1917–1922). М., 1975. С. 546). Тогда же в декабре Оргбюро ЦК поручает Отделу пропаганды подготовить серию брошюр, разоблачающих эсеров и меньшевиков (см.: *Гусев К. В.* Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции. М., 1975. С. 11); не лишним будет напомнить, что книга Семенова датирована 2 декабря 1921 г. См. также письмо Ленина наркому юстиции Д. И. Курскому конца февраля 1922 г., в котором рекомендуется в целях «усиления репрессий против политических врагов советской власти <…> *в особенности* меньшевиков и эсеров» организовать «образцовые» политические процессы в Москве, Петрограде и др. (*Ленин В. И.* ПСС. Т. 44. С. 396).Таким образом, книга Г. И. Семенова носила явно провокационный характер; оглашение Семеновым (а также его женой, Л. Коноплевой, по сведениям компетентного исследователя, направившей заявление в ЦК РКП(б) и давшей показания в ЧК – см.: *Голинков Д. Л.* Крушение антисоветского подполья в СССР. 4-е изд. М., 1986. Кн. 2. С. 207) фактов террористической деятельности эсеров в 1918 г. послужило поводом к началу массовых арестов среди эсеров и подготовке к процессу. Членами партии эсеров эти выступления и получили оценку как «провокаторские»; в зарубежной социалистической печати неоднократно писалось и об отсутствии должной правовой базы процесса, так как его проведение противоречило амнистии эсерам по Саратовскому процессу (см., напр.: *Чернов В.* Иудин поцелуй // Голос России (Берлин). 1922. 25 февраля; *Мартов Ю.* Первое предостережение // Социалистический вестник (Берлин). 1922. № 7; *Соколов Б.* Защита Всероссийского Учредительного собрания // Архив русской революции (Берлин). 1924. Кн. XIII. В связи с эсерами имя Г. И. Семенова позднее фигурировало и на процессе «антисоветского правотроцкистского блока», на котором А. И. Рыков и Н. И. Бухарин «свидетельствовали» о причастности эсера Семенова к несостоявшимся покушениям на И. В. Сталина, Л. М. Кагановича и т. п. (см.: Известия. 1938. 3, 5 и 8 марта).

[59] На основании сведений Семенова и Коноплевой, Президиум ГПУ сообщил 27 февраля 1922 г. об имеющихся в его распоряжении новых данных о террористической деятельности эсеров 1918 г.: «Ввиду того, что имеющиеся в распоряжении ГПУ материалы с несомненностью устанавливают преступления партии с. – р. перед пролетарской революцией. Центральный комитет этой партии и ряд ее активных членов предаются суду Верховного трибунала» (Известия. 1922. 28 февраля). По свидетельству Шкловского, за ним пришли 3 или 4 марта (см. письмо 7-е); почти неделю он скрывался в Петрограде, уходя от преследования и избегая засад (описание одной из них, устроенной на квартире Ю. Н. Тынянова, см.: *Каверин В.* Эпилог. М., 1989. С. 8–31), после чего вынужден был бежать из Петрограда по льду Финского залива за гра-

Сейчас сижу в карантине.

Собираюсь писать продолжение «Рев<олюции> и фронт<а>»[60].

«Серапионовы братья»[61] живут.

Всеволод Иванов цветет, как подсолнечник, и пишет все сочней. Он написал роман «Цветные ветра». Книга в наборе. Зощенко выпускает книгу «Рассказы Захара Ильича». Зильбер написал повесть «Пятый странник». Я издал книжку «Эпилог»[62].

Появился новый поэт Николай Тихонов[63]. Я привез с собой матрицы «Революции и фронта». Продаю.

Передайте Гржебину[64], что я предлагаю продолжение книги, 1918–1922 годы. У меня с собой рукописи «Ход коня»[65]. Сейчас мне нужны деньги, тысяч до 10 финских.

Хотел бы жить не далеко от Вас. Боюсь тоски по родине. Собираюсь в Германию. Можно ли достать визу?

Жена осталась в Питере, боюсь, что она на Шпалерной[66]. Союз писателей обещался о ней заботиться. Денег у меня с собой 200 марок и золотые часы еще на 1000. Мой адрес: Killomaki, karanten.

Здесь я буду две недели.

Или на моего дядю:

Финляндия. Raivolo. Tyrsevo Pyhtale tee Aleksander Shklovsky.

Не знаю, как буду жить без родины.

Во всяком случае, я пока избежал судьбы Гумилева[67].

16 марта 1922 год.

Посылаю Вам свою книгу[68].

ницу. В обвинительном заключении от 23 мая 1922 г. Шкловский был упомянут как привлеченный по делу, но «неразысканный» (см.: Обвинительное заключение по делу Центрального комитета и отдельных членов иных организаций партии социалистов-революционеров по обвинению их в вооруженной борьбе против Советской власти, организации убийств, вооруженных ограблений и в изменнических сношениях с иностранными государствами. М., 1922. С. 107).

[60] Книга Шкловского «Революция и фронт» писалась с июня по август 1919 г. – очевидно, по заказу издательства З. И. Гржебина для серии исторических мемуаров «Летописи революции», участие в разработке которой принимал и М. Горький (в этой серии были изданы воспоминания А. В. Луначарского, Ю. Мартова, В. М. Чернова, В. С. Войтинского, П. Б. Аксельрода и др.). «Революция и фронт» вышла в 1921 г. в Петрограде без указания марки издательства; по устному свидетельству В. Б. Шкловского нам (январь 1984 г.), Гржебин снял свою марку «из осторожности».

[61] В деятельности этого творческого содружества писателей, организовавшегося в феврале 1921 г. при петроградском Доме искусств, Шкловский принимал самое активное участие, а с его членами (Вс. В. Иванов, К. А. Федин, М. М. Зощенко, И. А. Груздев, Е. Г. Полонская, Н. С. Тихонов, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, М. Л. Слонимский) его связывали и дружеские отношения.

[62] Речь идет о книгах: *Иванов Вс.* Цветные ветра. Пб., 1922; *Зощенко М.* Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова. Пб., 1922. Повесть В. А. Каверина «Пятый странник» опубликована в альманахе «Круг» (Вып. 1. М.; Пб., 1923). Книга Шкловского «Эпилог», посвященная событиям в Северном Иране после отъезда оттуда автора, вышла в феврале 1922 г. в Петрограде.

[63] Николай Семенович Тихонов (1896–1979) присоединился к «Серапионовым братьям» в 1922 г.

[64] Зиновий Исаевич Гржебин (1869–1929) – художник, издательский деятель. Книга, о которой пишет Шкловский, вышла в январе 1923 г. не у З. И. Гржебина, а в берлинском издательстве «Геликон». Первая часть ее представляет собой переиздание «Революции и фронта», вторая – «Письменный стол» – написана в Райволе и Берлине и издана впервые (в переработанном виде в эту часть вошла и книга «Эпилог»).

[65] Книга «Ход коня», состоящая из статей об искусстве, рассказов и очерков, вышла в январе 1923 г. в Берлине в издательстве «Геликон». Ранее Шкловский безуспешно пытался издать ее в России (см. наш комментарий: ГС. С. 490).

[66] На ул. Шпалерной (с 1918 г. – ул. Воинова) в Петрограде располагалась первая в России следственная тюрьма (Дом предварительного заключения). Жена Шкловского, В. Г. Шкловская-Корди (1890–1977), действительно была арестована (см. письмо 7-е).

[67] Николай Степанович Гумилев (1886–1921) был расстрелян в августе 1921 г. По некоторым свидетельствам, он был связан с эсеровским подпольем через друга и сослуживца Шкловского, поэта Л. В. Бермана, также проходившего в 1922 г. по процессу эсеров (см.: *Сажин В.* Предыстория гибели Гумилева // Даугава. 1990. № 11. С. 92–93).

[68] Речь, очевидно, идет о книге «Эпилог».

7 24 марта 1922 года

Дорогой Алексей Максимович.

Пишу Вам второе письмо.

Сообщаю на случай, если первое пропало. Я убежал из России 14 марта. Меня ловили по Петербургу с 4 [по] 14 марта.

Сейчас нахожусь в карантине в Финляндии.

Через четыре дня выйду и месяц проживу в

Finland.

Raivola. Jug. A. Shklovsky. } адрес

Fur Viktor Shklovsky

По ночам еще кричу.

Снится мне, что меня продал провокатор и меня убивают.

Не знаю, что делать дальше.

Все мои дела, книги, друзья в Петербурге.

Так как Семенов все равно напечатал многое из того, что я делал, то я хочу написать об этом книгу.

Я напишу лучше.

Сижу сейчас в полном непонимании, что писать, где писать, как писать.

Сижу без денег.

Носить доски мне не хочется.

Это скучная работа.

Серапионы остались в России в печали и тесноте.

Дорогой Алексей Максимович, жду Вашего ответа, что Вы мне посоветуете.

Я хочу работать в журналах.

Жить хотел бы в Праге или в Берлине, чтобы доучиться у европейцев.

Жду ответа.

В Финляндии жить скучно, как в передней, и все чужое.

На две-три недели зацеплюсь у одного своего дяди.

Жена в Петербурге, очень скучаю без нее.

Хочу увидеть Ваши глаза и усы и поговорить в Вами.

Неужели я потерял Россию навсегда.

Поговорите в Зи<новием> Исаевичем[69], не может ли он сделать что-нибудь для меня, т. е. купить рукопись.

Поклон Марии Федоровне и Варваре Васильевне[70].

Сижу в карантине в странной компании: 40 % карантина – старухи старше 70 лет, которые переехали границу нелегально.

Потом беглые офицера, жены, ищущие своих мужей, женщины, едущие в Италию, и два мальчика, которые убежали за границу так, как раньше убежали бы к индейцам.

Белья у них с собой нет, а есть учебник географии на немецком языке и логарифмы.

Привет всем.

Отвечайте мне.

Виктор Шкловский.

25 апреля[71].

---

[69] Гржебин З. И.

[70] Андреева М. Ф. и Шайкевич В. В.

[71] Очевидная описка. Письмо ранее датировано 24 марта.

Сейчас приехала баронесса Икскуль[72], передала мне, что жена моя арестована. Что делать?

8 <3 апреля 1922 года>

Адрес мой: Raivola. Finland. Schklovsky.

Сижу у моря и жду погоды.

Сильно одинок. Жена на Шпалерной. А я отрезан от России. Не знаю даже кому я нужен. Выживать же меня из России никому не нужно. Отдыхать не умею.

Живу без событий. Не пишется. Желание одно – попасть, если не в Россию, то хотя бы в русскую литературную среду.

Хлопочу о визе в Германию.

То, что написал Г. Семенов, не правда: все выглядело иначе.

Может быть, не лучше, хочу писать об этом книгу.

Русская эмиграция, краешек которой я видел… тоже ничего не понимает.

А на иронии не проживешь.

Если бы я верил в русский суд, я поехал в Москву.

Но я не хочу увеличивать вину Кремля. Я великодушен.

Пережил страх. Переживаю скуку. Жду ответа.

3 апреля.

Виктор Шкловский.

9 Дорогой Алексей Максимович.

Мой роман с революцией глубоко несчастен.

На конских заводах есть жеребцы, которых зовут «пробниками».

Ими пользуются, чтобы «разъярить» кобылу (если ее не разъярить, она может не даться производителю и даже лягнуть его), и вот спускают «пробника».

Пробник лезет на кобылу, она сперва кобенится и брыкается, потом начинает даваться.

Тогда пробника с нее стаскивают и подпускают настоящего заводского жеребца. Пробник же едет за границу заниматься онанизмом в эмигрантской печати[73].

Мы, правые социалисты, «ярили» Россию для большевиков.

Но, может быть, и большевики только «ярят» Россию, а воспользуется ею «мужик».

Вот я и написал фельетон вместо письма.

Но поймите же и мое положение.

Здесь в Райволо никто не понимает остроумия. Читают же только старое «Солнце России»[74].

Мы все условно-остроумны, мы все говорим друг с другом условно, как Володя (брат героя «Детства и отрочества») с мачехой[75].

Я одинок, как и все, конечно.

И ночью, когда я думаю о жене, я хочу встать на колени в постели и молиться, что ли.

Увы мне, нет Бога, а с ним бы я поговорил серьезно.

---

[72] Варвара Ивановна Икскуль фон Гильдебрандт (урожденная Луговина, по первому мужу Маврина, 1850–1929) – баронесса, коллекционер, писательница, общественный деятель. Бежала из Петрограда так же, как и Шкловский, по льду Финского залива (см.: *Ходасевич В.* «Некрополь» и другие воспоминания. М., 1992. С. 191). Сообщение об аресте В. Г. Шкловской-Корди 22 марта 1922 г. – спустя неделю после побега Шкловского – было помещено в берлинской газете «Голос России» (1922. 9 апреля).

[73] Очевидно, намек на собственное сотрудничество с эмигрантской эсеровской газетой «Голос России» (Берлин), начавшееся с публикации 11 апреля 1922 г. в ней политического фельетона «Плац».

[74] Популярный иллюстрированный еженедельный журнал, выходивший в Петербурге в 1910–1916 гг. (редакторы З. Н. Журавская и А. Коган).

[75] Речь идет об эпизоде гл. XL части «Юность» повести Л. Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность» (1852–1857).

Я одинок здесь.

Дядя мой, у которого я живу, любит говорить об искусстве.

Это очень тяжело. Я боюсь, что он в результате напишет начало повести.

Он говорит, что в искусстве главное чувство.

Перед женой считаю себя виноватым.

Может быть, честнее было бы не бежать?

Ведь я занимался политикой. Это бронированные автомобили втаскивали меня в разные удивительные положения[76].

Скучаю по жене, по Тынянову, по Серапионам.

Ваше письмо получил, ему очень рад.

15 апреля 1922 года.

Виктор Шкловский.

Вчера получил 1000 + 390 марок.

Спасибо.

20 апреля 1922 года.

10 <20 апреля 1922 года>

Алексей Максимович! Дука[77]!

Я решил избрать Вас своим постоянным корреспондентом.

Отвечать можно в стиле телеграммы. Например:

«Otstante»

Как-то давно, когда я был молодой и красивый, я проводил ночь с одной (такой же, как и я) курсисткой. Чтобы не шуметь, мы целовались на коврике. Целуюсь я очень технично. Она не любила меня. И вот она мне сказала, почти под утро, почти в бреду: «Любви! Любви немножечко».

Я был здоровый, неутомимый и не понял. Я был увлечен техникой.

Любви сейчас я хочу от людей, не визы, не денег даже.

Прямо хоть не пиши дальше.

Живу я в доме беженца. Дом населен условными фразами, тоской и безденежной ненадежной сытостью.

Алексей Максимович! Дука!

Посмотрите, как я хочу любви: я даже пишу разборчиво.

Я умею (теперь) брать людей на ладони, и греть их дыханьем, и даже растить их.

И Вы умеете.

Вы ласковый, у Вас хорошие глаза.

У меня, очевидно, весеннее помешательство.

Я должен писать письма всему человечеству.

Я люблю это человечество.

Вас же я люблю отдельно и особо.

Жену я тоже очень люблю.

У нас весна. Сегодня 20 апреля. На дворе баран, похожий на Пяста[78], жует как беззубый и не скрывающий свою старость старик.

Я пополнел и погрустнел.

Привет Вам и всем, кого Вы любите.

Виктор из Raivola.

---

[76] Ср. в «Письме вступительном» во втором издании «Zoo».

[77] Домашнее прозвище Горького.

[78] Владимир Алексеевич Пяст (настоящая фамилия Пестовский, 1986–1940) – поэт, один из жильцов Дома искусств.

Придумал «фильму».

11 <Весна 1922 года>

Дорогой Алексей Максимович.

Я не умею говорить с Вами.

Чувствую себя просителем. А я не виноват.

Писать легче. А хочется быть близко к Вам.

Но замечали ли Вы, что когда целуешь женщину, то ее не видишь, а чтобы увидеть, нужно отдалиться.

Я расскажу Вам про роман, который я напишу, если оторвусь от преследования и буду иметь месяц-два свободных.

1) Идут передовицы «Правды» и передовицы буржуазных газет, прямоугольные до безмысленности.

Иногда это прямоугольность огненная. Идут списки расстрелов, цифры смертности.

Передовицы прямоугольно отрицают друг друга.

2) Между ними идут письма к Вам. Записки, письма, записки. Идут Ваши письма (дружеских нет), но больше записки «прошу выслушать такого-то», «прошу не расстреливать такого-то», «прошу вообще не расстреливать».

Потом между этим советские «анекдоты».

Моя маленькая (7 лет) племянница плакала в церкви. Мы знаем, что плачущего нельзя спрашивать. Потом спросили дома «почему». Она ответила: «Я не знаю, где могила папы» (Николай расстрелян), «где тети Женина могила знаю, а папиной нет»[79].

О, дорогой мой, о друг мой, как горек от слез воздух России.

О счастье наше, что мы заморожены и не знаем, как безнадежно несчастны.

Идут передовицы прямоугольные, декреты, и все они отражаются то в письмах, то в маленьких отрывках из маленьких человеческих жизней. Тюрьмы, вагоны, письма и декреты.

Вы в этой вещи не вы, а другой.

Я не знаю, как кончить. Кто-то, правозаступник и кто пишет всем отпускную, какой-то последний из раздавленных или Вы сами, на чьем сердце скрещены два меча, пишете миру письмо о прощении.

Прощаю себя за то, что смеюсь, за то, что бегу от креста, прощенье Ленину, прощенье Дзержинскому, красноармейцу, издевающемуся в вагоне над старухой, красноармейцу, взявшему Кронштадт, всему племени, продающему себя. Всем себе-иудам.

У меня нет никого. Я одинок. Я ничего не говорю никому. Я ушел в науку «об сюжете», как в манию, чтобы не выплакать глаз. Не будите меня.

Виктор Шкловский.

13

Вы помните, как писал Троцкий: «Необходимо разбить пространство на квадраты в шахматном порядке. Квадраты А оставить себе, а Б передать концессионерам»[80]?

Пространство это прежде звали Россией.

Генерал-немец говорил в «Войне и мире»: «Войну нужно перенести в пространство»[81].

Пространством этим была тоже Россия.

---

[79] Упоминаются: Николай Борисович Шкловский, участвовавший в заговоре эсеров (см.: Семенов. С. 24) и расстрелянный в 1918 г. (СП. С. 156); Евгения Борисовна Шкловская, умершая от голода в 1919 г. (СП. С. 192).

[80] Очевидно, Шкловский вольно пересказывает статью Л. Д. Троцкого «На путь строительства социализма!», в которой предлагалось отдать под концессии некоторые территории России (Правда. 1920. 8–10 декабря).

[81] «Война и мир», т. III, ч. II, гл. XXV.

Ленин писал: «Я согласен жить в свином хлеву, только бы была (в нем) советская власть»[82].

Мы живем вместе с ним.

Люди политики мерят мерой пространства, а Вы знаете, что в этом пространстве живут люди и что вообще здесь режут по живому.

Ленин же и Троцкий представляют же себе людей толпами-брикетами из человечины, и над каждым брикетом в небе соответственная цифра, например:

20%

Гржебинское издательство, и Дом ученых, и «Всемирная литература» (настоящее название: вся всемирная)[83] – тоже пространственное восприятие.

В Вас есть коммунист. Настроить, нагородить, разделить пространство, а потом пусть все работают по плану.

Ваш пафос коммунистичен. Вы тоже тысяченожка.

А книги, как жизнь, должны расти сами.

Вы пропускаете ветер.

Ваше сложное отношение к власти объясняется тем, что Вы с ней сходны в методе осчастливливания людей.

Но Вы писатель (хорошее но: «но Максим Горький писатель») и обладаете уменьем не видеть леса за деревьями, то есть знанием, что «пространства» нет, а есть люди и поля, хорошо знакомые.

Это хуже Востока и Запада[84].

Эти два взгляда не совместимы.

Если бы комм<унисты> не убивали, они были бы все же не приемлемы.

20

Чувствую себя изолированным. Как революционер, потерявший все «связи».

Хоть начинай жизнь сначала.

Всего же ужасней потерять самоуверенность.

У нас нет никого кроме себя.

Виктор Шкловский.

Иногда можно оторваться от преследования.

Не нужно думать, куда идешь и откуда, можно забыть и идти вдоль улицы то к заре, то от зори.

Водосточные трубы, если об них ударять рукой, звучат приветливо. На деревьях распускаются листья, как первые мысли о стихах, более красивые, чем всякая книга.

Еще не густые деревья врастают в воздух.

Совсем не трудно и не страшно.

Черные тоненькие провода бегут с дерева на дерево, их оба конца закреплены в каких-то учреждениях. Это очень скучно, но они связаны с землей и входят в мир электричества. Какое дело току до маленького скучного куска, через который он пробегает.

---

[82] Этих слов в Полном собрании сочинений Ленина найти не удалось; возможно, что имеется в виду выступление Ленина на заседании ЦК 11 января 1918 г., в котором по поводу Брестского мира было сказано: «Конечно, мы делаем поворот направо, который ведет через весьма грязный хлев, но мы должны его сделать» (Речи о войне и мире // Ленин В. И. ПСС. Т. 35. С. 257). Впервые это выступление было опубликовано в 1922 г. в 15-м томе Собрания сочинений Ленина.

[83] Речь идет об издательстве З. И. Гржебина (1919–1923), петроградском Доме ученых (с 1920 г.) и издательстве «Всемирная литература» (1918–1924), в организации и деятельности которых Горький принимал активное участие.

[84] Имеется в виду основная для мировоззрения Горького антиномия «Восток-Запад», с наибольшей, пожалуй, остротой выраженная в его статье «Две души» (Летопись. 1915. [№ 1]). См. также его брошюру берлинского периода «О русском крестьянстве» (Берлин, 1922).

Я лечу через маленький скучный кусок, но прекрасен мир моего исхода и моей цели.

Романа же я не напишу.

26. Вторник.

У меня был целый склад неотправленных к Вам писем.

Во время Кронштадта[85] уничтожил на всякий случай.

Советская же республика имеет (должна иметь) эмблемой вареного рака, животное красное, но никуда не могущее уже поспешать, даже обратно.

12 Дорогой Алексей Максимович.

По непроверенным слухам жена моя Василиса Корди освобождена. Пока эта загадочная женщина мне еще не писала.

Освободили ее за виру[86] в 200 рублей золотом. Вира оказалась «дикой», так как внесли ее литераторы купно. Главным образом Серапионы.

У Серапионов наблюдается следующее. Бытовики: Зощенко, Иванов и Никитин обижают сюжетников: Лунца, Каверина и Слонимского[87].

Бытовики немножко заелись в «Красной нови»[88], а сюжетники ходят пустые, как барабаны без фавора и ом[м]ажа[89].

Я написал уже об этом туда письмо, но этого мало[90].

Напишу в книге о современной русской прозе[91], что, мол, можно и без быта. Но и этого мало.

Дорогой Алексей Максимович, я Вас очень люблю и знаю, как Вас интересует все, имеющее отношение к нашему рукомеслу. Если будете писать в Россию, напишите им, чтобы они там жили дружно, но важно не это. Может быть, Вы напишете когда-нибудь, когда-нибудь статью о Серапионах с указанием, что Лунц и Каверин совсем не пустое место и что Никитину до них еще нужно попрыгать[92].

Вообще в Серапионовых делах наш отъезд нарушил небесную механику.

---

[85] Организация восстания в Кронштадте в официальной советской партийной печати приписывалась, в частности, эсерам. Во время восстания в Петрограде среди эсеров были проведены аресты.

[86] Вира – денежный штраф в пользу князя за убийство человека в Древней Руси.

[87] Разделение писателей-«Серапионов» на два крыла впервые было намечено Шкловским в статье «Серапионовы братья» (см.: ГС. С. 141) и было поддержано затем Е. И. Замятиным (Серапионовы братья // Литературные записки. 1922. № 1; О современной русской прозе // Русское искусство. 1923. № 2/3).

[88] Вопрос о сотрудничестве с «Красной новью», первым советским «толстым» литературно- художественным журналом, выходившим с июня 1921 г., обсуждался в среде «Серапионов» достаточно остро и связывался с нарушением политической нейтральности, заявленной, в частности, в манифесте группы (*Лунц Л.* Почему мы Серапионовы братья // Литературные записки. 1922. № 3). Ко времени написания письма Шкловского из «Серапионов» в «Красной нови» особенно активно печатался Вс. Иванов, по одному разу опубликовались М. М. Зощенко и Н. Н. Никитин, один раз со стихами выступил и Н. С. Тихонов. Главный редактор «Красной нови» А. К. Воронский писал Горькому 27 апреля 1922 г.: «Опираюсь я на Пильняка, Вс. Иванова, Зощенко, Ник. Никитина, Зуева и другую молодятину» (Архив А. М. Горького. М., 1965. Т. X. Кн. 2. С. 10). Ср. также обращение к «Серапионам» в письме Шкловского к М. С. Шагинян: «Не ссорьтесь, братцы. Если ссоритесь о том, нужно ли писать в „К<расной> н<ови>“, то мой совет, если нечего есть, писать и печатать где угодно. Но лучше в „Правде“, чем в „Накануне“» (от 25 июня 1922 г. Архив М. С. Шагинян. Хранится у Е. В. Шагинян).

[89] Оммаж – церемония, оформлявшая в средневековой Европе заключение вассального договора между сеньором и вассалом, сопровождалась также дачей клятвы верности.

[90] Очевидно, речь идет или о недошедшем до нас частном письме Шкловского, или о его статье «Письмо о России и в Россию», первая часть которого посвящена, в частности, «Серапионам» (опубликована в октябре 1922 г., вошла в ГС. С. 148–149).

[91] Над книгой «О современной русской прозе» Шкловский работал с августа-сентября 1922 г. по 1926 г.; книга осталась неоконченной, отдельные главы ее публиковались в качестве самостоятельных статей в периодике 1924–1927 гг. (см. комментарий в ГС. С. 508–509).

[92] Отзывы о творчестве «Серапионов» разбросаны в многочисленных письмах Горького к М. Л. Слонимскому, В. А. Каверину, К. А. Федину, Л. Н. Лунцу. Статью «Серапионовы братья» Горький написал в марте 1923 г. (впервые опубликована на французском языке, русский текст см.: ЛН. С. 561–563).

Хотел ехать к Вам на день, но все время почему-то не было денег. А я еду к Роману Якобсону[93].

Он присылает мне одну телеграмму утром и одну вечером. В понедельник еду к нему.

Я его люблю как любовница. Он выучил мадьярский язык в две недели на пари с Мостовенкой[94]. Узнал не от него.

Иван Павлович[95] поехал в Москву и в Питер, привезет серапиачии рукописи.

Вообще все обстоит благополучно. По слухам, предстоит зима. Еще кланяюсь Марии Игнатьевне Бенкендорф.

Уверяю ее клятвенно, что она большой человек.

Уверен вообще, что совершенно незачем быть несчастным.

Поэтому написал книжку о кинематографе в два листа[96]. Если я правильно указал в ней на одну вещь, то книжка хорошая.

Роман я все-таки напишу[97]. Не все же одному Алексею Толстому. Не знаю, чем только его тормозить.

Выпал ли в Херингсдорфе[98] снег, и поставил ли Соловей свою зимнюю юрту и проч. проч.

В Праге проживу около месяца. Я дальше месяца вперед ничего не думаю.

Прибыли из Питера с Еф<имом> Яковлевичем Белицким[99] 20 рисунков Владимира Лебедева, изображающих типы русской революции: солдаты, матросы, проститутки, танцулька (танцулька, конечно, не тип) и проч.[100]

Очень интересно и совсем не карикатурно.

Сижу, пишу книжку «Современная русская проза», заглавие переменю. Читаю Вашу книжку о Толстом[101]. Как хорошо! Какой изумительный писатель Максим Горький.

И как он мало знает об этом. Алексей Максимович, я думаю, что Вы получили мировую известность не благодаря идейному содержанию своих вещей и т. д., а вопреки ему.

Если бы Вы были рыбой, то жили бы в очень глубоких местах океана, но на сушу все же бы лазали из любопытства и икру метать[102].

Хожу по кино. Живу глупо. Ну, это судьба.

Сюда приехали Оцуп, Альтман, Артур Лурье[103] и проч. проч.

О моей жене заботились все время Жак, Шагинян[104] и Давид Выгодский.

Ваш

---

[93] Роман Осипович Якобсон (1896–1982) в то время – близкий друг Шкловского. Впервые после побега Шкловский встретился с ним в Праге в октябре 1922 г.

[94] Павел Николаевич Мостовенко (1881–1939) – советский дипломат, сотрудник посольства в Чехословакии, друг Р. О. Якобсона.

[95] Иван Павлович Ладыжников (1847–1945) – издательский деятель.

[96] Речь идет о книге «Литература и кинематограф», вышедшей в 1923 г. в Берлине.

[97] См. «замысел» его в письме 11-м.

[98] В Герингсдорфе Горький жил с конца мая по 25 сентября 1922 г.

[99] Ефим Яковлевич Белицкий – издательский деятель. В 1922 г. работал в издательстве «Эпоха», был представителем журнала «Беседа» в России.

[100] Речь идет о цикле из 23 рисунков Владимира Васильевича Лебедева (1891–1967) «Улицы революции» (позднее получившем название «Панель революции», 1922).

[101] Имеется в виду книга Горького «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» (Пб., 1919; с дополнениями переиздано в 1921 г. в Берлине). Восторженные отзывы об этой книге см. у Шкловского также в СП (с. 199–200), в статье «Новый Горький» (ГС. С. 207–209) и мн. др.

[102] Ср. в воспоминаниях Горького о Толстом: «Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно – в пресные воды рек» *(Горький М*. ПСС. М., 1973. Т. XVI. С. 267).

[103] Николай Авдиевич Оцуп (1894–1958) – поэт, эмигрировал в конце 1922 г. Натан Исаевич Альтман (1889–1970) – художник. Артур Соломонович Лурье (1892–1966) – композитор, эмигрировал в 1922 г.

[104] Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982).

Виктор Шкловский.
18 сентября 1922 года.

13 Дорогой Алексей Максимович.

Положение отчаянное. Денег 200 марок.

Издатели думают, покупать ли сборник «Поэтика Пушкина»[105], а если и купят, там моего (подписанного моим именем) мало.

Денег нет, поэтому не обедаю.

Очень глупо. А нужно сидеть и писать «Роман тайн у Диккенса»[106]. Нужно писать для себя, для души, а нельзя.

Объявляю, что пролетариат (я) без журнала жить не может, писать негде и есть нечего.

Паники у меня нет, так как я купил в свои цветущие времена три мешка картошки, которую и смогу есть. Но скучно.

Писать хочется.

Алексей Максимович, я не знаю, для чего издают книги. Подозреваю, что это не очень выгодно. Ни Петру Петровичу[107], ни Ладыжникову, ни Гржебину из книги И<ш>лонского[108] (кажется) не нужен журнал. Но нам очень нужен.

Заставьте их его издавать.

Я буду в нем щебетать, как жаворонок, так как журнал моя родина.

Скучаю и хожу от отчаянья небритый.

Приехал Петр Богатырев[109] с немецкой походкой. Живем вместе, очень милый середняк.

К Вам приедет, если разрешите, в понедельник[110].

От жены писем нет.

Говорят, она похудела.

Не понимаю, зачем мучат бедных животных?

Какой сволочи надо, чтобы я был несчастлив.

Пока скучно. Привет всем всем.

Дука, дорогой, я хочу писать.

Найдите человека, который купил бы меня.

Мне нужен минимальный уход, как козе, я буду давать шерсть, молоко и м<е>кать даром.

Эх.

В баню, например, тоже нужно ходить. А для чего жить, невозможно понять.

А я напишу повесть «Шеповалый», это из гимназического бытования. Сценка: двое, еврей и русский (мальчики), подрались. На еврее (фамилия его Хаст) расстегнулась куртка, он снял ее. На рубашку его одета жилетка с цветочками, для тепла. А которые русские, те

---

[105] В это время Шкловский составлял сборник «Очерки по поэтике Пушкина» (вышел в 1923 г. в Берлине в издательстве «Эпоха»), в который вошли статьи П. Г. Богатырева, Б. В. Томашевского и самого Шкловского.

[106] Осенью 1922 г. Шкловский написал статью «Роман тайн» (последнее название), которую в конце 1922 г. выслал жене для публикации в России. Статья была опубликована в № 4 журнала «Леф», вышедшем в начале 1924 г.

[107] Петр Петрович Крючков (1889–1938) – в то время уполномоченный советского постпредства в Берлине по русско-германскому торговому и книгоиздательскому акционерному обществу «Книга» (позднее – «Международная книга», 1921–1931). С декабря 1921 г. исполнял обязанности литературного секретаря Горького.

[108] Фамилия читается предположительно. Очевидно, имеется в виду работа врача Н. Ишлондского «Этюды сексуальной биологии», первая часть которой – «Произвольное изменение пола и искусственное омоложение по проф. Э. Штейнаху» – вышла в 1923 г. в Берлине. Горький в это время интересовался идеями Э. Штейнаха.

[109] Петр Григорьевич Богатырев (1893–1971) – литературовед, фольклорист. В 1921–1940 гг. – в научной командировке в Чехословакии. В ноябре 1922 г. прожил несколько дней в Берлине.

[110] Описание визита Шкловского и П. Г. Богатырева к Горькому см. в позднейших воспоминаниях Шкловского: О Горьком // Знамя. 1937. № 6. С. 260.

такой не носят, ни одному из них не придет в голову одеть такую жилетку, и они смотрят на него с осуждением, и он им чужой.

Не знаю, понятно ли?

Или как гимназист подложил под ножки кровати, на которой лежал с женщиной, учебники, чтобы не шуметь, и протер насквозь толстый латинский словарь.

Это легенда.

Целую Вас

Виктор.

Дано 10 ноября в Берлинове.

14 <Конец октября – ноябрь 1922 года>

Дорогой Алексей Максимович.

Получил письмо из России. Там сравнительно благополучно, за женой ухаживают все, даже чистильщики сапог. Может быть, она сможет приехать[111]. Брата моего Владимира[112] сослали в Архангельск. Изумительные сволочи.

Приеду к Вам на днях.

О журнале говорил с П. П. К.[113]

Нам все равно, кто издаст, только бы покрепче.

У меня к Вам просьба.

Меня разыскала в Берлине моя ученица, Эмилия Эмануиловна Летауер, 21 года, студентка Петр<оградского>университета и Института истории искусств. У нее были хорошие работы по Толстому. Сейчас ее здесь не принимают в Университет. Не можете ли Вы написать записку какому-нибудь министру Народ. Просвещения или какому иному Эйнштейну, что девочка талантливая и что ей работать очень нужно.

Я же хожу по Берлину небритым. Роман[114] кутит так, что даже жутко. Он запивает мыслью.

Вижу Маяковского[115]. В России, очевидно, здорово плохо. Ну что ныть.

Серапионы, кажется, опять повеселели. Это Ладыжников[116].

Виктор.

Мой адрес: Kleiststrasse, 11.

15 <14 февраля 1923 года>

Дорогой Алексей Максимович.

Через «Эпоху» и по Максиму увидал, что в Саарове меня хотят высечь[117].

---

[111] Осенью 1922 – летом 1923 г. Шкловский пытается неоднократно организовать нелегальный приезд В. Г. Шкловской-Корди в Берлин. Активно помогали ему в этом Я. Л. Израилевич, Э. Шиман, Е. В. Равдель и др. Однако это устроить не удалось. Н. Н. Берберова называет одной из главных причин возвращения Шкловского в Россию разлуку с женой (*Берберова Н.* Курсив мой // Октябрь. 1988. № 11. С. 168).

[112] Владимир Борисович Шкловский (1889–1937?) – литературовед, переводчик, библиограф. Краткие сведения о нем см.: *Галушкин А.* Четыре письма Виктора Шкловского // Странник: Литература, искусство, политика. М., 1991. Вып. II. С. 77–78.

[113] Крючков П. П.

[114] Р. О. Якобсон в это время находился в Берлине.

[115] В. В. Маяковский пробыл в Берлине с октября по ноябрь 1922 г.

[116] Это связано, очевидно, с перспективами издания произведений «Серапионов» за рубежом (в частности, в «Книге», сотрудником которой был И. П. Ладыжников), о которых неоднократно упоминается в «берлинских» письмах Шкловского. Ср. об этом же в письмах Горького к М. Л. Слонимскому середины 1922 г. (ЛН. С. 376, 379–380, 383).

[117] Речь идет о реакции Горького на скандальное выступление Шкловского, которое, как опасался Горький, могло дискредитировать журнал «Беседа» (Шкловский входил в его редколлегию). Вспоминая о подготовке первого номера журнала, В. Ф. Ходасевич писал: «Было уже приступлено к составлению первого номера, когда разыгрался „скандал“ <…>. 12 февраля, в берлинском Клубе писателей состоялся доклад поэта С. Рафаловича, приглашенного нами в „Беседу“. Шкловский возражал докладчику в совершенно недопустимой форме. Горький был этим крайне раздражен, о чем до сведения Шкловского

Сообщаю следующее.

В истории с Рафаловичем[118] я, конечно, не прав.

Причина скандала следующая: у меня температура была 82,61 (номер одного телефона).

Одним словом, я влюблен, очень в любви несчастен, и как вылезу из этой истории, не знаю[119].

Прошу себе моратория на две недели.

Рафалович же бездарь ужасная, сверхъестественная, и я это знаю наверняка, и мораторий даже на два года ему не поможет.

Мне очень тяжело и больно ссориться с Вами, с Ходасевичем; хотя он в данном случае и прав, конечно, все<-таки> я поссорюсь.

Разная кровь.

Предположим, его лучше, а у меня больше.

Думаю, что журналу вся эта история не помешает, тем более, что на берлинском рынке я величина сравнительно незначительная и довольно легко ликвидируемая.

Если я компрометирую каких-либо профессоров, то я уйду к себе в ОПОЯЗ, где мне тепло, уютно, где я никого не компрометирую.

Посылаю Вам три своих отрывка для журнала[120].

Е<с>ли они плохи, это меня очень огорчит.

Жена едет[121].

Но хлопочет о ней Жак[122] по прозвищу «недостоверный».

Так отвык писать не любовные письма, что с трудом называю Вас не женским именем и не целую Вас через слово.

Приеду в воскресенье.

Был болен гриппом. Сейчас имею невроз сердца.

Не человек, а битый Чаплин.

Страна Европа вежлива, носят здесь брюки со складкой.

Ходасевич подходит для этого больше меня.

Мне же больше нравится дома.

Я учился вести себя не у Зайцева[123] и не у Зайцев<ых>, а у своих друзей.

Ну ладно, сговоримся, или не сговоримся.

Виктор Шкловский.

Очень прошу о моратории.

Я тону. Вода у меня в ушах.

14 февраля 1923 года.

16 <Конец января – начало марта 1923 года>

ского было доведено через С. Г. Каплуна-Сумского (директора издательства „Эпоха“. – *А. Г.*] и через сына Горького. Шкловский прислал свои извинения» (Новый журнал (Нью-Йорк). 1952. № 29. С. 207). Процитировав «извинения» Шкловского, Горький писал Ходасевичу: «Все это меня нисколько не утешает и не изменяет моего отношения к скандалу» (Там же. С. 206). После этого скандала Шкловский в качестве сотрудника «Беседы» в письмах Горького не упоминается.

[118] Рафалович Сергей Львович (1875–1943) – поэт. Выступил с докладом о футуризме не 12-го, как указывает Ходасевич, а 9 февраля 1923 г. [на] «пятнице» в берлинском Доме искусств, см.: Новая русская книга (Берлин). 1923. № 2. С. 39.

[119] Шкловский в это время был влюблен в Эльзу Триоле.

[120] Речь идет о трех «письмах» из книги «Zoo, или Письма не о любви», опубликованных в первом номере «Беседы». О них Горький писал Ходасевичу: «Первые два – мне решительно не нравятся, но „Холод“ я очень прошу Вас прочитать. Мне нужно знать Ваше мнение к воскресенью. „Холод“, разумеется, требует серьезнейших поправок и, кое-где, сокращений» (Новый журнал (Нью-Йорк). 1952. № 29. С. 206).

[121] См. примеч. 1 к письму 14-му.

[122] Я. Л. Израилевич.

[123] Очевидно, речь идет о писателе Борисе Константиновиче Зайцеве (1881–1972), находившемся в то время в Берлине.

Дорогой Алексей Максимович.

Книжка Zoo подвигается довольно быстро. Сейчас еду в Гамбург с Криммером[124] и надеюсь там ее дописать. Живу душевно очень тяжело и не хорошо. Но надеюсь дописать и освободиться. Очень, очень трудно.

Я думаю, что сам все выдумал, но от этого мне не легче. Целую Ваш «Рассказ о безответной любви»[125]. У Вас за прозой песня, т. е. разорванные стихи, которые должны быть в основе рассказа. Жить и писать трудно.

Жена едет, слава Богу, а не то я убью кого-нибудь. Был в Дрездене, там хорошо. Сикстинская мадонна Вам кланяется. Кранах замечательный. Кроме того, Эльба.

Пишу не очень много, но думаю о книге целый день. Книга и жизнь переплелись.

Забавно очень.

Привет всем, всем, всем.

Виктор.

17 <Вторая половина февраля – начало марта 1923 года>

Алексей Максимович.

Я погибаю. Хожу по улицам и плачу.

Виновен сам.

Неумел в любви и чувствителен к жестокости.

Из России вестей нет.

Жена пишет на адрес Пуни, Пуни в Праге[126].

Хожу по улицам и плачу.

Виктор.

Книжку кончаю, часть в переписке, часть в переделке, в воскресенье приеду читать, или в понедельник[127].

18 <Вторая половина февраля – начало апреля 1923 года>

Еду завтра[128]. Посылаю к Вам десять новых стихотворений Елены Феррари[129].

Кажется, она пишет теперь лучше, чем раньше.

Посмотрите их.

Скучаю. Вчера был неприятнейшим образом пьян.

Очень не хорошо.

А. Белый издал «Петербург», сократив его на 1/3. Теперь больше похоже на роман[130].

Его воспоминания о Блоке[131] совсем не о Блоке и не воспоминания, но хороши.

---

[124] Фридрих Эдуардович Криммер (1888–?) – экономист, знакомый Горького и Шкловского.

[125] «Рассказ о безответной любви» был опубликован в № 3 «Беседы», вышедшем в сентябре – октябре 1923 г. Шкловский познакомился с ним в рукописи (см. упоминание в статье Шкловского «Новый Горький», писавшейся в Берлине до выхода № 3 «Беседы»: «Еще неопубликованный хороший рассказ „О любви безответной“» // Россия. 1924. № 2. С. 198).

[126] Иван Альбертович Пуни (1894–1956) – художник, близкий друг Шкловского. В 1921–1923 гг. жил в Берлине. Его отъезд в Прагу был вызван болезнью жены, К. Л. Богуславской-Пуни, находившейся там в связи с работой в одном из чешских театров.

[127] Об этом чтении, возможно, Шкловский упоминает в письме от 25 марта 1923 г. жене: «Помирился с Дукой, за то, что ему понравилась моя книга. Это подкупает» (ЦГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 450). Отдельным изданием «Zoo» вышло только летом 1923 г.

[128] Речь идет о второй поездке в Дрезден, состоявшейся в апреле 1923 г.

[129] Елена Константиновна Феррари (псевдоним Ольги Федоровны Голубевой, 1899–1939) – поэтесса, берлинская знакомая Горького и Шкловского. Речь, очевидно, идет о ее стихотворениях, предназначавшихся для 2-го номера «Беседы» (см. письмо Горького Феррари от 24 апреля 1924 г. – ЛН. С. 574). См. также рекомендательное письмо Шкловского И. М. Здыневичу в Париж (*Гейро Р.* Три письма Виктора Шкловского // Литературное приложение. № 5 [к газете «Русская мысль» от 25 декабря 1987 г.]).

[130] Роман «Петербург» в так называемой берлинской редакции вышел в 1922 г. в Берлине.

[131] «Воспоминания о Блоке» Белого печатались в журнале «Эпопея» с апреля 1922 по июнь 1923 г.

Желаю Вам уйму счастья.
Вы для меня самый дорогой человек в Европе.
Виктор.

19 <Не позднее 10 апреля 1923 года>

Склонения	Спряжения
И. Чарль.	Я Чарлю
Р. Чарля.	Ты Чарлишь
Д. Чарлю.	Он Чарлит
В. Чарля.	Мы Чарлим
Т. Чарлем.	Вы Чарлите
П. О Чарле.	Они Чарлят

Очень хорошо, и не понимаю, чего Вы сердитесь.
Ей Богу, больше не буду.
Завтра же напишу Дон Кихота.
Виктор.

20 16 июля 1923 года

Дорогой Алексей Максимович.

Посылаю Вам «Жареного принца»[132], а сам сегодня уезжаю на море. Жду Люсю в течение ближайших недель, незаконным способом. «Цоо» еще в машине[133]. Я почти ничего не делаю и бегаю с фильмами. Надеюсь только на то, что, если приедет Люся, то она возьмет меня за ухо и приведет в чувство. О Серапионах я написал статью, и книга уже переведена[134]. Переведены следующие вещи: «Дите» Всев. Иванова, «Сад» Федина, «Дикий» Слонимского, «В пустыне» Лунца и «Пес» Никитина. Очень прошу Вас через Марью Игнатьевну указать номер того журнала, в котором была Ваша статья о Серапионах[135], которую (два раза которой) Вы мне разрешили использовать. Лучше было бы иметь ее русский текст, так как перевод на немецкий язык с перевода на французский будет перевод довольно дальний. Адрес: Тауентциенштрассе, 7, «Руссторгфильм»[136], Виктору Шкловскому. Никитин немножко опильняковел[137]. Привожу его в чувство. Но он улетел в Лондон. Остается только молиться за него. На днях пришлю Вам «Цоо» и надеюсь сесть за какую-нибудь пристойную работу. Всего хорошего.

Виктор Шкловский.

21 <До 15 сентября 1923 года>

Дорогой Дука.

---

[132] Речь, очевидно, идет о сказке из недошедшего до нас цикла «Рассказы игрушечного мастера», над которым Шкловский работал в 1923 г. Отзыв о нем Горького сохранился в его письме В. Ф. Ходасевичу: «Был Шкловский <…>. Пишет сказочки. Не плохо» (письмо от 21 августа 1923 г. // Новый журнал (Нью-Йорк). 1952. № 30. С. 192). По-видимому, к этому циклу принадлежит и опубликованная «Сказка о синем шакале» (Новый Огонек (Берлин). 1923. № 3).

[133] «Zoo» вышло в издательстве «Геликон» во второй половине июля 1923 г.

[134] Речь идет о переводе сборника «Серапионовы братья» (перечисленные ниже Шкловским произведения «Серапионов» были как раз опубликованы в этом сборнике) на немецкий язык. Очевидно, статья Шкловского предназначалась для его отдельного немецкого издания, которое в свет не вышло.

[135] См. примеч. 7-е к письму 12-му. Марья Игнатьевна – Будберг М. И.

[136] «Руссторгфильм» – посредническая фирма по закупке и продаже в СССР зарубежных фильмов, в которой Шкловский работал до своего отъезда.

[137] Николай Николаевич Никитин (1885–1963) – член содружества «Серапионовы братья», с мая по сентябрь 1923 г. был вместе с Б. Пильняком за границей (Германия, Бельгия, Великобритания); с конца июня – в Берлине.

Хожу по улицам и пою. 15<-го> уезжаю в Россию[138]. Паспорта еще нет. Делаю все самым глупым образом. Знаю, что не так, и все-таки делаю.

Сейчас пишу Вам и пою: «Мой друг, о, дай мне руку». Слова песни установил с трудом.

Итак, я еду и остальное зависит от крепости моих костей. Сколько самоубийств было совершено для того, чтобы пожалели. Но мне не нужно ничего. Я не люблю никого. «Кончено», как говорят (предположим) матери, родившей мертвого ребенка.

«Как», «как», «как» я любил.

Я не люблю ее сейчас, Алексей Максимович. Но вот моя просьба.

Эльза Триоле[139] вся ранена мелкими ранами. Ее оскорбили незаслужено. Она одна, Дука, и я ее сейчас оставляю. Она не виновата передо мной.

Я вызвал ее к жизни и, клянусь своей честью и нюхом, который меня не обманул ни разу, она очень талантлива.

Я не сумел довести ее до конца работы.

Она слишком царапалась.

Алексей Максимович, это пишет не влюбленный.

Сейчас она доканчивает свою книгу[140].

Это решается ее жизнь: работа или джимми[141], уверенность в себе или рабский (сперва), а потом пренебрежительный взгляд на мужчину.

Если бы <Вы> смогли написать предисловие к ее книжке или взять ее в «Беседу», то Вы сделали бы ее этим писателем.

Я вижу, на веревке или проволоке качается и упадет сейчас человек, перед которым я ответственен. Я разбудил ее и дал ей пить соленой воды.

А я, как во сне, не могу протянуть ей руку.

Между тем эта женщина очень большой человек. И нужна в литературе.

Алексей Максимович, Вы судьбой поставлены быть консулом душ и пастырем стада.

Освободите меня от моей вины.

Книга же, как известно, хорошая, т. е. своя.

Дайте человеку зацепиться. Дайте ему удачу в жизни, и он будет жить.

И, честное слово, я ее не люблю.

Не видал месяц и не писал.

Я свободен, но это нужно сделать, так как мы ответственны за души.

А я уезжаю. Придется лгать, Алексей Максимович.

Я знаю, придется лгать.

Не жду хорошего.

Прощайте. «Пока», как говорят, когда говорят плохо. Прощайте, Дука, я очень люблю Вас.

Ответьте мне.

Берлин. Кайзер аллей, 207.

---

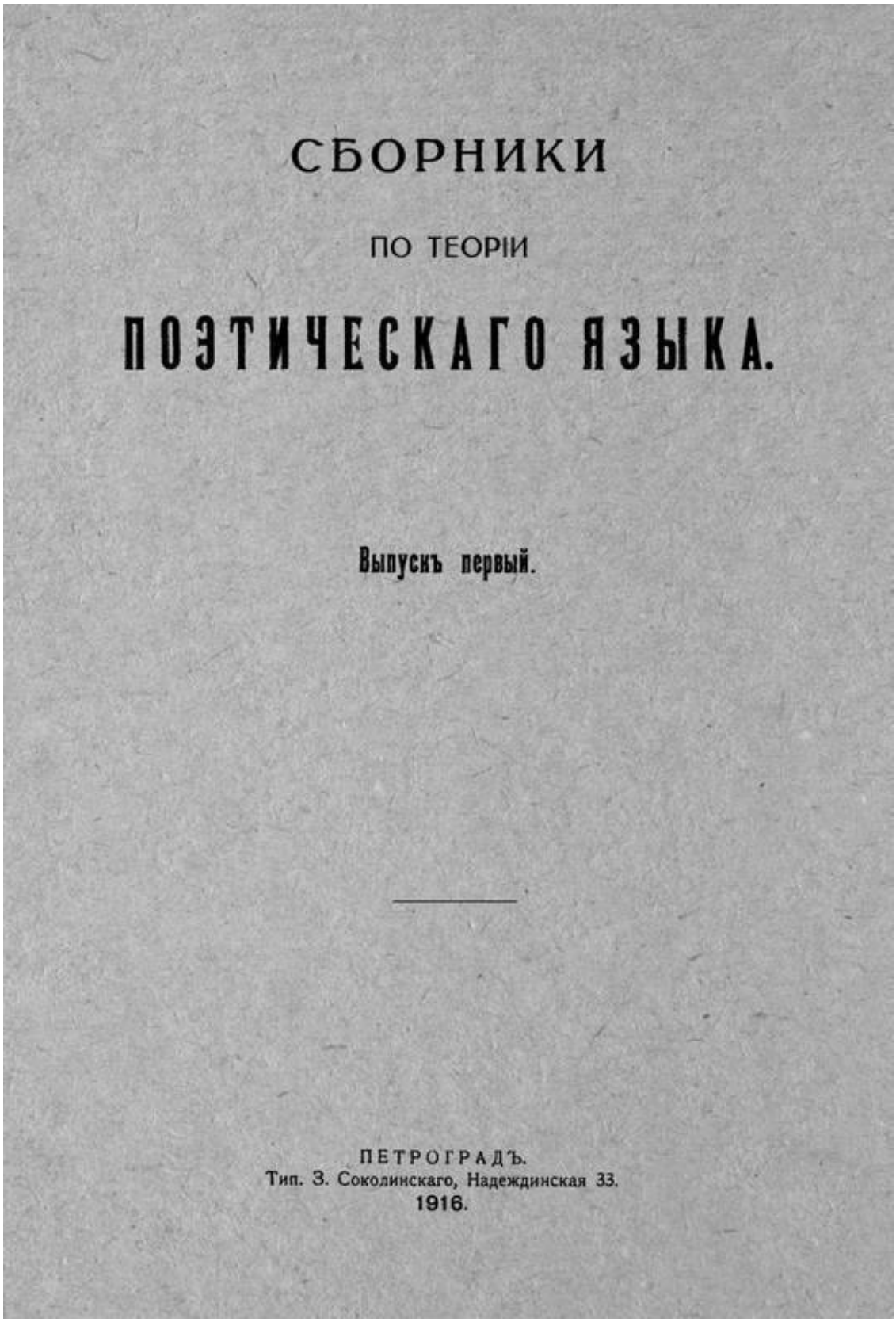
[138] Письмо написано накануне предполагавшегося отъезда Шкловского в Россию 15 сентября 1923 г. Судя по письмам В. Г. Шкловской-Корди, он выехал только месяц спустя, в начале октября.

[139] Триоле Эльза Юрьевна (урожденная Каган, 1896–1970) – родная сестра Л. Ю. Брик, героиня «Zoo», любовная переписка которой со Шкловским легла в основу книги.

[140] Речь идет о первой книге Э. Триоле «На Таити». История ее создания известна по нескольким источникам; обобщенная версия такова: Шкловский использовал в книге «Zoo» письмо Триоле, посвященное ее пребыванию на Таити. Горький, познакомившись с книгой или в рукописи, или в чтении Шкловского в Саарове (см. примеч. 2-е к письму 17-му), отметил его литературные достоинства и написал об этом Шкловскому (см.: Архив А. М. Горького. М., 1960. Т. VIII. С. 395). Это письмо, а также последовавшее знакомство с Горьким, убедили Триоле начать писать. Книга «На Таити» вышла отдельным изданием в 1925 г. в Москве, рецензенты отмечали творческую зависимость Триоле от Шкловского (см., напр., отзыв А. З. Лежнева – Жизнь искусства. 1926. № 26).

[141] Джимми (шимми) – модный в 1920-х гг. танец.

Pension Mahrzan.


СБОРНИКИ

ПО ТЕОРІИ

ПОЭТИЧЕСКАГО ЯЗЫКА.

Выпускъ первый.

ПЕТРОГРАДЪ.
Тип. З. Соколинскаго, Надеждинская 33.
1916.

Революция формы

Воскрешение слова

Слово-образ и его окаменение. Эпитет как средство обновления слова. История эпитета – история поэтического стиля. Судьба произведений старых художников слова такова же, как и судьба самого слова: они совершают путь от поэзии к прозе. Смерть вещей. Задача футуризма – воскрешение вещей – возвращение человеку переживания мира. Связь приемов поэзии футуризма с приемами общего языка мышления. Полупонятный язык древней поэзии. Язык футуристов.

Древнейшим поэтическим творчеством человека было творчество слов. Сейчас слова мертвы, и язык подобен кладбищу, но только что рожденное слово было живо, образно. Всякое слово в основе – троп. Например, месяц: первоначальное значение этого слова – «меритель»; горе и печаль – это то, что жжет и палит; слово «enfant» (так же, как и древне русское – «отрок») в подстрочном переводе значит «неговорящий». Таких примеров можно привести столько же, сколько слов в языке. И часто, когда добираешься до теперь уже потерянного, стертого образа, положенного некогда в основу слова, то поражаешься красотой его – красотой, которая была и которой уже нет.

Слова, употребляясь нашим мышлением вместо общих понятий, когда они служат, так сказать, алгебраическими знаками и должны быть безóбразными, употребляясь в обыденной речи, когда они не договариваются и не дослушиваются, – стали привычными, и их внутренняя (образная) и внешняя (звуковая) формы перестали переживаться. Мы не переживаем привычное, не видим его, а узнаем. Мы не видим стен наших комнат, нам так трудно увидать опечатку в корректуре, особенно если она написана на хорошо знакомом языке, потому что мы не можем заставить себя увидать, прочесть, а не «узнать» привычное слово.

Если мы захотим создать определение «поэтического» и вообще «художественного» восприятия, то, несомненно, натолкнемся на определение: «художественное» восприятие – это такое восприятие, при котором переживается форма (может быть, и не только форма, но форма непременно). Справедливость этого «рабочего» определения легко доказать на тех случаях, когда какое-нибудь выражение из поэтического становится прозаическим. Например, ясно, что выражения «подошва» горы или «глава» книги при переходе из поэзии в прозу не изменили свой смысл, но только утратили свою форму (в данном случае – внутреннюю). Эксперимент, предложенный А. Горнфельдом в статье «Муки слова»: переставить слова в стихотворении —

Стих, как монету, чекань
Строго, отчетливо, честно,
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям – просторно, —

чтобы убедиться в том, что с потерей формы (в данном случае – внешней) это стихотворение обращается в «заурядный дидактический афоризм»[142], – подтверждает правильность предложенного определения.

Итак: слово, теряя «форму», совершает непреложный путь от поэзии к прозе *(Потебня, «Из записок по теории словесности»)*.

Эта потеря формы слова является большим облегчением для мышления и может быть необходимым условием существования науки, но искусство не могло удовольствоваться этим выветрившимся словом. Вряд ли можно сказать, что поэзия наверстала ущерб, понесенный ею при потере образности слов, тем, что заменила ее более высоким творчеством – например, творчеством типов, – потому что в таком случае она не держалась бы так жадно за образное слово даже на таких высоких ступенях своего развития, как в эпоху эпических сводов. В искусстве материал должен быть жив, драгоценен. И вот появился эпитет, который не вносит в слово ничего нового, но только подновляет его умершую образность; например: солнце ясное, удалой боец, белый свет, грязи топучие, дробен дождь… В самом слове «дождь» заключается понятие дробности, но образ умер, и жажда конкретности, составляющая душу искусства (Карлейль), потребовала его подновления. Слово, оживленное эпитетом, становилось снова поэтическим. Проходило время – и эпитет переставал переживаться – в силу опять-таки своей привычности. И эпитетом начали орудовать по привычке, в силу школьных преданий, а не живого поэтического чутья. При этом эпитет до того уже мало переживается, что довольно часто его применение идет вразрез с общим положением и колоритом картины; например:

Ты не жги свечу сальную,
Свечу сальную, воску ярого,
(Народная песня), —

или «белые руки» у арапа (сербский эпос), «моя верная любовь» староанглийских баллад, которая применяется там без различия, – идет ли дело о верной или о неверной любви, или Нестор, подымающий среди белого дня руки к звездному небу, и т. д.

Постоянные эпитеты сгладились, не вызывают более образного впечатления и не удовлетворяют его требованиям. В их границах творятся новые, эпитеты накопляются, определения разнообразятся описаниями, заимствованными из материала саги или легенды *(Александр Веселовский, «Из истории эпитета»)*. К позднейшему же времени относятся и сложные эпитеты.

«История эпитета есть история поэтического стиля в сокращенном издании» *(А. Веселовский. Собр. соч., СПб., 1913, т. 1, стр. 58)*. Она показывает нам, как уходят из жизни все вообще формы искусства, которые так же, как и эпитет, живут, окаменевают и наконец умирают.

Слишком мало обращают внимания на смерть форм искусства, слишком легкомысленно противопоставляют новому старое, не думая о том, живо оно или уже исчезло, как исчезает шум моря для тех, кто живет у берегов, как исчез для нас тысячеголосый рев города, как исчезает из нашего сознания все привычное, слишком знакомое.

Не только слова и эпитеты окаменевают, окаменевать могут целые положения. Так, например, в багдадском издании арабских сказок путешественник, которого грабители разделили донага, взошел на гору и в отчаянии «разорвал на себе одежды». В этом отрывке застыла до бессознательности целая картина.

---

[142] *Горнфельд А.* Муки слова. СПб., 1906. С. 41.

Судьба произведений старых художников слова такова же, как и судьба самого слова. Они совершают путь от поэзии к прозе. Их перестают видеть и начинают узнавать. Стеклянной броней привычности покрылись для нас произведения классиков, – мы слишком хорошо помним их, мы слышали их с детства, читали их в книгах, бросали отрывки из них в беглом разговоре, и теперь у нас мозоли на душе – мы их уже не переживаем. Я говорю о массах. Многим кажется, что они переживают старое искусство. Но как легки здесь ошибки! Гончаров недаром скептически сравнивал переживания классика при чтении греческой драмы с переживаниями гоголевского Петрушки[143]. Вжиться в старое искусство часто прямо невозможно. Поглядите на книги прославленных знатоков классицизма, – какие пошлые виньетки, снимки с каких упадочных скульптур помещают они на обложках. Роден, копируя годами греческие скульптуры, должен был прибегнуть к измерению, чтобы передать наконец их формы; оказалось, что он все время лепил их слишком тонкими. Так гений не мог просто повторить формы чужого века. И только легкомысленностью и нетребовательностью к своим вживаниям в старину объясняются музейные восторги профанов.

Иллюзия, что старое искусство переживается, поддерживается тем, что в нем часто присутствуют элементы искусству чуждые. Таких элементов больше всего именно в литературе; поэтому сейчас литературе принадлежит гегемония в искусстве и наибольшее количество ценителей. Для художественного восприятия типична наша материальная незаинтересованность в нем. Восхищение речью своего защитника на суде – не художественное переживание, и, если мы переживаем благородные, человечные мысли наших гуманнейших в мире поэтов, то эти переживания с искусством ничего общего не имеют. Они никогда не были поэзией, а потому и не совершили пути от поэзии к прозе. Существование людей, ставящих Надсона выше Тютчева, тоже показывает, что писатели часто ценятся с точки зрения количества благородных мыслей, в их произведениях заключенных, – мерка, очень распространенная, между прочим, среди русской молодежи. Апофеоз переживания «искусства» с точки зрения «благородства» – это два студента в «Старом профессоре» Чехова[144], которые в театре спрашивают один другого: «Что он там говорит? Благородно?» – «Благородно». – «Браво!»

Здесь дана схема отношения критики к новым течениям в искусстве.

Выйдите на улицу, посмотрите на дома: как применены в них формы старого искусства? Вы увидите прямо кошмарные вещи. Например (дом на Невском против Конюшенной, постройки арх. Лялевича), на столбах лежат полуциркульные арки, а между пятами их введены перемычки, рустованные как плоские арки. Вся эта система имеет распор на стороны, с боков же никаких опор нет; таким образом, получается полное впечатление, что дом рассыпается и падает.

Эта архитектурная нелепость (не замечаемая широкой публикой и критикой) не может быть в данном случае (таких случаев очень много) объяснена невежеством или бесталанностью архитектора.

Очевидно, дело в том, что форма и смысл арки (как и форма колонны, что тоже можно доказать) не переживается, и она применяется поэтому так же нелепо, как нелепо применение эпитета «сальная» к восковой свече.

Посмотрите теперь, как цитируют старых авторов.

К сожалению, никто еще не собирал неправильно и некстати примененные цитаты; а материал любопытный. На постановках драмы футуристов публика кричала «одиннадцатая верста», «сумасшедшие», «Палата № 6», и газеты перепечатывали эти вопли с удовольствием, – а между тем ведь в «Палате № 6» как раз и не было сумасшедших, а сидел по неве-

[143] Отсылка к «Воспоминаниям» И. Гончарова не совсем точна.

[144] Имеется в виду «Скучная история» А. Чехова.

жеству посаженный идиотами доктор и еще какой-то философ-страдалец. Таким образом, это произведение Чехова было притянуто (с точки зрения кричавших) совершенно некстати. Мы здесь наблюдаем, так сказать, окаменелую цитату, которая значит то же, что и окаменелый эпитет, – отсутствие переживания (в приведенном примере окаменело целое произведение).

Широкие массы довольствуются рыночным искусством, но рыночное искусство показывает смерть искусства. Когда-то говорили друг другу при встрече: «здравствуй» – теперь умерло слово – и мы говорим друг другу «асте». Ножки наших стульев, рисунок материй, орнамент домов, картины «Петербургского общества художников»[145], скульптуры Гинцбурга – все это говорит нам – «асте». Там орнамент не сделан, он «рассказан», рассчитан на то, что его не увидят, а узнают и скажут – «это то самое». Века расцвета искусства не знали, что значит «базарная мебель». В Ассирии – шест солдатской палатки, в Греции – статуя Гекубы, охранительницы помойной ямы, в Средние века – орнаменты, посаженные так высоко, что их и не видно хорошенько, – все это было сделано, все было рассчитано на любовное рассматривание. В эпохи, когда формы искусства были живы, никто бы не внес базарной мерзости в дом. Когда в XVII веке в России развелась ремесленная иконопись и «на иконах появились такие неистовства и нелепости, на которые не подобало даже смотреть христианину», – это означало, что старые формы уже изжиты. Сейчас старое искусство уже умерло, новое еще не родилось; и вещи умерли, – мы потеряли ощущение мира; мы подобны скрипачу, который перестал осязать смычок и струны, мы перестали быть художниками в обыденной жизни, мы не любим наших домов и наших платьев и легко расстаемся с жизнью, которую не ощущаем. Только создание новых форм искусства может возвратить человеку переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм.

Когда в припадке нежности или злобы мы хотим приласкать или оскорбить человека, то нам мало для этого изношенных, обглоданных слов, и мы тогда комкаем и ломаем слова, чтобы они задели ухо, чтобы их увидали, а не узнали. Мы говорим, например, мужчине – «дура», чтобы слово оцарапало; или в народе («Контора» Тургенева) употребляют женский род вместо мужского для выражения нежности. Сюда же относятся все бесчисленные просто изуродованные слова, которые мы все так много говорим в минуту аффекта и которые так трудно вспомнить.

И вот теперь, сегодня, когда художнику захотелось иметь дело с живой формой и с живым, а не мертвым словом, он, желая дать ему лицо, разломал и исковеркал его. Родились «произвольные» и «производные» слова футуристов. Они или творят новое слово из старого корня (Хлебников, Гуро, Каменский, Гнедов), или раскалывают его рифмой, как Маяковский, или придают ему ритмом стиха неправильное ударение (Крученых). Созидаются новые, живые слова. Древним бриллиантам слов возвращается их былое сверкание. Этот новый язык непонятен, труден, его нельзя читать, как «Биржевку». Он не похож даже на русский, но мы слишком привыкли ставить понятность непременным требованием поэтическому языку. История искусства показывает нам, что (по крайней мере, часто) язык поэзии – это не язык понятный, а язык полупонятный. Так, дикари часто поют или на архаическом языке или на чужом, иногда настолько непонятном, что певцу (точнее – запевале) приходится переводить и объяснять хору и слушателям значение им тут же сложенной песни *(А. Веселовский, «Три главы из исторической поэтики»; Э. Гроссе, «Происхождение искусства»).*

Религиозная поэзия почти всех народов написана на таком полупонятном языке. Церковнославянский, латинский, сумерийский, умерший в XX веке до Рождества Христова и употреблявшийся как религиозный до третьего века, немецкий язык у русских штунди-

[145] Очевидно, «Община художников», возникшая в 1910 г. в Петербурге на базе «Нового союза передвижных выставок».

стов (русские штундисты долгое время предпочитали не переводить немецкие религиозные гимны на русский язык, а учить немецкий. – Достоевский, «Дневник писателя»).

Я. Гримм, Гофман, Геббель отмечают, что народ часто поет не на диалекте, а на повышенном языке, близком к литературному; «песенный якутский язык отличается от обиходного приблизительно так же, как наш славянский от нынешнего разговорного» (Короленко, «Ат-Даван»). Арно Даниель с его темным стилем, затрудненными формами искусства (Schwere Kunstmanier), жесткими (harten) формами, полагающими трудности при произнесении *(Diez, «Leben und Werke der Troubadours». S. 285*), dolce stil nuovo (XII век) у итальянцев – все это языки полупонятные, а Аристотель в «Поэтике» (гл. 23) советует придавать языку характер иноземного. Объяснение этих фактов в том, что такой полупонятный язык кажется читателю, в силу своей непривычности, более образным (отмечено, между прочим, Д. Н. Овсянико-Куликовским).

Слишком гладко, слишком сладко писали писатели вчерашнего дня. Их вещи напоминали ту полированную поверхность, про которую говорил Короленко: «По ней рубанок мысли бежит, не задевая ничего». Необходимо создание нового, «тугого» (слово Крученых)[146], на ви́дение, а не на узнавание рассчитанного языка. И эта необходимость бессознательно чувствуется многими.

Пути нового искусства только намечены. Не теоретики – художники пойдут по ним впереди всех. Будут ли те, которые создадут новые формы, футуристами, или другим суждено достижение, – но у поэтов-будетлян верный путь: они правильно оценили старые формы. Их поэтические приемы – приемы общего языкового мышления, только вводимые ими в поэзию, как введена была в поэзию в первые века христианства рифма, которая, вероятно, существовала всегда в языке.

Осознание новых творческих приемов, которые встречались и у поэтов прошлого – например, у символистов, – но только случайно, – уже большое дело. И оно сделано будетлянами[147].

---

[146] *Крученых А., Хлебников В.* Слово как таковое. (СПб., 1913). С. 3.

[147] В рукописи ст. заканчивалась: «Их путь правилен, и если они погибнут, не дойдя до цели, то погибнут в великом предприятии» (64).

Предпосылки футуризма

I

Судьба произведений старых художников слова такова же, как и судьба самого слова. Они совершают путь от поэзии к прозе. Сейчас язык наш – кладбище слов, но когда-то слова жили, и жили поэтической жизнью. Каждое слово в основе – образ, например слово «горе» заключало в себе представление чего-то жгучего, горячего. Но постоянное употребление в обыденной речи сгладило внешнюю (звуковую) и внутреннюю (образную) форму слова.

Искусство, борясь за душу свою – конкретность (Карлейль[148]), подновило образную сторону слова эпитетом; появились выражения: «белый свет», «грязи топучие», «удалой боец»; но эпитет, становясь постоянным, переставал переживаться и, как потеря образной стороны слова сказывается в выражениях «красные чернила», «серая белка», «паровая конка», так окаменение эпитета сказалось в том, что его стали употреблять некстати, например в сербском эпосе к слову «руки» постоянный эпитет – «белые», и «белыми» руки оказываются даже у арапа; или в русской песне:

Ты гори, гори, свечка сальная,
Свечка сальная, воску яраго.

Здесь эпитет окаменел до бессознательности. Но ведь история эпитета – это история поэтического стиля в сокращенном издании (Александр Веселовский). Сейчас окаменели целые произведения. Стеклянной бронею привычности покрылись для нас произведения классиков, мы слишком хорошо помним, мы слышали с детства, бросали отрывки из них в беглой речи, и теперь для меня цитаты из Пушкина – то же, что возглас «me Hercule»[149] для римлянина-христианина. А когда мы узнали, как группа пушкинианцев (1912) искала в Евгении Онегине, тысячу раз прочитанном ими, фразу Карамзина «смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно», то мы видим, что они дошли до того состояния, в котором бывают, по словам Станиславского, зазубрившиеся артисты: они одним духом говорят свою роль, но не могут пересказать ее содержания. Многие знают, как трудно найти «у Пушкина» опечатку или ошибку в цитировке его, ошибки проскальзывают в магистерские и докторские диссертации и часто их не замечают целые группы ученых специалистов. Пожалейте Пушкина. Дайте ему умереть на время, чтобы ожить. И не противопоставляйте так самонадеянно старое искусство, про которое мы не знаем, живо ли оно, – новому. И жаль, что никто не собирал еще неправильно и некстати приведенных цитат, а материал любопыт-

---

[148] Мировоззрение Карлейля во многих отношениях может быть сопоставлено с позицией Шкловского, оказываясь близким его ранней критике буржуазной культуры. Оно складывалось в эпоху господства в духовной жизни Англии ассоцианистской психологии, утилитаризма в этике и индивидуалистической политической экономии. Такого рода философию Карлейль называл «механической философией прибыли и убытка». В работах «Признаки времени» (1829) и «Характеристика нашего времени» выразилась его критическая позиция по отношению к общественным учреждениям, современной ему общественной философии; Карлейль считал современное ему общество больным, утверждает, что люди слишком озабочены своим «я», слишком носятся со своими проблемами. Люди ничего не делают интуитивно, из глубины своей сущности, все руководствуются затверженными рецептами. Основные публикации Карлейля, которые могли быть известны Шкловскому: Sartor Resartus. Жизнь и мысли герра Тейфельсдрека, кн. 1–3. М., 1902; Этика жизни. Трудиться и не унывать! СПб., 1906; Теперь и прежде. М., 1906; Памфлеты последнего дня. СПб., 1907; Герои, почитание героев и героическое в истории. СПб., 1908.

[149] *«me Hercule»* – лат. клятва «Клянусь Геркулесом!» Скорее всего, взята из романа Генрика Сенкевича «Quo vadis», вышедшего на русском языке в 1896 г., в котором эта клятва часто воспроизводится.

ный. На постановках драмы футуристов публика кричала: «Сумасшедшие», «Палата № 6»! – и газеты регистрировали эти вопли с наслаждением, а между тем весь замысел «Палаты № 6» в том, что туда посажен мещанами не сумасшедший доктор, здоровый более здоровых. Таким образом это произведение Чехова было притянуто с точки зрения кричавших совершенно некстати. Мы здесь наблюдаем окаменелую цитату, которая доказывает то же, что и окаменелый эпитет, – отсутствие переживания:

Ты гори, гори, свечка сальная,
Свечка сальная, воску яраго.

Вжиться в старое искусство часто прямо невозможно; поглядите на книги прославленных знатоков классицизма, какие пошлые виньетки, снимки с каких упадочных скульптур помещают они на обложках. Недаром так скептически отзывается творец исторической поэтики, проф<ессор> Александр Веселовский, о возможности при помощи изучения вернуть суггестивность (подсказывание) старому искусству. Роден, копируя годами греческих классиков, должен был прибегнуть к измерению, чтобы понять, что именно ускользает в его передаче: оказалось, что он все время лепил их слишком тонкими, он повторил ту ошибку, на которую в работах своих учеников жалуются преподаватели в художественных школах.

Выйдите на улицу, посмотрите на дома, как применены в них формы старого искусства, – вы увидите странные вещи (например, дом Мертенса на Невском, постройки архитектора Лелевича).

На столбах лежат полуциркульные арки, а между пятами их введены перемычки, рустованные как плоские арки; вся эта система сверху придавлена еще одним этажом и имеет распор на стороны, с боков же никаких опор нет; получается таким образом полное впечатление, что дом рассыпается и падает; эта архитектурная нелепость, незамечаемая ни широкой публикой, ни критикой, – про дом писали Александр Бенуа и Лукомский[150], – не может в данном случае быть объяснена невежеством или бездарностью архитектора. А между тем в ту пору, когда арка была еще искусством, ее выводили на глаз, по чутью, без вычисления, и теперь ее только проверяют расчетом и видят, что она сделана безупречно (Тэн, «Об уме и познании»). Очевидно, дело в том, что форма и смысл арки, как форма колонн, не переживается, что доказывается тем, что она применяется так же нелепо, как нелепо применение окаменелого эпитета «моя верная любовь» к тому случаю, когда дело именно идет о неверной любви в старой английской балладе. После таких наблюдений как-то странно выглядят бесчисленные воспроизведения памятников древней архитектуры, затемняющие стены наших выставок.

Широкие массы довольствуются рыночным искусством, но рыночное искусство показывает смерть искусства. Искусство заключено в выставки, в особенные, дорогие книги и сепарировано от жизни; оно обратилось в какую-то слишком нарядную игрушку, которой нельзя играть. Когда-то говорили друг другу при встрече «здравствуйте»; теперь умерло слово, и мы говорим друг другу «ассте». Ножки наших стульев, рисунки материй, орнаменты домов, скульптуры Гинцбурга и многих других, картины тысячи художников говорят нам «ассте»; так, орнамент не сделан, он рассказан, рассчитан на то, что его не увидят, а узнают и скажут, что это – «то самое». Все делается с расчетом на какую-то тупую невнимательность к вещам, к жизни. Века живого, а не ретроспективного пассеистического, искусства не знали, что значит базарная мебель. В Ассирии шест солдатской палатки, в Греции статуя Гекубы,

[150] Культ «старого Петербурга» перерос в целое движение. Его основу составила группа художников – К. Сомов, М. Добужинский, племянник А. Бенуа Е. Е. Лансере, а также архитекторы и исследователи архитектуры (И. В. Жолтовский, И. А. Фомин, В. А. Щуко, В. Я. Курбатов и Г. К. Лукомский).

охранительницы помойной ямы, в нашей деревне еще недавно гребень для чесания льна, в Средние века орнаменты, посаженные так высоко, что их не рассмотреть хорошенько, все это было «сделано», все рассчитано на влюбленное рассматривание. Рыночное искусство создала не фабрика, а смерть старых форм искусства. Когда в XVII веке в России развилась рыночная иконопись и «на иконах от неискусных иконописцев появились такие неистовства и нелепости, на которые даже смотреть не подобало доброму христианину»[151], это означало, что старые формы русской иконописи умерли. Сейчас искусство бежало даже из общественных зданий. Пропало чувство материала, мы живем в век цинкового листа, штампованной жести, гипса и олеографии. Вещи умерли, мы потеряли ощущение мира, мы подобны тому скрипачу, который не осязает струны смычком, мы не любим наших домов и платьев и легко расстаемся с жизнью, которой не ощущаем. Блестящее развитие музыки ничего не смогло внести в скудный напев улицы. Старые формы умерли, новые только рождаются, и наша жизнь пока выпала из искусства; в длинном университетском коридоре не найти ни искры искусства, на великой войне мы не находим слов, которые могли бы передать ее. И тщетно мечтал Ван Гог о картине «рыжего солнца», которую можно было бы повесить в трактире. Всем кажется даже естественным, что жизнь людей ушла из искусства.

II

Русский футуризм родился из страстной тоски и желания «вложить» нежное слово в зажиревшее ухо (Маяковский). Когда в припадке нежности или злобы мы хотим приласкать или оскорбить человека, то нам мало для этого изношенных, обглоданных слов, и мы тогда комкаем и ломаем слова, чтобы их нельзя было не «увидать». Мы говорим, например, мужчине «дура», чтобы слово царапало, или («Контора» Тургенева) употребляем женский род вместо мужского для выражения нежности. Сюда же относится явление переиначивания слов, так распространенное в народной речи, преимущественно в мещанстве, как попрекал футуристов Амфитеатров, обративший внимание на аналогию приемов в некоторых частушках с произведениями футуристов. Ведь рифма часто встречается в речи идиотов, но это совершенно не задевает имени Петрарки. Нельзя сравнительную психологию понимать как уравнительную. Сюда же относятся все те изуродованные слова, которые мы все говорим в минуты аффекта и которые так трудно вспомнить. В жажде нового, переживаемого во всей своей протяженности, и «в непреодолимой ненависти к существовавшему до них языку» (пощечина общественному вкусу) футуристы разломали слово, создали новое, разрубили старые рифмы, желая дать языку лицо; тоскуя, слыша в произведениях современников легкий, сладкий, мимо ушей идущий язык, они создали новый, «тугой» (Крученых), появилось новое требование, чтобы читать было трудно, чтобы внимание не скользило по строкам, как рубанок по полированной поверхности. Сейчас создаются новые живые слова.

Крылышкуя золото письмом тончайших жил
Кузнечик в кузов пуза уложил
много верхушек приречных вер

[151] Ученый, поэт и проповедник Симеон Полоцкий (1629–1680) составил царю специальную докладную записку о состоянии иконописного дела в стране. Из этого документа мы узнаем следующие, весьма характерные подробности о положении иконописи тех лет. Симеон Полоцкий подробно объясняет затем высокое значение иконописания и распространяется о том, как оно возникло и развивалось по указанию Церкви, Соборов, византийских императоров и русских царей. Но, однако, продолжает он, с течением времени «В толикое честное художество совниде некое безчинство… оскудеша в епископиях зографи мудрии и размножишася отпущения; мазари буии наполниша не токмо торговые шалаши и простаков дома, но и церкви и монастыри… От неискусных и беззазорных иконописцев многое неистовство обретается на иконах» («Беседы о почитании икон святых»).

тарара пипь пинькнул зинзивер
о неждарь
вечерней зари
не ждал
озари.

(Хлебников)[152]

Этот язык непонятен, труден; это нельзя читать, как читают газету, он непохож даже на русский, но мы слишком привыкли ставить понятность непременным требованием поэтическому языку. История искусства показывает нам, что – по крайней мере часто – язык поэзии – не понятный, а полупонятный; так, часто дикари поют или на архаическом языке, или на чужом, иногда настолько непонятном, что запевале приходится переводить и объяснять хору и слушателям значение им тут же сложенных песен. (Веселовский, три главы из «Исторической поэтики»; Гроссе, «Происхождение искусства».) Религиозная поэзия почти всех народов написана на таком полупонятном языке. Церковно-славянский [который никогда не был русским разговорным (Шахматов)], латинский, сумерийский, умерший в XX веке до Р. Х. и употреблявшийся, как религиозный, до III века. Я. Гримм, Гофман, Геббель отмечают, что народ часто поет не на диалекте, а на повышенном языке, близком к литературному; песенный якутский язык отличается от обиходного так же, как славянский от нынешнего разговорного (Короленко, «Ат-Даван»). Арно Даниель с его темным стилем, затрудненными формами искусства [«schwere Kunstmanier»] и жесткими формами, полагающими трудности при произношении (Diez, «Leben und Werke der Troubadours»), – «dolce stil nuovo» (XIII век у итальянцев), все это полупонятные, часто искусственно затрудненные языки. Аристотель в «Поэтике» (гл. 23)[153] советует придавать языку характер чужестранного. Отсюда ясна связь приемов поэзии футуристов с приемами общего языкового мышления. Сейчас происходит, так сказать, канонизация уже прежде существовавшего приема, вводимого теперь в сферу «искусства» в узком смысле этого слова. Так, рифма, существование которой доказано теперь в самую древнюю эпоху, была введена в литературу только в начале Средних веков, когда появилась необходимость подновить слишком стершийся, уже непереживаемый размер.

Весьма интересным явлением в футуризме являются вещи, написанные на так называемом «заумном» языке. Это – не общий язык понятий, а язык, так сказать, личный, где слова не имеют определенного значения и должны действовать непосредственно на эмоцию, например:

Го, оснег койд
дыр бур шил [Крученых],

или несомненно более художественное стихотворение Гуро:

Это ли? Нет ли!
Хвои шуят шуят

[152] Стихотворение Хлебникова – вероятно, самый ранний вариант стихотворения, был опубликован в 1914 г. в первом томе издания «Первого русского журнала русских футуристов»:Крылышкуя золотописьмом негчайших жилВ кузов пуза кузнечик уложилМного верхушек приречных вер.Тарарапиньпинькнул ЗинзиверО неждарь вечерней зариНе ждал… Озари!О любеди!..

[153] См.: «Поэтика» Аристотеля, глава 22: «А возвышенный и свободный от грубоватости слог пользуется чуждыми обыденной речи словами. Чуждыми я называю глоссу, метафору, растяжение и все, что выходит за пределы обыденного говора. Но если соединить все подобного рода слова вместе, то получится загадка или варваризм. Если (предложение состоит) из метафор, это загадка, а если из глосс – варваризм».

Анна, Мария, Лиза, нет
Это ли? Озеро ли
Лулла лолла лалла лолла лу
…
Тере – дере ху
Хвои шуят шуят.

Публика приняла эти вещи как чистое издевательство, между тем такой язык существует. Мы знаем, что звуки вызывают каждый свои специфические эмоции (Grammont Maur., «Le vers français», 1913), что звуки «и» и «у» задумчивы и мрачны (Вячеслав Иванов) и что поэтому бессознательно в мрачных вещах особое их скопление, что звуки «ч» и «щ», преобладающие, например, в «Анчаре» Пушкина, придают ему особо мрачное настроение. Строго говоря, явление заумного языка лежит вне пределов языка как такового, но это не доказывает еще, что оно лежит вне пределов искусства. Веселовский и Овсянико-Куликовский отмечают, что лирическая поэзия, цель которой не создавать образы, а вызывать эмоции, появилась еще в «до-человеческой», до-язычной древности (Овсянико-Куликовский). Веселовский отмечает, что при первом появлении поэзии язык был на первых порах, так сказать, приемышем. «Заумный язык», как явление искусства, существует. Русские сектанты поют:

Савитраи само
Капиласта гондря
Даранта мандра
Сункара пурута
Майя диви луга.

(Записано Мельниковым.)

Лопарские песни рассчитаны только на звуковой эффект.

Все знают детские песенки вроде:

Еники, беники, тинь-ти-ли-ля.

Некоторые стихотворения, где слова использованы почти только со звуковой стороны, приближаются к заумному языку. Русские «матани»[154] написаны на таком языке, и он встречается в римских заклинаниях. Слово своей звуковой стороной может действовать непосредственно, безóбразно. Московская купчиха боялась страшных слов: «металл» и «жупел», хотя не связывала с ними никакого образа. Эмоции, вызванные звуковой стороною слова, побеждают часто эмоции, вызванные образною. Слово «россинант» кажется пышным не только нам, но и Дон Кихоту, который знает, что оно значит «клячонка». «Заумный» язык существует и в современной жизни культурного человека. В прошлом году Париж пережил повальное увлечение совершенно бессмысленными песенками, рассчитанными на чисто звуковой эффект.

В «Голоде» Кнута Гамсуна автор в состоянии бреда изобретает слово «кубоа» и любуется тем, что оно – текучее, не имеющее определенного значения. «Я сам изобрел, – говорит

[154] Матаня (этимология неясна, по некоторым данным происходит от мордовского языка и означает «милый», «ухажер») – старое название частушки или ее жанровая разновидность. Возникла в Поволжье и оттуда распространилась по всей России. Со словом «Матаня» исполнители частушек обращались к своим возлюбленным, при этом словом «Матаня» они называют как девушек, так и юношей. Оно так часто звучало и в запеве, и в припеве, что по нему и была названа вся жанровая разновидность.

он, – это слово и имею полное право придавать ему то значение, которое мне заблагорассудится; я еще сам не знаю, что оно значит». В этом ощущении игры есть искусство.

И появление в литературе «заумного языка» можно рассматривать как один из примеров выделения древним синкретическим искусством новой отрасли. Другой вопрос – совершенно ли это явление. Но слово уже сказано, явление осознано, и это осознание многих и многих явлений творчества – заслуга футуристов.

Вышла книга Маяковского «Облако в штанах»

У нас не умели писать про сегодня. Искусство, не спариваемое больше с жизнью, от постоянных браков между близкими родственниками – старыми поэтическими образами – мельчало и вымирало. Вымирал миф. Возьмем знаменитую переписку Валерия Брюсова с Вячеславом Ивановым[155].

Есть Зевс над твердью – и в Эребе.
Отвес греха в пучину брось, —
От Бога в сердце к Богу в небе
Струной протянутая Ось
Поет «да будет» отчей воле
В кромешной тьме и в небеси:
На отчем стебле – колос в поле,
И солнца – на его оси [156].

Здесь ясно видно, что образы этих поэтов – образы третьего поколения, скорее даже ссылки на образы – внуки первоначального ощущения жизни. В сотый, в тысячный раз восстановлялись образы, но ведь только первый вошедший по возмущению воды в Силоамскую купель получал исцеление. В погоне за новым образом ударялись в экзотику; писали и одновременно увлекались XVIII веком, таитянским искусством, Римом, кватроченто, искусством острова Пасхи, комедией dell'arte, русскими иконами и даже писали поэмы из быта третичных веков. Увлекались всем сразу и ни от чего не отказывались, ничего не смели разрушить, не замечая, что искусства разных веков противоречивы и взаимно отрицают друг друга и что не только средневековая хроника написана на пергаменте, с которого счищены стихи Овидия, но и даже для того, чтобы построить Биржу Томона, нужно было разрушить Биржу Гваренги. Примирение и одновременное сожитие всех художественных эпох в душе пассеиста вполне похоже на кладбище, где мертвые уже не враждуют. А жизнь была оставлена хронике и кинемо. Искусство ушло из жизни в тесный круг людей, где оно вело призрачное существование, подобное воспоминанию. А у нас пропало чувство материала, стали цементу придавать форму камня, железу – дерева. Наступил век цинкового литья, штампованной жести и олеографии. Морские свинки с перерезанными ножными нервами отгрызывают себе пальцы. Мир, потерявший вместе с искусством ощущение жизни, совершает сейчас над собою чудовищное самоубийство. Война в наше время мертвого искусства проходит мимо сознания, и этим объясняется ее жестокость, бóльшая, чем жестокость религиозных войн. Германия не имела футуризма, зато имели его Россия, Италия, Франция и Англия.

Цензурными вырезками превращенная в отрывки, притушенная, но и в этом виде огненная, вышла книга Маяковского «Облако в штанах». Из книги вырезано почти все, что являлось политическим credo русского футуризма, остались любовь, гнев, прославленная улица и новое мастерство формы.

К форме поэмы Маяковского можно применить те слова, которые он говорит про себя:

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!

---

[155] Имеется в виду поэтическое соревнование Вяч. Иванова и В. Брюсова, обменявшихся одноименными и написанными одним размером стих. посланиями (издано в 1914 г. под назв. «Carmina Amoebaea»).

[156] Из стих. цикла Вяч. Иванова «Лира и ось», адресованного В. Брюсову.

Мир огро́мив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.

В поэме тоже нет ни седых волос – старых рифм и размеров, – ни старческой нежности прежней русской литературы – литературы бессильных людей. Поэма написана таким размером, свободным и закономерным, как ритм плача или брани. Рифмы Маяковского не дают полного совпадения звуков, но как бы отступают друг от друга на полшага, так же, как отступают, напоминая друг друга, но не совпадая, параллельные образы, которыми широко пользуется автор.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей за́гиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Это применение параллелизмов скорее роднит прием поэта Маяковского с героическим эпосом, чем со вчерашним искусством. Поэма производит впечатление какого-то большого единства; слова держатся друг за друга мертвой хваткой.

И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

В новом мастерстве Маяковского улица, прежде лишенная искусства, нашла свое слово, свою форму. Сегодня мы у истоков великой реки. Не из окна смотрел поэт на улицу. Он считает себя ее сыном, а мы по сыну узнаем красоту матери, в лицо которой раньше смотреть не умели и боялись.

Так, как саги оправдали разбой норвежцев; так, как навсегда сделал правыми в троянской войне Гомер греков; так, как Дант из междоусобной войны и городской свары буржуазного средневековья создал красоту его; так сегодня созидается новая красота.

Мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъя́звили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Безголовая, безгласная и безглазая жизнь нашла сама свое слово.

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —

шуме фабрики и лаборатории.

Посмотрите, как красив новый человек. Он не сгибается. Он кричит. Вы все так хорошо научились смеяться над собой, вы так очеховились и кричать разучились.

Вот война пришла, и кто из вас смог написать песню наступления. Вы ушли от жизни, хотели обратить искусство в комнатную собаку. И вот вы отлучены от искусства.

Новый уже пришел, а не обещан только, поэт; грозно его лицо, и он прекрасно болен «пожаром сердца». Он говорит:

…
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!
…
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.
…
Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Кажется, наступает великое время. Рождается новая красота, родится новая драма, на площадях будут играть ее, и трамваи обогнут ее двойным разноидущим поясом цветных огней.

Мы стоим у ваших ворот, и кричим «разрушим, разрушим», и знаем, что выше скучных античных крыш взбежали в небо побеги готических зданий, подобных столбам пожара.

О поэзии и заумном языке

Случится ли тебе в заветный, чудный миг
Открыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный, —
Не вслушивайся в них, не предавайся им.
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.

(Лермонтов)

Какие-то мысли без слов томятся в душе поэта и не могут высветлиться ни в образ, ни в понятие.

О, если б без слова
Сказаться душой было можно!

(Фет)

Без слов и в то же время в звуках, – ведь поэт говорит о них. И не в звуках музыки, не в том звуке, графическим изображением которого является нота, а в звуках речи, в тех звуках, из которых складываются не мелодии, а слова, так как перед нами признание и томление словотворцев перед созданием словесного произведения.

«4) МЫСЛЬ И РЕЧЬ НЕ УСПЕВАЮТ ЗА ПЕРЕЖИВАНИЕМ ВДОХНОВЕННОГО, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (незастывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее (пример: го оснег Кайд и т. д.). 5) СЛОВА УМИРАЮТ, МИР ВЕЧНО ЮН. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, дает всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово „лилия“, захватанное и „изнасилованное“. Поэтому я называю лилию „еуы“, – первоначальная чистота восстановлена, <…> 3) Стих дает (бессознательно) ряды гласных и согласных. ЭТИ РЯДЫ НЕПРИКОСНОВЕННЫ. Лучше заменять слово другим, близким не по мысли, а по звуку (лыки-мыки-кыка)»[157].

На этом заумном языке писали или хотели писать «стихотворения». Например:

Дыр бул щыл
Убещур

(Крученых)

Или:

Это-ли? Нет-ли?
Хвои шуят, – шуят
Анна – Мария, Лиза, – нет?
Это-ли? – Озеро-ли?

[157] *Крученых А.* Декларация слова как такового (1913). – Нумерация тезисов намеренно спутана Крученых. – *Сост.*

Лулла, лолла, лалла-лу,
Лиза, лолла, лулла-ли.
Хвои шуят, шуят,
ти-и-и, ти-и-у-у.
Лес-ли, – озеро-ли?
Это ли?
Эх, Анна, Мария, Лиза,
Хей-тара!
Тере-дере-дере… Ху!
Холе кулэ-нэээ.
Озеро-ли? – Лес-ли?
Тио-и
ви-и…у.

(Гуро – сб. «Трое». СПб., 1913, стр. 73)

Эти стихи и вся теория заумного языка произвели большое впечатление и даже были очередным литературным скандалом. Публика, которая считает себя обязанной следить за тем, чтобы искусство не потерпело какого-нибудь ущерба от руки художников, встретила эти стихи проклятиями, а критика, рассмотрев их с точки зрения науки и демократии, отвергла, скорбя о той дыре, о том Nihil, к которому пришла русская словесность[158]. Говорили много и о шарлатанстве.

Шум прошел, лишние ушли, критики уже написали свои фельетоны, и теперь пора сделать попытку разобраться в этом явлении.

Итак, несколько человек утверждают, что их эмоции могут быть лучше всего выражены особой звукоречью, часто не имеющей определенного значения и действующей вне этого значения или помимо его непосредственно на эмоции окружающих. Представляется вопрос: оказывается ли этот способ проявлять свои эмоции особенностью только этой кучки людей или это – общее языковое явление, но еще не осознанное.

Прежде всего мы встречаем явление подбора определенных звуков в стихотворениях, написанных на «общем» языке понятий. Этим подбором поэт стремится увеличить суггестивность своих произведений, свидетельствуя тем самым, что сами звуки речи, как таковые, обладают особенной силой. Привожу мнение Вячеслава Иванова о звуковой стороне поэмы Пушкина «Цыганы»: «Фонетика мелодического стихотворения обнаруживает как бы предпочтение гласного звука *у*, то глухого и задумчивого, уходящего в былое и минувшее, то колоритно-дикого, то знойного и узывно-унылого; смуглая окраска этого звука или выдвигается в рифме, или усиливается оттенками окружающих его гласных сочетаний и аллитерациями согласных; и вся эта живопись звуков, смутно и бессознательно почувствованная уже современниками Пушкина, могущественно способствовала установлению их мнения об особенной магической напевности нового творения, изумившей даже тех, которые еще так недавно были упоены соловьиными трелями и фонтанными лепетами и всею влажною музыкой песни о садах Бахчисарая»[159].

О «мрачности» звука *у* и о радостности звука *а* писал Гринман в журнале «Голос и речь»[160].

---

[158] Намек на некоторые выступления К. Чуковского с футуристами (см., напр., отчет: День. 1913. 8 ноября. № 303) и на его ст. «Футуристы» (1914) – *Чуковский К.* Собр. соч. В 6 т. Т. 6. М., 1969. С. 234.

[159] *Иванов Вячеслав*. По звездам. СПб., 1909. С. 148.

[160] Ст. Гринмана в ук. журн. не публиковалась; очевидно, имеется в виду: *Всеволодский-Гернгросс В*. Закономерность мелодии человеческой речи (Голос и речь. 1913. № 3. С. 12).

Свидетельства о мрачности звука *у* очень определенны в общем почти у всех наблюдателей.

«Возможность такого эмоционального воздействия слова станет для нас более понятной, если мы вспомним тот факт, что одни звуки, например, гласные, вызывают у нас впечатление, представление чего-то мрачного, угрюмого – таковы гласные *о* и главным образом *у*, при которых резонирующие полости рта усиливают низкие обертоны, – другие звуки вызывают в нас ощущение противоположного характера – более светлого, ясного, открытого, таковы *и* и *э,* при которых резонирующими полостями усиливаются высокие обертоны» *(«Журнал Министерства народного просвещения», 1909, январь, стр. 166–167, ст. Б. Китермана «Эмоциональный смысл слова»).*

Наблюдая такие же явления во французском языке, Grammont («Le vers français», 1913)[161] пришел к заключению, что звуки вызывают каждый свои специфические эмоции, или круг определенных специфических эмоций. В книге К. Бальмонта «Поэзия как волшебство» (М., 1916) указано много примеров такого подбора звуков, сделанного для достижения известных эмоций. Очевидно, этими эмоциями в высокой степени определяется ценность данных произведений. «Художественное произведение, – пишет Гёте, – приводит нас в восторг и в восхищение именно тою своею частью, которая неуловима для нашего сознательного понимания; от этого-то и зависит могущественное действие художественно-прекрасного, а не от частей, которые мы можем анализировать в совершенстве»[162].

Этим объясняется значение для поэта «ничтожных» речей.

Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

«Микобер опять усладил свой слух набором слов, конечно смешным и ненужным, однако ж не ему одному свойственным. Я в продолжение моей жизни у многих примечал эту страсть к ненужным словам. Это род общего правила во всех торжественных случаях, и на нем основывается масса содержания всех формальных и судебных бумаг и тому подобных речей. Читая или произнося их, люди как будто особенно наслаждаются, когда попадут на ряд звучных слов, выражающих одно и то же понятие, как, например, «хочу, требую и желаю» или «оставляю, завещаю и отказываю» и так далее. Мы толкуем о трудностях языка, а сами подвергаем его пыткам <…>» *(Диккенс, «Давид Копперфильд», гл. LII)* [163].

В этом отрывке нас, конечно, интересует только наблюдение, сделанное Диккенсом, а не его отношение к нему. Романист был бы, вероятно, очень удивлен, узнав, что употребление ряда звучных слов, выражающих одно и то же понятие, было родом общего правила в ораторской речи не только в Англии, но и в античной Греции и Риме (см. статью Ф. Зелинского «Художественная проза и ее судьба»[164]).

На факт вызывания эмоций звуковой и произносительной стороной слова указывает существование тех слов, которые Вундт назвал Lautbilder – звуковыми образами. Под этим именем Вундт объединяет слова, выражающие не слуховое, а зрительное или иное какое

---

[161] Кн. фр. лингвиста М. Граммона, вышла в 1913 г. в Париже. Отр. из нее был переведен для первого «Сборника…» Вл. Шкловским.

[162] *Гельмгольц Г.* Учение о звуковых ощущениях как физическая основа теории музыки. СПб., 1875. С. 519. Пер. М. Петухова. (Цит. ошибочно приписана Гёте А. Белым в своей кн. «Символизм». М., 1910. С. 151, откуда, очевидно, и была заимствована Шкл. Источник цитаты у Белого указан В. В. Нехотиным.)

[163] Пер. И. Введенского.

[164] Вошло во все изд. его кн. «Из жизни идей». Т. II.

представление, но так, что между этим представлением и подбором звуков звукообразного слова чувствуется какое-то соответствие; примерами на немецком языке могут служить: tummeln, torkeln; на русском хотя бы слово «каракули».

Прежде объясняли такие слова тем, что после исчезновения образного элемента в слове значение слова примыкает непосредственно к звукам слов и сообщает наконец им свой чувственный тон[165]. Вундт же объясняет это явление главным образом тем, что при произнесении этих слов органы речи делают уподобительные жесты. Эта точка зрения очень хорошо вяжется с общим воззрением Вундта на язык: очевидно, он здесь пытается сблизить это явление с языком жестов, анализу которого он посвятил главу в своей «Völkerpsychologie»[166], но вряд ли это толкование объясняет все явление. Быть может, ниже приведенные отрывки могут несколько иначе осветить и этот вопрос. У нас есть литературные свидетельства, которые дают нам не только примеры звуковых образов, но и позволяют нам как бы присутствовать при их возникновении. Нам кажется, что звукообразные слова имеют своими ближайшими соседями «слова» без образа и содержания, служащие для выражения чистых эмоций, то есть такие слова, где ни о каких подражательных артикуляциях говорить не приходится, так как подражать нечему, а можно только говорить о связи звука – движения, сочувственно воспроизводимого в виде каких-то немых спазм органов речи слушателями, с эмоциями. Привожу примеры: «Я стою и смотрю ей прямо в глаза, и в мозгу моем вдруг проносится имя, которое я никогда раньше не слыхал, имя, звучащее каким-то скользящим нервным звуком: „Илаяли“» *(«Голод» Кнута Гамсуна, изд. «Шиповник»)* [167]. Интересное соответствие этому слову есть в русской поэзии.

Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей:
Безотчетное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно символ
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашел.

(Баратынский)

Весьма характерное место есть и у В. Розанова *(«Уединенное». СПб., 1912, стр. 81):* «Бранделяс» (на процессе Бутурлина) – это хорошо. Главное, какой звук… есть что-то такое в звуке. Мне все более и более кажется, что все литераторы суть «Бранделясы». В звуке этом то хорошо, что он ничего собою не выражает, ничего собою не обозначает. И вот по этому качеству он особенно и приложим к литературе.

---

[165] Любопытна попытка Ф. Ф. Зелинского дать другое объяснение происхождению звуковых образов: «„Как тилисну (ее) по горлу ножом“, – говорит у Достоевского каторжник (*«Зап. из М. д.», II, гл. 4*); есть ли сходство между артикуляционным движением слова „тилиснуть“ и движением скользящего по человеческому телу и врезывающегося в него ножа? Нет; но зато это артикуляционное движение как нельзя лучше соответствует тому положению лицевых мускулов, которое инстинктивно вызывается особым чувством нервной боли, испытываемой нами при представлении о скользящем по коже (а не вонзаемом в тело) ноже: губы судорожно вытягиваются, горло щемит, зубы стиснуты – только и есть возможность произнести гласный *и* и языковые согласные *т, л, с*, причем в выборе именно их, а не громких *д, р, з* сказался и некоторый звукоподражательный элемент». Сообразно с этим Зелинский определяет звуковые образы как слова, артикуляция которых соответствует общей мимике лица, выражающей вызываемое ими чувство. (*Ф. Зелинский, статья «Вильгельм Вундт и психология языка» – Из жизни идей, т. II, изд. 3-е, СПб., 1911, с. 185–186*.)Любопытно сравнить также Lautbilder Вундта с тем, что Жуковский, разбирая басни Крылова, называл «живописью в самых звуках» (*В. А. Жуковский, Соч., т. V, с. 341; издание Глазунова*).

[166] «Психология народов» (нем.); рус. пер.: М., 1912 (под назв. «Проблемы психологии народов»).

[167] Пер. А. Острогорской.

«После эпохи Меровингов настала эпоха Бранделясов», – скажет будущий Иловайский. Я думаю, это будет хорошо.

Но слова нужны людям не только для того, чтобы ими выразить мысль, и не только даже для того, чтобы словом заменить слово или сделать его именем, приурочив его к какому бы то ни было предмету: людям нужны слова и вне смысла. Так Сатин («На дне» Макс. Горького, действие первое), которому надоели все человеческие слова, говорит: «Сикамбр», – и вспоминает, что, когда он был машинистом, он любил разные слова. В последнем своем произведении М. Горький *(«В людях» – «Летопись» 1916 года, март, стр. 11)* снова возвращается к этому явлению:

«Сочиняют, ракалии… Как по зубам бьют, а за что – нельзя понять. Гервасий! А на черта он мне сдался, Гервасий этот! Умбракул.

Странные слова, незнакомые имена надоедливо запоминались, щекотали язык, хотелось ежеминутно повторять их – может быть, в звуках откроется смысл?»

Валентин в очерках Гончарова «Слуги старого века» *(т. 12, изд. Маркса, стр. 169–177)* наслаждается чтением непонятных для него стихов и любовно выписывает в тетрадь непонятные звучные слова, подбирая созвучные: «конституция и проституция», «тлетворный и нерукотворный», «нумизмат и кастрат», не желая даже узнать их значения, но подбирая их по созвучности, – так, как подбирают по цвету драгоценные камни или материи.

Гончаров сумел даже обобщить наблюдаемое им явление. «Я видел, – говорит он, – как простые люди зачитываются до слез священных книг на славянском языке, ничего не понимая или понимая только „иные слова“, как мой Валентин. Помню, как матросы на корабле слушали такую книгу, не шевелясь, по целым часам, глядя в рот чтецу, лишь бы он читал звонко и с чувством» *(Гончаров, т. 12, изд. Маркса, стр. 177)*.

«Еще показательнее – прямо патологический успех сочетаний слов, вырванных из забытого контекста, лишившихся первоначального, да и вообще какого-либо, значения, вроде пресловутого вопроса: Et ta soeur? Подобные эпидемические словесные навыки, созданные притягательными чарами совершенной бессмыслицы, носят название «des seies».

Приведенный отрывок взят мной из газеты «Современное слово» (27 августа 1913, корреспонденция из Парижа о жанровом театре) и говорит о повальном увлечении бессмысленными песенками, пережитом Парижем в то лето. Преемником ему явилось увлечение «негритянскими» песенками, почти совершенно бессмысленными. В «Голоде» Кнута Гамсуна автор в состоянии бреда изобретает слово «кубоа» и любуется тем, что оно текучее, не имеющее определенного значения. «Я сам изобрел, – говорит он, – это слово, и я имею полное право придавать ему то значение, которое мне заблагорассудится. Я еще сам не знаю, что оно значит» *(«Голод»* [168]*)*.

Князь Вяземский пишет, что в детстве он любил читать каталоги винных погребов, любуясь звучными названиями. Особенно нравилось ему название одного сорта вина Lacryma-Christi; эти звуки ласкали его поэтическую душу. И вообще от многих прежних поэтов узнаем об их отзывчивости на звуковой состав слов, вызывающий в них известное настроение и даже известное понимание этих слов независимо от их объективного значения *(И. Бодуэн де Куртенэ – «Отклики», приложение к газ. «День», № 7, 20 февраля 1914)*. Но эта особенность не является привилегией одних поэтов. Упиваться звуками вне смысла и даже пьянеть от них может и не-поэт. Вот, например, как описывал В. Короленко один из уроков немецкого языка в ровенской гимназии:

«Der gelb-rothe Papagaj, – сказал Лотоцкий врастяжку. – Итак! именительный! Der gelb-rothe Pa-pa-gaj… Родительный… Des gelb-rothen Pá-pa-gá-a-aj-én.

[168] Пер. О. Химона.

В голосе Лотоцкого появились какие-то особенные прыгающие нотки. Он начинал скандовать, видимо наслаждаясь певучестью ритма. При дательном падеже к голосу учителя тихо, вкрадчиво, одобрительно присоединилось певучее рокотание всего класса:

– Dem… gelb… ro… then… Pá-pa-gá-a-aj-én…

В лице Лотоцкого появилось выражение, напоминающее кота, когда у него щекочут за ухом. Голова его закидывалась назад, большой нос нацелился в потолок, а тонкий широкий рот раскрывался, как у сладостно-квакающей лягушки.

Множественное число проходило уже среди скандующего грома. Это была настоящая оргия скандовки. Несколько десятков голосов разрубали желто-красного попугая на части, кидали его в воздух, растягивали, качали, подымали на самые высокие ноты и опускали на самые низкие… Голоса Лотоцкого давно уже не было слышно, голова его запрокинулась на спинку учительского кресла, и только белая рука с ослепительной манжеткой отбивала в воздухе такт карандашом, который он держал в двух пальцах… Класс бесновался, ученики передразнивали учителя, как и он, запрокидывали головы, кривляясь, раскачиваясь, гримасничая. <…>

И вдруг…

Едва, как отрезанный, затих последний слог последнего падежа, – в классе, точно по волшебству, новая перемена. На кафедре опять сидит учитель, вытянутый, строгий, чуткий, и его блестящие глаза, как молнии, пробегают вдоль скамей. Ученики окаменели. <…>

И опять несколько уроков проходило среди остолбенелого „порядка“, пока Лотоцкий не натыкался на желто-красного попугая или иное гипнотизирующее слово. Ученики по какому-то инстинкту выработали целую систему, незаметно загонявшую учителя к таким словам» *(Короленко,* «*История моего современника». – Полн. собр. соч., изд. Маркса, т. VII, стр. 155).* Я не считаю приведенный пример чем-то исключительным. Предлагаю сопоставить его со знаменитыми стихами из латинских исключений, которые составляют уже много столетий достопримечательность классической школы. Вот что пишет о них Ф. Ф. Зелинский. Само собой, я не думаю провести здесь параллель между многоуважаемым профессором и учителем Лотоцким. Ф. Ф. Зелинский пишет: «Я сам ими пользовался, когда был преподавателем в первом классе: помню, как вычурные сочетания мудреных слов и потешные рифмы вызывали здоровый детский смех моих учеников, особенно когда я заставлял их, к концу урока, хором повторять рифмованные правила; а так как я признавал здоровый юмор очень полезным „вегикулом“ (как говорят врачи) при преподавании в младших классах, то эти финалы уроков обращались в своего рода веселую игру <…>» *(Ф. Ф. Зелинский. «Из жизни идей». Стр. 31).* К сожалению, Ф. Ф. Зелинский ничего не говорит нам о своих переживаниях при произнесении этих «вычурных сочетаний слов».

Слова «металл» и «жупел», помимо своего значения, по самому звуку казались страшными купчихе в комедии Островского. Бабы в рассказе Чехова «Мужики» плакали в церкви при произнесении священником слов «аще» и «дондеже»; в выборе именно этих слов как сигнала для начала плача могла сказаться только их звуковая сторона. Джемс Сёлли *(«Очерки по психологии детства», М., 1901)* приводит много интересных примеров «заумных речей у детей». Из экономии места не привожу их, считая более интересными для русского читателя стихотворные – игровые присказки наших детей, – факт интересный по своему массовому характеру, а также потому, что присказки эти сохраняются в устной передаче, переходят из местности в местность и вообще представляют собою полную аналогию с литературными произведениями. Привожу примеры:

Перо	**Первинчики**
(название игры. — *В. Ш.*)	
Неро	*Другинчики*
Уго	*На Божьей Руси*
Теро	*На поповой полосе*
Пято	*Прело*
Сото	*Грело*
Иво	*Осиново*
Сиво	*Полено*
Дуб	*Чивиль доска*
Крест.	*Дара-шепёшка*
(Вятской губ.)	*Тонча-понча*
	Пиневича
	Рус-кнес
	Вылез.
	(Вятской губ.)

Бубикони	**Пера, ера**
Не чем гони	*Чуха, луха,*
Златом метом	*Пяти, соти,*
Под полетом	*Сиви, или,*
Черный палец	*Пень.*
Выйди за печь	*(Тульской губ.)*
Рус-квас	
Шишел, вышел	
Вон пошел.	
(Владимирской губ.)	

(Цитирую по книге: *Е. А. Покровский. «Детские игры, преимущественно русские». Москва, 1887, стр. 55, 57.*)

Обращаю внимание на отрывок из «Детства» М. Горького (длинный и поэтому неудобный для непосредственной цитировки), где показано, как в памяти мальчика стихотворение существовало одновременно в двух видах: в виде слов и в виде того, что я бы назвал звуковыми пятнами. «Стихи говорили:

Большая дорога, прямая дорога,
Простора не мало берешь ты у Бога…
Тебя не ровняли топор и лопата,
Мягка ты копыту и пылью богата».

Привожу его воспроизведение:

Дорога, двурога, творог, недотрога,
Копыта, попы-то, корыто…

При этом мальчику очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла. Бессознательно для себя он одновременно помнил и подлинные стихи («Детство»). Ср. статью Ф. Батюшкова «В борьбе со словом» *(«Журнал Министерства народного просвещения». 1900, февраль).*

Заклинания всего мира часто пишутся на таких языках; так, например, известные у древних греков, в качестве могущественных филактериев, τα Εφεθια γραμματα (магические письмена на короне, поясе и пьедестале Дианы Эфесской) состояли из загадочных

(αινιφματωδες) слов: αδχιου, χαταδχιον, λιζ, τετεας, δαμναμενευς, αιγα (цитата по: *Д. Коновалов. «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве». Сергиев Посад, 1908. Стр. 191).*

Приведенные факты заставляют думать, что «заумный язык» существует; и существует, конечно, не только в чистом своем виде, то есть как какие-то бессмысленные речения, но, главным образом, в скрытом состоянии, так, как существовала рифма в античном стихе, – живой, но не осознанной.

Многое мешает заумному языку появиться явно: «кубоа» родится редко. Но мне кажется, что часто и стихи являются в душе поэта в виде звуковых пятен, не вылившихся в слово. Пятно то приближается, то удаляется и, наконец, высветляется, совпадая с созвучным словом. Поэт не решается сказать «заумное слово», обыкновенно заумность прячется под личиной какого-то содержания, часто обманчивого, мнимого, заставляющего самих поэтов признаться, что они сами не понимают содержания своих стихов. Мы имеем такие признания от Кальдерона, Байрона, Блока. Мы должны верить Сюлли-Прюдому, что настоящих его стихов никто не читал. Жалобы поэтов на муки слова часто нужно понимать как показатель борьбы со словом: поэты жалуются не на невозможность передать словами понятия или образы, а на непередаваемость словами чувствований и душевных переживаний. И недаром поэты жалуются, что они не могут передать словами звуки: «словом ледяным» – «родник, простых и сладких звуков полный». По всей вероятности, дело происходит так же, как при подбирании рифм. У Салтыкова-Щедрина, человека в поэзии малокомпетентного, но вообще несомненно наблюдательного, молодой поэт, подбирая рифму к слову «образ», нашел только одно слово «нобраз».

«Нобраз» не подошел и стал навязчивой идеей поэта, но при малейшей же возможности дать ему какую-нибудь значимость он, несомненно, попал бы в стихи и выглядел бы не хуже многих других слов. Некоторое указание на то, что слова подбираются в стихотворении не по смыслу и не по ритму, а по звуку, могут дать японские танки. Там в стихотворение, обыкновенно в начало его, вставляется слово, отношения к содержанию не имеющее, но созвучное с «главным» словом стихотворения. Например, в начале русского стихотворения о луне можно было бы вставить по этому принципу слово «лоно». Это указывает на то, что в стихах слова подбираются так: омоним заменяется омонимом для выражения внутренней, до этого данной, звукоречи, а не синоним синонимом для выражения оттенков понятия. Так, может быть, можно понять и те признания поэтов, в которых они говорят о том, что стихи появляются (Шиллер) или зреют у них в душе в виде музыки. Я думаю, что поэты здесь сделались жертвами неимения точной терминологии. Сло́ва, обозначающего внутреннюю звукоречь, нет, и когда хочется сказать о ней, то подвертывается слово «музыка» как обозначение каких-то звуков, которые не слова; в данном случае еще не слова, так как они, в конце концов, выливаются словообразно. Из современных поэтов об этом писал О. Мандельштам:

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись…

Восприятия стихотворения обыкновенно тоже сводятся к восприятию его звукового праобраза. Всем известно, как глухо мы воспринимаем содержание самых, казалось бы, понятных стихов; на этой почве иногда происходят очень показательные случаи. Например, в одном из изданий Пушкина было напечатано вместо «Завещан был тенистый вход» – «Завещан брег тенистых вод» (причиной была неразборчивость рукописи), получилась полная бессмыслица, но она спокойно, неузнанная и непризнанная, переходила из издания в издание и была найдена только исследователем рукописей. Причина та, что в этом отрывке при искажении смысла не был искажен звук.

Как мы уже заметили, заумный язык редко является в своем чистом виде. Но есть и исключения. Таким исключением является заумный язык у мистических сектантов. Здесь делу способствовало то, что сектанты отождествили заумный язык с глоссолалией – с тем даром говорить на иностранных языках, который, по словам «Деяний св. апостолов», получили они в день Пятидесятницы[169]. Благодаря этому заумного языка не стыдились, им гордились и даже записывали его образцы. Таких образцов приведено очень много в прекрасной книге Д. Г. Коновалова «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» (стр. 167–173), где вопрос о «глоссах» разработан в смысле сопоставления образцов таких проявлений религиозного экстаза исчерпывающим образом. Явление языкоговорения чрезвычайно распространено, и можно сказать, что для мистических сект оно всемирно. Привожу примеры (из книги Д. Г. Коновалова). Сергей Осипов, хлыст XVIII столетия, говорил:

Рентре фенте ренте финтрифунт
Нодар лисентрант нохонтрофинт.

Привожу первую строку записи языкоговорения его современника Варлаама Шишкова:

Насонтос лесонтос фурт лис натруфунтру натрисинфур.

Интересно сопоставить эти звуки с записями языкоговорения секты ирвингиан, возникшей в Шотландии около 1830 года:

Hippo gerosto hippo boors senoote
Foorime oorin hoopo tanto noostin
Noorastin niparos hipanos bantos boorin
O Pinitos eleiastino halimungitos dantitu
Harapootine farimi aristos ekrampos.
…

Сектантка, произносившая эти слова, была убеждена в том, что это язык жителей одного острова на юге Тихого океана.

Такие же явления наблюдались в последнее время в Христиании.

Вот пример глоссолалии немца пастора Paul; у него дар языков явился как исполнение его горячего желания (он видел случаи говорения на языке и почувствовал непреодолимое желание овладеть этим даром).

В ночь с 15 на 16 сентября 1907 года в его голосовом и речевом аппарате появились непроизвольные движения, за которыми последовали звуки. Paul записал их; привожу одну из строчек:

Schua ea, schua ea
O tschi biro ti pea
Akki Iungo ta ri fungo,
U Ii bara ti ra tungo
Latschi bungo ti tu ta.

[169] «Глоссы» – языки звучали на церковных собраниях апостольских времен. Апостол Павел (1-е послание к Кор., гл. 14) говорит о проповедниках «на языках», что никто не понимает их, что их речь является невразумительной (об этом же писал Ириней Лионский: *Коновалов Д. Г.* Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. С. 175).

В наслаждении ничего не значащим заумным словом несомненно важна произносительная сторона речи. Может быть, что даже вообще в произносительной стороне, в своеобразном танце органов речи и заключается бóльшая часть наслаждения, приносимого поэзией (см. статью Б. Китермана, – *«Жур. Мин. нар. просв.», 1909, январь)*. Юрий Озаровский в своей книге «Музыка живого слова» (СПб., 1914) отметил, что тембр речи зависит от мимики; и, идя несколько дальше его и применяя к его замечанию положение Джемса, что каждая эмоция является как результат какогонибудь телесного состояния (замирание сердца – причина страха, а слезы – причина эмоции печали), можно было бы сказать, что впечатление, которое производит на нас тембр речи, объясняется тем, что, слыша его, мы воспроизводим мимику говорящего и поэтому переживаем его эмоции. Ф. Зелинский в уже цитированном нами отрывке отметил значение воспроизведения мимики говорящего при восприятии Lautbilder (тилиснуть).

Известны факты, свидетельствующие о том, что при восприятии чужой речи или даже вообще при каких бы то ни было речевых представлениях мы беззвучно воспроизводим своими органами речи движения, необходимые для произнесения данного звука. Возможно, что эти движения и находятся в какой-то еще не исследованной, но тесной связи с эмоциями, вызываемыми звуками речи, в частности заумным языком. Интересно отметить, что у сектантов явление языкоговорения начинается с беззвучных непроизвольных движений речевого аппарата.

Я думаю, что можно удовольствоваться приведенными примерами. Но привожу еще один (отысканный мною в книге Мельникова-Печерского «На горах», ч. 3); этот пример глоссолалии интересен тем, что он доказывает близкое родство детских песенок с образцами языкоговорения сектантов. Начинается он детской песней и кончается «заумным распевцем»:

Тень, тень, потетень,
Выше города плетень,
Садись, галка, на плетень!
Галки хохлуши —
Спасенные души,
Воробьи пророки —
Шли по дороге,
Нашли они книгу.
Что в той книге?

Текст сектантов:	Текст продолжения песни у детей:
А писано тамо	*Зюзюка, зюзюка,*
«Савшира́и само	*Куда нам катиться?*
Капила́ста га́ндря	*Вдоль по дорожке...*
Дарната́ ша́нтра	*и пр.*
Сункара пуруша	
Моя дева, Луша».	

Во всех этих образцах общее одно: эти звуки хотят быть речью. Авторы их так и считают их каким-то чужим языком: полинезийским, индейским, латинским, французским и чаще всего – иерусалимским. Интересно, что и футуристы – авторы заумных стихотворений

– уверяли, что они постигли все языки в одну минуту и даже пытались писать по-еврейски[170]. Мне кажется, что в этом была доля искренности и что они секундами сами верили, что из-под их пера выльются чудесно-познанные слова чужого языка.

Так или не так, но одно несомненно: заумная звукоречь хочет быть языком.

Но в какой степени этому явлению можно присвоить название языка? Это, конечно, зависит от определения, которое мы дадим понятию слова. Если мы впишем как требование для слова как такового то, что оно должно служить для обозначения понятия, вообще, быть значимым, то, конечно, заумный язык отпадает как что-то внешнее относительно языка. Но отпадает не он один; приведенные факты заставляют подумать, имеют ли не в явно заумной, а просто в поэтической речи слова всегда значение или это только мнение – фикция и результат нашей невнимательности. Во всяком случае, и изгнав заумный язык из речи, мы не изгоняем еще его, тем самым, и из поэзии. И сейчас поэзия создается и, главное, воспринимается не только в слове-понятии. Привожу любопытный отрывок из статьи К. Чуковского о русских футуристах, дело идет о стихотворении В. Хлебникова:

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры…
и т. д.

«Ведь оно написано размером „Гайаваты“, „Калевалы“. Если нам так сладко читать у Лонгфелло:

Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки
(Пер. Ив. Бунина), —

то почему мы смеемся над Бобэобами и Вээомами? Чем чоктосы лучше Бобэоби? Ведь и там и здесь гурманское смакование экзотических, чуждо звучащих слов. Для русского уха Бобэоби так же „заумны“, как и чоктосы, шошоны, – как и „гэи-гзи-гзэи́!“. И когда Пушкин писал:

От Рушука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи, —

разве он не услаждался той же чарующей инструментовкой заумно звучащих слов?» *(«Шиповник», кн. 22, стр. 144 – «Образцы футуристической литературы» К. Чуковского)*. Возможно даже, что слово является приемышем поэзии. Таково, например, мнение А. Н. Веселовского. И кажется уже ясным, что нельзя назвать ни поэзию явлением языка, ни язык – явлением поэзии.

Другой вопрос: будут ли когда-нибудь писаться на заумном языке истинно художественные произведения, будет ли это когда-нибудь особым, признанным всеми видом литературы? Кто знает. Тогда это будет продолжением дифференциации форм искусства. Можно сказать одно, многие явления литературы имели такую судьбу, многие из них появлялись впервые в творениях экстатиков; так, например, явно проявилась рифма в возвещениях Игнатия Богоносца:

[170] См. об этом: *Крученых А.* Взорваль (СПб., 1913). С. 27.

Χωρις του επιδχοπου μηδευ ποιεττε,
της δαρχα υμωυ ως ναου Θεου τηρεττε,
της ενωδιυ αγαπατε,
τους μεριδμους φευγετζ,
μιμηται γινεδθε Ιηδου Χριδτου,
ως χαι αυτος του Πατρος αυτου.

Религиозный экстаз уже предвещал о появлении новых форм. История литературы состоит в том, что поэты канонизируют и вводят в нее те новые формы, которые уже давно были достоянием общего поэтического языкового мышления. Д. Г. Коновалов указывает на все возрастающее в последние годы количество проявлений глоссолалии (стр. 187). В это же время заумные песни владели Парижем. Но всего показательнее увлечение символистов звуковой стороной слова (работы Андрея Белого, Вячеслава Иванова, статьи Бальмонта), которое почти совпало по времени с выступлениями футуристов, еще более остро поставивших вопрос. И, может быть, когда-нибудь исполнится пророчество Ю. Словацкого, сказавшего: «Настанет время, когда поэтов в стихах будут интересовать только звуки».

Потебня

Пятьдесят шесть лет прошло со дня появления первого печатного труда Потебни. Этот труд говорил о роли символов в словесном искусстве, название его было: «О некоторых символах в славянской народной поэзии». Недавно исполнилось двадцать пять лет со дня смерти Потебни, но только одиннадцать лет тому назад была обнародована его книга «Из записок по теории словесности», – книга черновиков, книга так и не подведшая итога тридцатичетырехлетней научной работе человека гениальных возможностей. Тридцать четыре года создавалась система научной поэтики, казалось, да и сейчас кажется многим, сполна данная в капитальном труде покойного «Мысль и язык». И четырнадцать лет популяризировали и вульгаризировали идеи А. Потебни, успели создать целую школу потебнианцев на устном предании о системе, которая казалась только случайно не записанной основателем. Ко дню юбилея достают новые биографические данные, составляют новую библиографию, но не говорят о самой системе, как будто о ней все уже сказано, и в ней самой все уже решено. И на вере в имя Потебни, на его системе основывают здание своей поэтики не только люди типа Харциева[171] и Овсянико-Куликовского, но и Андрей Белый. Несомненно, молчание о поэтике Потебни в очень сильной степени – молчание учеников, которым нечего прибавить к словам учителя.

А. Потебня, следуя за Гумбольдтом, прежде всего, выдвинул на первый план «значение слова для говорящего». Слово как средство развития мысли – необходимое условие создания понятия, которое возникает через замену многосторонней сущности многих вещей простой сущностью единого слова. В слове Потебня различал: 1) содержание, объективируемое при помощи звука; 2) внешнюю форму – членораздельный звук, и 3) внутреннюю форму – то, что связывает между собою форму и содержание. Способность одного и того же слова связываться через внутреннюю форму с разными вещами, принимать новое значение, Потебня назвал символичностью слова. Оставляя в стороне и сейчас мало разработанный вопрос о том, возможно ли существование таких слов, в которых с самого момента их появления внутренняя форма дана в виде непосредственной связи звука со значением, Потебня указал на то, что для обозначения какой-нибудь вещи берут слово, до этого существовавшее; содержание этого слова (значение его) должно иметь что-нибудь общее с одним из признаков называемой вещи. Слово, следовательно, расширяет свое значение при помощи образа; образ же, как это принимает Потебня, принадлежит исключительно поэзии; отсюда символичность слова равна его поэтичности. «Символизм языка, по-видимому, может быть назван его поэтичностью; наоборот, забвение внутренней формы кажется нам прозаичностью слова. Если это сравнение верно, то вопрос об изменении внутренней формы слова оказывается тождественным с вопросом об отношении языка к поэзии и прозе, т. е. к литературной форме вообще. Поэзия есть одно из искусств, а потому связь ее со словом должна указывать на общие стороны языка и искусства. Чтобы найти эти стороны, начнем с отождествления моментов слова и произведения искусства. Может быть, само по себе это сходство моментов не говорит еще ничего, но оно, по крайней мере, облегчает дальнейшие выводы» (*А. Потебня*. Мысль и язык. 3-е изд. Стр. 145). По этой схеме были разобраны Потебней явления искусства.

По мнению Потебни, в каждом произведении искусства есть идея, то, что хотел сказать художник, внутренняя форма – образ, и внешняя форма – в поэзии слова. Чем же нам ценно

---

[171] Харциев Василий Иванович – педагог, филолог. Учился в Харьковском университете по историко-филологическому факультету. Преподавал русский язык в Харьковском реальном училище. Деятельный член Харьковского общества грамотности и педагогического отдела историко-филологического общества, в «Трудах» которого напечатал ряд педагогических статей. Принимал наиболее деятельное участие в разборке посмертных трудов А. А. Потебни и редактировал III т. его «Из записок по теории словесности» (Харьков, 1905).

искусство, в частности поэзия? Тем, что образы его символичны; тем, что они многозначимы. В них есть «совместное существование противоположных качеств, именно определенности и бесконечности очертаний»[172]. Таким образом, задача искусства – создавать символы, объединяющие своей формулой многообразие вещей.

В таком виде дана поэтика Потебни в его основном труде «Мысль и язык».

В основу этого построения положено уравнение: образность равна поэтичности. В действительности же такого равенства не существует. Для его существования было бы необходимо принять, что всякое символическое употребление слова непременно поэтично, хотя бы только в первый момент создания данного символа. Между тем мыслимо употребление слова в непрямом его значении, без возникновения при этом поэтического образа. С другой стороны, слова, употребленные в прямом смысле и соединенные в предложения, не дающие никакого образа, могут составлять поэтическое произведение, как, например, стихотворение Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может…» Носителями «поэтичности» могут быть и ритм, и звуки произведения, что элементарно понятно и даже признается некоторыми потебнианцами. (См. Овсянико-Куликовский «Лирика, как особый вид творчества»[173].)

Образность, символичность не есть отличие поэтического языка от прозаического. Язык поэтический отличается от языка прозаического ощутимостью своего построения. Ощущаться может или акустическая, или произносительная, или же семасиологическая сторона слова. Иногда же ощутимо не строение, а построение слов, расположение их. Одним из средств создать ощутимое, переживаемое в самой своей ткани, построение является поэтический образ, но только одним из средств.

Ошибочность построения поэтики Потебни может быть уяснена человеком и не знакомым с попытками построения других поэтик, по ошибочности тех выводов, к которым Потебня пришел. Для выяснения этих выводов беру те подготовительные к университетским лекциям заметки, которые вошли в книгу «Из записок по теории словесности». Здесь все положения Потебни, только намеченные в книге «Мысль и язык», выступают более резко и определенно. Образ прямо определяется, как иносказание, аллегория (стр. 68). Вопрос об отношении образа к «объясняемому» определяется так: «а) образ есть постоянное сказуемое к переменчивым подлежащим = постоянное средство аттракции изменчивых апперципируемых, б) образ есть нечто более простое и ясное, чем объясняемое» (стр. 314), т. е. «так как цель образности есть приближение образа к нашему пониманию, и так как без этого образность лишена смысла, то образ должен нам быть более известен, чем объясняемое им» (стр. 291). Этого «долга» не исполняют тютчевское сравнение зарниц с глухонемыми демонами, Гоголевское сравнение неба с ризами Господа и шекспировские сравнения, поражающие своей натянутостью. Сам же Потебня отметил, что в гомеровских и гоголевских сравнениях большое количество черт образа остаются без употребления и не дают возможности заключать о соответствующих чертах сравниваемого.

При выяснении сущности поэзии Потебня оставил в стороне вопросы ритма и звука. О них у Потебни имеется всего несколько строк. «Каково бы ни было, в частности, решение вопроса, почему поэтическому мышлению более (в его менее сложных формах), чем прозаическому, сродна музыкальность звуковой формы, т. е. темп, размер, созвучие, сочетание с мелодией, оно не может подорвать верности положения, что поэтическое мышление может обойтись без размера и пр., как, наоборот, прозаическое может быть искусственно, хотя и не без вреда, облечено в стихотворную форму». («Из записок по теории словесности», стр. 97.)

---

[172] Точная цитата: «совместное существование в каждом художественном произведении противоположных качеств, именно определенности и бесконечности очертаний» (цит. по: *Потебня А. А*. Слово и миф. М., 1989. С. 171).

[173] Впервые статья «Лирика, как особый вид творчества» была опубликована в сб. «Вопросы теории и психологии творчества», т. II, ч. 2. Харьков, 1909.

Это нежелание считаться с рядом массовых фактов коренного значения объясняется тем, что они никак не укладывались в формулу, что поэзия, как и слово, есть особый способ мышления при помощи образов. Потебня, защищая свою мысль от фактов, ей противоречащих, заявил против них формальный и плохо обоснованный отвод. Из положений: «явственность представления или его отсутствие (т. е. образность слова) не сказывается на его звуках» и «образность равна поэтичности» Потебня делает вывод, что поэтичность слова не сказывается в его звуках, что внешняя форма (звук, ритм) может быть не принята во внимание при определении сущности поэзии, как и искусства вообще. Между тем этот вывод явно противоречит фактам, показывающим, что наше отношение к звукам слова в поэтическом и прозаическом языках различно. Несовпадение вывода с фактами показывает, что вторая посылка: «образность равна поэтичности» неверна. Система Потебни оказалась состоятельной только в очень узкой области поэзии: в басне и в пословице. Поэтому эта часть труда Потебни была им разработана до конца. Басня и пословица, действительно, оказались «быстрым ответом на вопрос». Их образы, в самом деле, оказались «способом мышления». Но понятия басни и пословицы весьма мало совпадают с понятием поэзии.

Система оказалась неспособной к жизни, поэтому книга осталась ненаписанной. Потебня не взял на себя ответственности за свое построение. Не так сделали его ученики. Веря в имя учителя, они распространили то, что сочли за законы, им найденные, на более сложные явления искусства, не дав себе предварительно труда проверить систему самостоятельной работой. Создание научной поэтики должно быть начато с фактического, на массовых фактах построенного, признания, что существуют «прозаический» и «поэтический» языки, законы которых различны, и с анализа этих различий.

Искусство как прием

«Искусство – это мышление образами». Эту фразу можно услышать и от гимназиста, она же является исходной точкой для ученого филолога, начинающего создавать в области теории литературы какое-нибудь построение. Эта мысль вросла в сознание многих; одним из создателей ее необходимо считать Потебню. «Без образа нет искусства, в частности поэзии», – говорит он *(«Из записок по теории словесности». Харьков, 1905. Стр. 83)*. Поэзия, как и проза, есть «прежде всего и главным образом <…> известный способ мышления и познания», – говорит он в другом месте *(Там же. Стр. 97)*.

Поэзия есть особый способ мышления, а именно способ мышления образами; этот способ дает известную экономию умственных сил, «ощущенье относительной легкости процесса», и рефлексом этой экономии является эстетическое чувство. Так понял и так резюмировал, по всей вероятности верно, ак. Овсянико-Куликовский, который, несомненно, внимательно читал книги своего учителя[174]. Потебня и его многочисленная школа считают поэзию особым видом мышления – мышления при помощи образов, а задачу образов видят в том, что при помощи их сводятся в группы разнородные предметы и действия и объясняется неизвестное через известное. Или, говоря словами Потебни: «Отношение образа к объясняемому: a) образ есть постоянное сказуемое к переменчивым подлежащим = постоянное средство аттракции изменчивых апперципируемых <…>, b) образ есть нечто гораздо более простое и ясное, чем объясняемое» *(Там же. Стр. 314)*, то есть «так как цель образности есть приближение значения образа к нашему пониманию и так как без этого образность лишена смысла, то образ должен быть нам более известен, чем объясняемое им» *(Там же. Стр. 291)*.

Интересно применить этот закон к сравнению Тютчевым зарниц с глухонемыми демонами или к гоголевскому сравнению неба с ризами господа.

«Без образа нет искусства». «Искусство – мышление образами». Во имя этих определений делались чудовищные натяжки; музыку, архитектуру, лирику тоже стремились понять как мышление образами. После четвертьвекового усилия ак. Овсянико-Куликовскому наконец пришлось выделить лирику, архитектуру и музыку в особый вид безóбразного искусства – определить их как искусства лирические, обращающиеся непосредственно к эмоциям[175]. И так оказалось, что существует громадная область искусства, которое не есть способ мышления; одно из искусств, входящих в эту область, – лирика (в тесном смысле этого слова) тем не менее вполне подобна «образному» искусству: так же обращается со словами и, что всего важнее, – искусство образное переходит в искусство безóбразное совершенно незаметно, и восприятия их нами подобны.

Но определение: «искусство – мышление образами», а значит (пропускаю промежуточные звенья всем известных уравнений), искусство есть создатель символов прежде всего, – это определение устояло, и оно пережило крушение теории, на которой было основано. Прежде всего оно живо в течении символизма. Особенно у теоретиков его.

Итак, многие все еще думают, что мышление образами, «пути и тени», «борозды и межи»[176], есть главная черта поэзии. Поэтому эти люди должны были бы ожидать, что история этого, по их словам, «образного» искусства будет состоять из истории изменения образа. Но оказывается, что образы почти неподвижны; от столетия к столетию, из края в край, от поэта к поэту текут они, не изменяясь. Образы – «ничьи», «божьи». Чем больше уясняете

---

[174] *Овсянико-Куликовский Д.* Язык и искусство. СПб., 1895. С. 35.

[175] Он же. Лирика как особый вид творчества. – В его Собр. соч. Т. VI. Изд. 3-е. СПб., 1914.

[176] По-видимому, ироническая контаминация назв. сб. В. Брюсова «Пути и перепутья» (т. 1–3. М., 1908–1909) и «Зеркало теней» (М., 1912) – и намек на кн. ст. Вяч. Иванова «Борозды и межи» (М., 1916).

вы эпоху, тем больше убеждаетесь в том, что образы, которые вы считали созданными данным поэтом, употребляются им взятыми от других и почти неизмененными. Вся работа поэтических школ сводится к накоплению и выявлению новых приемов расположения и обработки словесных материалов и, в частности, гораздо больше к расположению образов, чем к созданию их. Образы даны, и в поэзии гораздо больше воспоминания образов, чем мышления ими.

Образное мышление не есть, во всяком случае, то, что объединяет все виды искусства или даже только все виды словесного искусства, образы не есть то, изменение чего составляет сущность движения поэзии.

Мы знаем, что часты случаи восприятия как чего-то поэтического, созданного для художественного любования, таких выражений, которые были созданы без расчета на такое восприятие; таково, например, мнение Анненского об особой поэтичности славянского языка, таково, например, и восхищение Андрея Белого приемом русских поэтов XVIII века помещать прилагательные после существительных[177]. Белый восхищается этим как чем-то художественным, или, точнее, – считая это художеством – намеренным, на самом деле это общая особенность данного языка (влияние церковнославянского). Таким образом, вещь может быть: 1) создана как прозаическая и воспринята как поэтическая, 2) создана как поэтическая и воспринята как прозаическая. Это указывает, что художественность, относимость к поэзии данной вещи, есть результат способа нашего восприятия; вещами художественными же, в тесном смысле, мы будем называть вещи, которые были созданы особыми приемами, цель которых состояла в том, чтобы эти вещи по возможности наверняка воспринимались как художественные.

Вывод Потебни, который можно формулировать: поэзия = образности, – создал всю теорию о том, что образность = символичности, способности образа становиться постоянным сказуемым при различных подлежащих (вывод, влюбивший в себя, в силу родственности идей, символистов – Андрея Белого, Мережковского с его «Вечными спутниками» – и лежащий в основе теории символизма). Этот вывод отчасти вытекает из того, что Потебня не различал язык поэзии от языка прозы. Благодаря этому он не обратил внимания на то, что существуют два вида образа: образ как практическое средство мышления, средство объединять в группы вещи, и образ поэтический – средство усиления впечатления. Поясняю примером. Я иду по улице и вижу, что идущий впереди меня человек в шляпе выронил пакет. Я окликаю его: «Эй, шляпа, пакет потерял!» Это пример образа – тропа чисто прозаического. Другой пример. В строю стоят несколько человек. Взводный, видя, что один из них стоит плохо, не по-людски, говорит ему: «Эй, шляпа, как стоишь!» Это образ – троп поэтический. (В одном случае слово «шляпа» была метонимией, в другом – метафорой. Но обращаю внимание не на это.) Образ поэтический – это один из способов создания наибольшего впечатления. Как способ он равен по задаче другим приемам поэтического языка, равен параллелизму простому и отрицательному, равен сравнению, повторению, симметрии, гиперболе, равен вообще тому, что принято называть фигурой, равен всем этим способам увеличения ощущения вещи (вещами могут быть и слова или даже звуки самого произведения), но поэтический образ только внешне схож с образом-басней, образом-мыслью, например, к тому случаю, когда девочка называет круглый шар арбузиком *(Д. Овсянико-Куликовский. «Язык и искусство». СПб., 1895. Стр. 16–17)*. Поэтический образ есть одно из средств поэтического языка. Прозаический образ есть средство отвлечения: арбузик вместо круглого абажура или арбузик вместо головы есть только отвлечение от предмета одного из его качеств и ничем не

[177] Не совсем точные отсылки к ст. И. Анненского «Бальмонт-лирик» (в его «Книге отражений». М., 1906) и к кн. А. Белого «Луг зеленый». М., 1910. С. 117.

отличается от голова = шару, арбуз = шару. Это – мышление, но это не имеет ничего общего с поэзией.

Закон экономии творческих сил также принадлежит к группе всеми признанных законов. Спенсер писал: «В основе всех правил, определяющих выбор и употребление слов, мы находим то же главное требование: сбережение внимания. <…> Довести ум легчайшим путем до желаемого понятия есть во многих случаях единственная и во всех случаях главная их цель» («Философия слога»). «Если бы душа обладала неистощимыми силами для развития представлений, то для нее было бы, конечно, безразлично, как много истрачено из этого неистощимого источника; важно было бы, пожалуй, только время, необходимо затраченное. Но так как силы эти ограничены, то следует ожидать, что душа стремится выполнять апперцептивные процессы по возможности целесообразно, то есть с сравнительно наименьшей тратой сил, или, что то же, с сравнительно наибольшим результатом» (Р. Авенариус)[178]. Одной ссылкой на общий закон экономии душевных сил отбрасывает Петражицкий попавшую поперек дороги его мысли теорию Джемса о телесной основе аффекта[179]. Принцип экономии творческих сил, который так соблазнителен, особенно при рассмотрении ритма, признал и Александр Веселовский, который договорил мысль Спенсера: «Достоинство стиля состоит именно в том, чтобы доставить возможно большее количество мыслей в возможно меньшем количестве слов». Андрей Белый, который в лучших страницах своих дал столько примеров затрудненного, так сказать, спотыкающегося ритма и показавший (в частном случае, на примерах Баратынского[180]) затрудненность поэтических эпитетов, тоже считает необходимым говорить о законе экономии в своей книге, представляющей собой героическую попытку создать теорию искусства на основе непроверенных фактов из устаревших книг, большого знания приемов поэтического творчества и на учебнике физики Краевича по программе гимназий.

Мысли об экономии сил как о законе и цели творчества, может быть, верные в частном случае языка, то есть верные в применении к языку «практическому», – эти мысли, под влиянием отсутствия знания об отличии законов практического языка от законов языка поэтического, были распространены и на последний. Указание на то, что в поэтическом японском языке есть звуки, не имеющиеся в японском практическом, было чуть ли не первым фактическим указанием на несовпадение этих двух языков[181]. Статья Л. П. Якубинского об отсутствии в поэтическом языке закона расподобления плавных звуков и указанная им допустимость в языке поэтическом труднопроизносимого стечения подобных звуков является одним из первых, научную критику выдерживающих фактических указаний на противоположность (хотя бы, скажем пока, только в этом случае) законов поэтического языка законам языка практического[182].

Поэтому приходится говорить о законах траты и экономии в поэтическом языке не на основании аналогии с прозаическим, а на основании его собственных законов.

Если мы станем разбираться в общих законах восприятия, то увидим, что, становясь привычными, действия делаются автоматическими. Так уходят, например, в среду бессознательно-автоматического все наши навыки; если кто вспомнит ощущение, которое он имел, держа в первый раз перо в руках или говоря в первый раз на чужом языке, и сравнит это ощущение с тем, которое он испытывает, проделывая это в десятитысячный раз, то согласится с нами. Процессом автоматизации объясняются законы нашей прозаической речи с ее

---

[178] *Авенариус Р.* Философия как мышление о мире сообразно принципу наименьшей меры сил. СПб., 1899. С. 8.

[179] *Петражицкий Л.* Введение в изучение права и нравственности. 3-е изд. СПб., 1908. С. 136 и др.

[180] *Белый А.* Символизм. М., 1910. С. 594–595.

[181] Сб. по теор. поэтич. яз. Выпуск первый. С. 38.

[182] Сб. по теор. поэтич. яз. Выпуск второй. С. 15–23.

недостроенной фразой и с ее полувыговоренным словом. Это процесс, идеальным выражением которого является алгебра, где вещи заменены символами. В быстрой практической речи слова не выговариваются, в сознании едва появляются первые звуки имени. А. Погодин *(«Язык как творчество». Харьков, 1913. Стр. 42)* приводит пример, когда мальчик мыслил фразу: «Les montagnes de la Suisse sont belles» в виде ряда букв: l, m, d, S, s, b.

Это свойство мышления не только подсказало путь алгебры, но даже подсказало выбор символов (буквы, и именно начальные). При таком алгебраическом методе мышления вещи берутся счетом и пространством, они не видятся нами, а узнаются по первым чертам. Вещь проходит мимо нас как бы запакованной, мы знаем, что она есть, по месту, которое она занимает, но видим только ее поверхность. Под влиянием такого восприятия вещь сохнет, сперва как восприятие, а потом это сказывается и на ее делании; именно таким восприятием прозаического слова объясняется его недослушанность (см. ст. Л. П. Якубинского), а отсюда недоговоренность (отсюда все обмолвки). При процессе алгебраизации, обавтоматизации вещи получается наибольшая экономия воспринимающих сил: вещи или даются одной только чертой своей, например, номером, или выполняются как бы по формуле, даже не появляясь в сознании.

«Я обтирал пыль в комнате и, обойдя кругом, подошел к дивану и не мог вспомнить, обтирал ли я его или нет. Так как движения эти привычны и бессознательны, я не мог и чувствовал, что это уже невозможно вспомнить. Так что, если я обтирал и забыл это, т. е. действовал бессознательно, то это все равно, как не было. Если бы кто сознательный видел, то можно бы восстановить. Если же никто не видел или видел, но бессознательно; если целая сложная жизнь многих людей проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была» (запись из дневника Льва Толстого 1 марта 1897 года. Никольское).

Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны.

«Если целая сложная жизнь многих людей проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была».

И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи как ви́дение, а не как узнавание; приемом искусства является прием «остранения» вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелей и должен быть продлен; *искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно*.

Жизнь поэтического (художественного) произведения – от ви́дения к узнаванию, от поэзии к прозе, от конкретного к общему, от Дон Кихота – схоласта и бедного дворянина, полусознательно переносящего унижение при дворе герцога, – к Дон Кихоту Тургенева, широкому, но пустому, от Карла Великого к имени «король»; по мере умирания произведения и искусства оно шире́ет, басня символистичнее поэмы, а пословица – басни. Поэтому и теория Потебни меньше всего противоречила сама себе при разборе басни, которая и была исследована Потебней с его точки зрения до конца. К художественным «вещным» произведениям теория не подошла, а потому и книга Потебни не могла быть дописана. Как известно, «Записки по теории словесности» изданы в 1905 году, через 13 лет после смерти автора.

Потебня сам из этой книги вполне обработал только отдел о басне[183].

Вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься узнаванием: вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим[184]. Поэтому мы не можем ничего сказать о ней.

---

[183] Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894.

[184] *Шкловский Виктор*. Воскрешение слова. 1914.

Вывод вещи из автоматизма восприятия совершается в искусстве разными способами; в этой статье я хочу указать один из тех способов, которыми пользовался почти постоянно Л. Толстой – тот писатель, который, хотя бы для Мережковского, кажется дающим вещи так, как он их сам видит, видит до конца, но не изменяет.

Прием остранения у Л. Толстого состоит в том, что он не называет вещь ее именем, а описывает ее как в первый раз виденную, а случай – как в первый раз происшедший, причем он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а называет их так, как называются соответственные части в других вещах. Привожу пример. В статье «Стыдно» Л. Толстой так остраняет понятие сечения: «<…> людей, нарушавших законы, взрослых и иногда старых людей, оголять, валить на пол и бить прутьями по заднице»; через несколько строк: «стегать по оголенным ягодицам». К этому месту есть примечание: «И почему именно этот глупый, дикий прием причинения боли, а не какой-нибудь другой: колоть иголками плечи или какое-либо другое место тела, сжимать в тиски руки или ноги или еще что-нибудь подобное?» Я извиняюсь за тяжелый пример, но он типичен как способ Толстого добираться до совести. Привычное сечение остранено и описанием, и предложением изменить его форму, не изменяя сущности. Методом остранения пользовался Толстой постоянно: в одном из случаев («Холстомер») рассказ ведется от лица лошади, и вещи остранены не нашим, а лошадиным их восприятием.

Вот как она восприняла институт собственности:

«То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, – но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: *своего, его* жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда *меня* отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что меня называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил – *мое*. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит *мое*, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какою-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они – те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие мое не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: „дом мой“, и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: „моя лавка“. „Моя лавка сукон“, например, – и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других называют своими, а никогда не видали этих людей;

и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей *своими*. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уж о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей – по крайней мере, тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же – делом».

В конце рассказа лошадь уже убита, но способ рассказа, прием его не изменен: «Ходившее по свету, евшее и пившее тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже 20 лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это, тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землею».

Таким образом, мы видим, что в конце рассказа прием применен и вне его случайной мотивировки.

Таким приемом описывал Толстой все сражения в «Войне и мире». Все они даны как, прежде всего, странные. Не привожу этих описаний, как очень длинных – пришлось бы выписать очень значительную часть 4-томного романа. Так же описывал он салоны и театр:

«На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картины, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых, в обтяжку, панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом, и стал петь и разводить руками.

Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться. <…>

Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все стали на колени и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей».

Так же описан третий акт:

«Но вдруг сделалась буря, в оркестре послышались хроматические гаммы и аккорды уменьшенной септимы, и все побежали и потащили опять одного из присутствующих за кулисы, и занавесь опустилась».

В четвертом акте:

«<…> был какой-то черт, который пел, махая рукою до тех пор, пока не выдвинули под ним доски и он не опустился туда».

Так же описал Толстой город и суд в «Воскресении». Так описывает он в «Крейцеровой сонате» брак: «Почему, если у людей сродство душ, они должны спать вместе». Но прием остранения применялся им не только с целью дать видеть вещь, к которой он относился отрицательно.

«Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться.

Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно-одинокий смех.

– Ха, ха, ха! – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: – Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. – смеялся он с выступившими на глазах слезами. <…>

Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. „И все это мое, и все это во мне, и все это я! – думал Пьер. – И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!“ Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам».

Всякий, кто хорошо знает Толстого, может найти в нем несколько сот примеров по указанному типу. Этот способ видеть вещи выведенными из их контекста привел к тому, что в последних своих произведениях Толстой, разбирая догматы и обряды, также применил к их описанию метод остранения, подставляя вместо привычных слов религиозного обихода их обычное значение; получилось что-то странное, чудовищное, искренне принятое многими как богохульство, больно ранившее многих. Но это был все тот же прием, при помощи которого Толстой воспринимал и рассказывал окружающее. Толстовские восприятия расшатали веру Толстого, дотронувшись до вещей, которых он долго не хотел касаться.

Прием остранения не специально толстовский[185]. Я вел его описание на толстовском материале из соображений чисто практических, просто потому, что материал этот всем известен.

Теперь, выяснив характер этого приема, постараемся приблизительно определить границы его применения. Я лично считаю, что остранение есть почти везде, где есть образ.

То есть отличие нашей точки зрения от точки зрения Потебни можно формулировать так: образ не есть постоянное подлежащее при изменяющихся сказуемых. Целью образа является не приближение значения его к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, *создание «виденья» его, а не «узнаванья»*.

Но наиболее ясно может быть прослежена цель образности в эротическом искусстве.

Здесь обычно представление эротического объекта как чего-то, в первый раз виденного. У Гоголя в «Ночи перед Рождеством»:

«Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной, полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

– А что это у вас, великолепная Солоха? – И, сказавши это, отскочил он несколько назад.

– Как что? Рука, Осип Никифорович! – отвечала Солоха.

[185] Отр. с этого предложения до слов «семантическое изменение» (с. 70) впервые появился в «Поэтике».

– Гм! рука! хе! хе! хе! – произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.

– А это что у вас, дражайшая Солоха? – произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад.

– Будто не видите, Осип Никифорович! – отвечала Солоха. – Шея, а на шее монисто.

– Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! – И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.

– А это что у вас, несравненная Солоха?.. – Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами <…>»

У Гамсуна в «Голоде»:

«Два белых чуда виднелись у нее из-за рубашки».

Или эротические объекты изображаются иносказательно, причем здесь цель явно не «приблизить к пониманию».

Сюда относится изображение половых частей в виде замка и ключа (например, в «Загадках русского народа» Д. Садовникова, № 102–107), в виде приборов для тканья (там же, № 588–591), лука и стрелы, кольца и свайки, как в былине о Ставре *(«Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», № 30)*.

Муж не узнает жены, переодетой богатырем. Она загадывает:

«Помнишь, Ставер, памятуешь ли,
Как мы маленьки на улицу похаживали,
Мы с тобою сваечкой поигрывали:
Твоя-то была сваечка серебряная,
А мое было колечко позолоченное?
Я-то попадывал тогды-сёгды,
А ты-то попадывал всегды-всегды?»
Говорит Ставер, сын Годинопич:
– Что я с тобой сваечкой не игрывал! —
Говорит Василий Микулич, де:
«Ты помнишь ли, Ставер, да памятуешь ли,
Мы ведь вместе с тобой в грамоты училися:
Моя была чернильница серебряная,
А твое было перо позолочено?
А я-то поманивал тогды-сёгды,
А ты-то поманивал всегды-всегды?»

В другом варианте былины дана и разгадка:

Тут грозен посол Васильюшко
Вздымал свои платья по самый пуп:
И вот молодой Ставер, сын Годинович,
Признавал кольцо позолоченное.

(Рыбников, № 171)

Но остранение не только прием эротической загадки – эвфемизма, оно – основа и единственный смысл всех загадок. Каждая загадка представляет собой или рассказывание о предмете словами, его определяющими и рисующими, но обычно при рассказывании о нем не применяющимися (тип «два конца, два кольца, посередине гвоздик»), или своеобразное звуковое остранение, как бы передразнивание: «Гон да тотонок?» (пол и потолок) *(Д. Садовников, № 51)* или – «Слон да кондрик?» (заслон и конник) *(Там же, № 177)*.

Остранением являются и эротические образы – не-загадки; например, все шансонетные «крокетные молотки», «аэропланы», «куколки», «братишки» и т. п.

В них есть общее с народным образом топтания травы и ломания калины.

Совершенно ясен прием остранения в широко распространенном образе – мотиве эротической прозы, в которой медведь и другие животные (или черт – другая мотивировка неузнавания) не узнают человека («Бесстрашный барин» – *«Великорусские сказки Вятской губернии», № 52*; «Справедливый солдат» – *«Белорусский сборник» Е. Романова, № 84*).

Очень типично неузнавание в сказке № 70 (вариант) из «Великорусских сказок Пермской губернии» Д. С. Зеленина:

«Мужик пахал поле на пеганой кобыле. Приходит к нему медведь и спрашивает: „Дядя, хто тебе эту кобылу пеганой делал?“ – „Сам пежил“. – „Да как?“ – „Давай и тебя сделаю?!“ Медведь согласился. Мужик связал ему ноги веревкой, снял с сабана сошник, нагрел его на огне и давай прикладывать к бокам: горячим сошником опалил ему шерсть до мяса, сделал пеганым. Развязал, – медведь ушел; немного отошел, лег под дерево, лежит. – Прилетела сорока к мужику клевать на стане мясо. Мужик поймал ее и сломал ей одну ногу. Сорока полетела и села на то самое дерево, под которым лежит медведь. – Потом прилетел после сороки, на стан к мужику паук (муха большая) и сел на кобылу, начал кусать. Мужик поймал паука, взял – воткнул ему в задницу палку и отпустил. Паук полетел и сел на то же дерево, где сорока и медведь. Сидят все трое. – Приходит к мужику жена, приносит в поле обед. Пообедал мужик с женой на чистом воздухе, начал валить ее на пол, заваривать ей подол. Увидал это медведь и говорит сороке с пауком: „батюшки! мужик опять ково-то хотит пежить“. – Сорока говорит: „нет, кому-то ноги хотит ломать“. Паук: „нет, палку в задницу кому-то хотит засунуть“».

Одинаковость приема данной вещи с приемом «Холстомера», я думаю, видна каждому.

Остранение самого акта встречается в литературе очень часто; например, «Декамерон»: «выскребывание бочки», «ловля соловья», «веселая шерстобитная работа» (последний образ не развернут в сюжет). Так же часто остранение применяется при изображении половых органов.

Целый ряд сюжетов основан на таком «неузнавании», например: А. Афанасьев, «Заветные сказки» – «Стыдливая барыня»; вся сказка основана на неназывании предмета своим именем, на игре в неузнавание. То же у Н. Ончукова, «Северные сказки», № 252 – «Бабье пятно». То же в «Заветных сказках» – «Медведь и заяц»: медведь и заяц чинят «рану».

К приему остранения принадлежат и построения типа «пест и ступка» или «дьявол и преисподняя» («Декамерон»).

Об остранении в психологическом параллелизме я пишу в своей статье о сюжетосложении.

Здесь же повторяю, что в параллелизме важно ощущение несовпадения при сходстве.

Целью параллелизма, как и вообще целью образности, является перенесение предмета из его обычного восприятия в сферу нового восприятия, то есть своеобразное семантическое изменение.

Исследуя поэтическую речь как в фонетическом и словарном составе, так и в характере расположения слов, и в характере смысловых построений, составленных из ее слов, мы везде встретимся с тем же признаком художественного: с тем, что оно нарочито создано для выведенного из автоматизма восприятия, и с тем, что в нем ви́дение его представляет цель творца и оно «искусственно» создано так, что восприятие на нем задерживается и достигает возможно высокой своей силы и длительности, причем вещь воспринимается не в своей пространственности, а, так сказать, в своей непрерывности. Этим условиям и удовлетворяет «поэтический язык». Поэтический язык, по Аристотелю, должен иметь характер чужеземного, удивительного; практически он и является часто чужим: сумерийский у ассирийцев,

латынь у средневековой Европы, арабизмы у персов, древнеболгарский как основа русского литературного, или же языком повышенным, как язык народных песен, близкий к литературному. Сюда же относятся столь широко распространенные архаизмы поэтического языка, затруднения языка «dolce stil nuovo» (XII век), язык Арно Даниеля с его темным стилем и затрудненными (harten) формами, *полагающими трудности при произношении* (*Diez, «Leben und Werke der Troubadours». S. 285*). Л. Якубинский в своей статье доказал закон затруднения для фонетики поэтического языка в частном случае повторения одинаковых звуков. Таким образом, язык поэзии – язык трудный, затрудненный, заторможенный. В некоторых частных случаях язык поэзии приближается к языку прозы, но это не нарушает закона трудности.

Ее сестра звалась Татьяна…
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим, —

писал Пушкин. Для современников Пушкина привычным поэтическим языком был приподнятый стиль Державина, а стиль Пушкина, по своей (тогдашней) тривиальности, являлся для них неожиданно трудным. Вспомним ужас современников Пушкина по поводу того, что выражения его так площадны. Пушкин употреблял просторечие как особый прием остановки внимания, именно так, как употребляли вообще *русские* слова в своей обычно французской речи его современники (см. примеры у Толстого, «Война и мир»).

Сейчас происходит еще более характерное явление. Русский литературный язык, по происхождению своему для России чужеродный, настолько проник в толщу народа, что уравнял с собой многое в народных говорах, зато литература начала проявлять любовь к диалектам (Ремизов, Клюев, Есенин и другие, столь же неравные по талантам и столь же близкие по языку, умышленно провинциальному) и варваризмам (возможность появления школы Северянина). От литературного языка к литературному же «лесковскому» говору переходит сейчас и Максим Горький. Таким образом, просторечие и литературный язык обменялись своими местами (Вячеслав Иванов и многие другие). Наконец, появилась сильная тенденция к созданию нового, специально поэтического языка; во главе этой школы, как известно, стал Велимир[186] Хлебников. Таким образом, мы приходим к определению поэзии, как речи *заторможенной, кривой*. Поэтическая речь – *речь-построение*. Проза же – речь обычная: экономичная, легкая, правильная (prosa sc. dea – богиня правильных, нетрудных родов, «прямого» положения ребенка). Подробнее о торможении, задержке как об общем *законе* искусства я буду говорить уже в статье о сюжетосложении.

Но позиция людей, выдвигающих понятие экономии сил как чего-то существующего в поэтическом языке и даже его определяющего, кажется на первый взгляд сильной в вопросе о ритме. Кажется совершенно неоспоримым то толкование роли ритма, которое дал Спенсер: «Неравномерно наносимые нам удары заставляют нас держать мускулы в излишнем, порой ненужном, напряжении, потому что повторения удара мы не предвидим; при равномерности ударов мы экономизируем силу»[187]. Это, казалось бы, убедительное замечание страдает обычным грехом – смешением законов языка поэтического и прозаического. Спенсер в своей «Философии слога» совершенно не различал их, а между тем возможно, что существуют два вида ритма. Ритм прозаический, ритм рабочей песни, «дубинушки», с одной стороны, заменяет команду при необходимости «ухнуть разом»; с другой стороны, облегчает работу,

[186] У Шкл. ошибочно: Владимир.

[187] Цит. изложение работы Г. Спенсера «Философия слога» А. Веселовским – *Веселовский А*. Собр. соч. Т. I. СПб., 1893. С. 445.

автоматизируя ее. И действительно, идти под музыку легче, чем без нее, но идти легче и под оживленный разговор, когда акт ходьбы уходит из нашего сознания. Таким образом, ритм прозаический важен как фактор *автоматизирующий*. Но не таков ритм поэзии. В искусстве есть «ордер», но ни одна колонна греческого храма не выполняет точно ордера, и художественный ритм состоит в ритме прозаическом – нарушенном; попытки систематизировать эти нарушения уже предпринимались[188]. Они представляют собою сегодняшнюю задачу теории ритма. Можно думать, что систематизация эта не удастся; в самом деле, ведь вопрос идет не об осложненном ритме, а о нарушении ритма, и притом таком, которое не может быть предугадано; если это нарушение войдет в канон, то оно потеряет свою силу затрудняющего приема. Но я не касаюсь более подробно вопросов ритма; им будет посвящена особая книга.

[188] Далее в первопубликации: «Андреем Белым, бар. Гинсбургом, Чудовским, Бобровым и другими».

Из филологических очевидностей современной науки о стихе

Второе пятидесятилетие девятнадцатого века было периодом упадка русского стихосложения и науки о стихе. За этот период мы пошли назад и понимание законов стиха уже не достигало того уровня, который мы видим в работах Востокова и Остолопова, а в очень значительной степени и Тредиаковского.

Но русское Средневековье кончается.

Символисты первые – и да будет за это над ними земля пухом – обратили внимание на разработку теоретических вопросов в искусстве; занимались этим Андрей Белый, Недоброво и настойчивый покойник Валерий Брюсов.

Но над ними тяготела старая традиция полезного искусства, которая изменялась, но не сдавалась. Потебня, понявший искусство прежде всего как басню, как ряд алгебраических формул к арифметике жизни, завел символистов в тупик «что? и как?» в понимании искусства как формы мышления[189]. В области стиховедения это привело к тоскливому рассмотрению, каким образом ритм и фонетика стиха связаны с его смыслом (– увы! не смыслом стиха, смыслом лирическим, но со смыслом слова, пользуемого как стихом, так и речью – смыслом грамматическим), привело к навязыванию звуковым комплексам ономатопической тенденции.

И символистам удалось только вернуться к уровню, прежде достигнутому.

Группа филологов, сосредоточившаяся около «Сборников по теории поэтического языка», порвала с традицией «изобразительного искусства» (вспомним вчера канонизированный, ныне столь надоевший «образ» avant toute chose). Звук это звук и звуки нужны для звучания.

Кто вам сказал, что мы забыли о смысле? Мы просто не говорим о том, чего (еще) не знаем, и мы забыли лишь ваши теории осмысления, зачастую столь примитивные в своей выспренней отвлеченности.

Еще работами датского ученого Ниропа и французского – Граммона было доказано отсутствие в языке звукового символизма, т. е. непосредственной связи между смыслом слова и его звучанием. В языке понятия близкие часто имеют совершенно различный звуковой состав и, наоборот, слова с различным смыслом звучат близко или даже одинаково (коса Коломбины и коса смерти, voler – летать и воровать, pecher – удить рыбу, грешить и т. п. ad infinitum). В то же время из тысячи примеров, доставляемых вариантами стихотворений, из сотен сообщений самих поэтов мы узнаем о величайшем внимании и сознательнейшей работе их именно над звуковой формой речи и зачастую преимущественно пред стороной первично значащей. Лев Якубинский своею работой «О расподоблении плавных в стихотворном языке» дал очень любопытный подход к этому вопросу. Как известно, закон расподобления плавных, существующий в прозаической речи, выражается в том, что, если в слове встречаются два одинаковых плавных, два «р» или два «л», то один из этих звуков расподобляется (т. е. одно из пары «р» заменяется чрез «л» и обратно). Так из литературного (заем-

[189] Ввиду особой сложности и деликатности вопроса должно предложить учету читателя, что тупиком является не проблема в себе, но ее, по мнению автора, неправомерная у Потебни постановка. Различение «что?» от «как?» в той же мере необходимо науке (правоспособно методологически), в какой переживанию (потреблению) искусства нужна, наоборот, воля к их неразличимости, – эмоционально точнее, – как безразличие к возможности их различить. Что же до концепций, отметаемою является пара: что? – содержание, как? – форма; утверждаемою же – что? – форма, как? – материал. Замена, разумеется, порядка не только терминологического, тем более что сама дифференциация у нас ощущается, что ли, как отдистиллирование. Равным образом, аналитически продвинут вперед (вглубь?) и ныне живой взгляд на искусство как «особую форму мышления», для современника означающий проблему особой категории сознания (H. Kohen). – *Прим. ред.*

ного для русских) «коридор» получалось простонародное «калидор» или современное «верблюд» из древнецерковнославянского «велблют». Это расподобление объясняется общею тенденцией прозаического разговорного языка создавать с помощью естественного отбора наиболее экономические формы речи, так как стечение одинаковых звуков (учтенное скороговорками – экзаменами на речистость) затрудняет произносительную сторону речи.

Совершенно противоположную тенденцию мы видим в языке поэтическом; чуждый закону расподобления, он имеет, напротив, тенденцию создавать стечение одинаковых звуков. Частным случаем такого стечения является аллитерация. Отсюда же звуки не расподобляются и в словах, переживаемых как поэтические даже прозой; таковы собств. имена с деспотизмом их статичности; например, имя Фалалей, сохранившее оба «л». Тот же обратный расподоблению момент стечения в стихотворном языке одинаковых звуков наблюдал Лев Якубинский, изучая варианты Лермонтова, изобличающие вкус к ассимиляции. Обычно оказывалось, что в результате изменений окончательная редакция стихотворения являла очевидно большее звуковое единообразие, чем первоначальный вариант.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.